

Морис СИМАШКО

Морис
СИМАШКО



СЕМИРАМИДА

**МОРИС
СИМАШКО**

СЕМИРАМИДА



Морис Симашко

Семирамида

Исторический роман



МОСКВА
"ДРУЖБА НАРОДОВ"
1994

ББК 84Р7
С37

Оформление художника
Н. Абакумова

Симашко М.
С37 Семирамида: Исторический роман. — М.:
Дружба народов, 1994. — 399 с.

ISBN 5-285-00085-8

Роман "Семирамида" посвящен одному из ключевых периодов российской истории — эпохе правления императрицы Екатерины Второй, этой "Семирамиды Севера", как называл ее Вольтер. Книга создавалась на основе архивных материалов. В романе действуют как реальные исторические лица — государственные деятели, ученые, философы, так и вымышленные герои.

ББК 84Р7

ISBN 5-285-00085-8

© М. Симашко, 1994
© Н. Абакумов, 1994, иллюстрации,
художественное оформление

*Богородица царица
Киргиз-Кайсацкия орды!..*

Г.Р. Державин

О Семирамида Севера!

Вольтер

Катя... изменщица!

Емельян Пугачев

*Мне жаль великия жены,
Жены, которая любила
Все роды славы: дым войны
И дым парнасского кадила...*

*Старушка милая жила
Приятно, понаслышке, блудно,
Вольтеру лучший друг была,
Писала прозу, флоты жгла
И умерла, садясь на судно...*

*Россия — бедная держава:
С Екатериною прошла
Екатерининская слава.*

Александр Пушкин

Нужно ли говорить о важности, о необычайном интересе "Записок" той женщины, которая более тридцати лет держала в своей руке судьбы России и занимала собой весь мир, от Фридриха II и энциклопедистов до крымских ханов и кочующих киргизов...

Как будто великая женщина сама подалась гнусностям, столь живо ею изображаемым... омерзение, но не к ней: ее жалеешь, как женщину, ей сочувствуешь.

Александр Герцен

Смею сказать о себе, что я походила на рыцаря свободы и законности. Я имела скорее мужскую, чем женскую душу. Но при этом была привлекательной женщиной. Да простят мне эти слова и выражения моего самолюбия; я употребляю их, считая их истинными и не желая прикрываться ложной скромностью...

Хотя в голове запечатлены самые лучшие правила нравственности, но как скоро примешивается и является чувствительность, то непременно ощутишься неизмеримо дальше, нежели думаешь. Я, по крайней мере, не знаю до сих пор, как можно предотвратить это... Поверьте, все, что вам будут говорить против этого, есть лицемерие.

Екатерина II

ПРОЛОГ

В выпуклых глазах его стояло спокойное бешенство. Бот, неумело повернутый поперек к приливу, приподнимало и било о каменное дно. Волны катились из-за ровного горизонта такими же ровными серыми линиями. Они казались невысокими, без обычной белой пены, и лишь в том месте, где маленькое судно застряло с наклоненной в сторону берега мачтой, набухла зеленая гора. Волна подтягивала бот до своего уровня, потом отпускала, и он медленно падал деревянным бортом на темные обнажившиеся камни. Тяжелая стывшая вода прозрачно переливалась через него, смывая обломки весел, связки канатов, ведра. Это было совсем рядом с берегом, и хорошо виделся малый бачок, сорвавшийся с места и равномерно ударявшийся в переборку рубки. Треска не было слышно: только крупные желтые щепки откалывались после каждого удара днища о камни и потом взлетали на гребень продолжавшей свой путь волны. Матросы в мешковых робах цеплялись за рубку, за ухотивший в воду леер. Их было человек пятнадцать, но лишь двое что-то делали, удерживаясь возле мачты. Кричал офицер у рулевого колеса на юте. Голос его слышался здесь на берегу глухо, будто проваливался между рядами волн, увязая в мокром прибрежном песке...

Он стоял и смотрел, не отрываясь. Тупая неистовая боль вдоль поясицы сразу отодвинулась, как только выпрыгнул он из возка и увидел в десяти шагах от берега тонущий бот. Соскочил с передка и флигель-адъютант в заляпанных грязью рейтузах. Шестеро конногвардейцев эскорта сошли с коней и, держа их в поводу, молча стояли среди мокрых, с об-

летевшей листвою деревьев. Флигель-адъютант подошел, остановился чуть позади. Это был молодой человек, который уже привык к ровному непреходящему бешенству в глазах царя, поражавшему всех, кто видел его в первый раз. Будто остановившаяся вода, и где-то в бездне яростный звездный огонь. Взгляд этот был таков от природы и никогда не менялся. Говорили, мальчиком царь так же смотрел, как стрельцы секли бердышами его дядьку и всю родню. Так смотрел он и потом, когда собственной рукой отсекал стрельцам головы...

Тяжело заскрипел песок, перемешанный с корнями и прутьями жесткого прибрежного кустарника. От стоящей на пригорке мызы шел чухонец в вязаном колпаке и высоких сапогах из грубой кожи. Один из гвардейцев сделал шаг к нему, но старший разрешительно махнул рукой. Царь знал этого человека, даже ночевал как-то проездом в его доме. Чухонец остановился, посмотрел на тонущий бот, на свою лодку, крепко привязанную к выложенной камнем пристани, и подошел прямо к царю. Тот оглянулся, ничего не сказал и продолжал смотреть на тонущий бот.

Без звука, ровно и сильно дул от залива холодный ветер, не поднимая ни листка, ни пылинки с приглаженного сырого берега. Где-то в бесцветной водяной дали, откуда двигались волны, был Кронштадт. Бот плыл оттуда, как видно с фурштадтской стороны...

Боль не оставляла тела. Она лишь ушла из сознания, как только явился этот бот. Сначала он наблюдал за ним из-за слюдяного окна. Судно неумело дрейфовало к берегу, подставляя то один, то другой борт упругой приливной волне. Так и должно было случиться. Там, где каменная гряда обозначала мелководье, бот вдруг дернулся и встал поперек волны. Тогда он выскочил из катившегося возка...

Второй месяц боль словно впаяна была в поясницу, железные клещи стискивали низ живота, не давая вздохнуть. Он кричал по-русски, по-немецки, по-фризски облегчающие слова, бросал в стену что было под рукой. Лекарь Блюментрост привел еще двоих — в париках, с линзами на цепочках. Битый час стояли они у его изголовья, говорили значительным полуголосом латинские речи. Латынь всегда раздражала

его. Вскочив с лежанки, он закричал неистово, обозвав их ослами. Кажется, пнул одного.

Старость была всему причиной. Ее он почувствовал сразу, встав однажды с постели. Все было такое же, никто ни о чем не говорил, но что-то изменилось в мире. Он тогда остановился посреди связок кож, мешков и сваленных бревен на торговой пристани, долгим взглядом посмотрел вокруг. Грохоча железом о камень мостовой, въезжали через таможенную казенную фуры, запряженные широкозадными немецкими битюгами, спешно бегали по сходням грузчики с тюками шерсти на спинах, датский шкипер учил нанятого матроса морскому правилу, отирая потом о штаны кровь с кулака. А между стоящими плотно большими и малыми судами струилась отливающая смолой невская вода, за гладью ее вблизи и вдали поднимались шпили, расчерчивая низкое небо. И гул стоял в воздухе, пропахшем свежестью залива: многоголосый, деловой, европейский, с внятным, настойчивым присутствием русских слов. Все уже делалось помимо него и тогда подумал он о старости. Недавно лишь поздравляли его с полувеком, но он забыл об этом к утру другого дня. Что же произошло? Медленным, сбивающимся шагом прошел он в свой дом, достал из шкафа голландское зеркало, при котором брил его денщик. Чужое набухшее лицо смотрело на него из оловянной рамки: нос в порых, глаза навывкате. Старик это был, вроде сторожа на артюховских складах, куда ходил он пить квас.

С того дня ни минуты не забывал он о своей старости. Бросился в Персию, гнал по степям, плыл по рекам, вернулся здоровым, но знал, что это лишь вид. Припадки были такими же, как раньше: цепенело тело, пропадало сознание, шла пена, и не в том было дело. Когда схватило первый раз поясницу и железный вкус появился во рту, он только pokrивился. Потом лежал с неделю, принимал снадобья, что давал Блюментрост, стало полегче. Но боль оставалась. Невидимая, неощутимая, присутствовала она при нем постоянно, днем и ночью. Он ездил в ялике по Неве, сам греб до устатку, шел смотреть спуск фрегата, ходил по саду своими бегущими шагами, и была лишь слабость в теле. Когда снова явилась боль, он знал, что она и не уходила.

Он яростно вскочил, отбросил ногой тяжелый корабельный табурет, закричал запрягать. Сквозь хлещущий осенний дождь скакал смотреть Ладожский канал. Вода стояла в нем темная, недвижная, даже не пузырилась от дождя, но ею можно было проехать вглубь: к Ильменю, к Волге, к Хвалынским берегам, где горячее солнце. Потом на Олонецком заводе, отодвинув боль, долго и тяжело ковал он трехпудовый железный брус. Роями летали искры из-под тяжкого молота. Железо поддавалось постепенно, не уступая первому удару. Сначала обозначилась пушка-болванка, потом что-то круглое, безымянное; и наконец столб для судовой крепежки — точно такой, какой он в первый раз увидел в Антверпене. Несколько таких тумб выковал он когда-то самолично, и они стоят, вкопаны в низкий берег на Котлине и у Торговой гавани. Проходя там, он знал, какие столбы от его руки...

Стерев пот, он упал в возок и поскакал в Старую Руссу посмотреть, как варят соль по новому способу, взятому от англичан. Снежная крупа сыпала на Валдае, когда водой поехал он назад, в град святого апостола, чьим именем звался. Не доезжая Лахты, не выдержал — пересел в возок. Ехал полдня и тут увидел залив и тонущий бот...

Царь дернулся и пошел к лодке. Чухонец ждал этого и тоже пошел вперевалку, однако поспевая за длинным, быстрым его шагом. Неторопливо отвязал он лодку, налег животом с одной стороны. Царь занес длинную ногу с другой стороны, и, приподнятая волной, лодка устойчиво закачалась на зеленой воде.

Чухонец плечами надавил на противящиеся весла. Флигель-адъютант бросился, ухватился за корму. Царь нетерпеливо махнул рукой, но тот не послушался, влез тоже в лодку. Тогда царь повернулся, стал смотреть на скачущий в волнах бот. Лицо его было по-прежнему недвижно, и глаза не мигали от летящих навстречу брызг.

Бот был уже совсем рядом. Лодка опускалась и взлетала между волн с подветренной стороны. Были видны напряженные лица матросов, их вцепившиеся в канат посинелые руки. Офицер уже не кричал, а

лишь со страхом смотрел на приближающуюся лодку. Когда ее в очередной раз подтащило к боту, царь длинной рукой ухватился за кнехт и уперся ногой, не давая смыть себя текущей с палубы воде. Потом в два шага достиг юта, потянул рулевое колесо. Офицер, у которого вырвал он штурвальную рукоять, схватился за леер, заскользил по мокрым доскам, не находя опоры ногам. Чухонец в это время, привязав конец с лодки к лееру, стал с помощью матросов освобождать замотавшийся около мачты парус. Большие короткие руки его все делали медленно. "Эй, поживее, ты, чухна белоглазая!" — закричал царь. "А, скоро только кошка свой тело телает!" — спокойно отвечал чухонец. Он махнул матросам, чтобы отпустили канат, выбрал часть его из воды. Толстые пальцы неспешно раскручивали намокшую парусину, передавали матросам.

"Крути, Питер!" — сказал чухонец, и царь с силой завертел штурвальное колесо. Приподнятый от палубы парус вздулся, бот сразу накренился, лег на бок. Заскрипели переборки, кто-то из матросов полетел за борт. "Куда крутишь, дурья голова?.. В море крути!" — погромче сказал чухонец. Царь послушно завертел штурвал в обратную сторону. Бот выровнялся, парус лез все выше, давая судну устойчивость.

Что-то кричал флигель-адъютант из лодки. Царь отдал штурвал офицеру, шагнул к борту. Там среди бурлящей воды серым пузырем вздулась бесформенная мешковина. Из пены на миг поднялась судорожно сжатая рука.

— Э, твою душу!..

Царь прыгнул в воду, поддел рукой тонущего матроса и сразу оказался далеко от бота. Чухонец отвязывал конец от лодки, неторопливо брался за весла.

— Да тут стоять можно!

Царь встал по грудь в воде, и лишь когда набегала волна, приподнимал рукой обмякшее тело матроса. Это был юнга с веснушчатым лицом и длинной худой шеей, торчащей из мокрой робы. Глаза его помутнели, а голова качалась по волне туда и сюда. Лодка подплыла, флигель-адъютант протянул руки царю. Тот протолкнул вперед матроса, потом влез сам, сел на весла. Чухонец деловито принялся катать от банки к корме безжизненное тело утопленника. Еще не до-

плыли до прибоя, как матрос дернулся, открыл бессмысленные глаза. Потом его стало рвать. Царь самолично выволок его на берег, бросил с отвращением на песок. Тот сел, замигал глазами, ничего не понимая...

Царь пил ром из фляжки, расставив длинные ноги в мокрых синих подштанниках. Денщик тряс ботфортами, выливая из них воду.

— Ему дай! — приказал царь, кивая на матроса.

Флигель-адъютант поднес тому флягу к самому рту. Матрос беспонятно глотал, проливая желтый ром по обе стороны рта.

— Э, пойдём, Питер, — сказал чухонец, показывая на свою мызу. — Греться надо при огне, сушиться.

— Тороплюсь, Якоб. В другой раз... Если бог даст!

Денщик надел на царя запасную одежду. Тот стоял на одной, потом на другой ноге, пока ему наматывали сухие портянки. Ноги у него были худые, с длинными искривленными пальцами...

Бот с выправленным парусом дрейфовал вблизи берега. Люди оттуда смотрели на берег. Царь погрозил им кулаком и махнул рукой. Потом посмотрел на нелепо мигающего матроса, который стоял, по-мужицки расставив ноги, и мелко дрожал. Чухонец взял его за рукав, повел, не оглядываясь, к себе.

Возок покотился дальше, накрываясь временами там, где корни деревьев проступали на дорогу. Царь сидел, глядя прямо перед собой, в глазах его стояло все то же спокойное бешенство.

Нещадная боль при каждом шаге ударяла в позвоночник, а он шел от возка с широко открытыми глазами, лишь опираясь на флигель-адъютанта и прибежавшую жену. Та охала по-немецки: тихо, с деловитым сочувствием. Это он любил в ней: хоть сам обычно гремел голосом, но не переносил громкого русского крику.

Все качалось перед глазами, от горизонта продолжали набегать ровные серые линии. Беззвучно прыгал бот в волнах, испуганные глаза матроса смотрели на него сквозь непонятную прозрачность...

Рот извергался криком, и не могло уже вместить сознание эту боль. Но матрос не уходил: с широким

носом на веснушчатом лице и вопрошающими глазами. Он все тянул утопленника из мутной ледянистой воды: голова на длинной шее болталась в волнах, тело росло, увеличивалось, становилось непомерно тяжелым...

Криком укрощая страдание, он вставал, давал одеть себя, выходил в сенат и в ассамблею, подписывал бумаги, не ведая ни к кому снисхождения. И кругом: в доме, на улице, там и здесь — виделся ему матрос. Тысяча одинаковых лиц была у него...

Он возвращался, разрешая боли терзать себя, не в силах держать уже ее в повиновении. Каленые клещи впивались в позвоночник. Крутило мокрым снегом за расчерченными в квадраты голландскими стеклами. Снег липнул к ним, так и не оставляя на этой стороне узоров. Все вдруг ушло куда-то: шумы, блики, цветные кафели печи. Матрос сидел рядом и ждал. И тогда он понял свою обязанность объяснить кому-то все это. Для чего-то же тащил он этого матроса из темной, не знающей смысла пучины. Что двигало им, когда прыгнул в ледяную волну?..

Все делал он так, сразу, начиная от того первого бота, что плавал в озере посредине немислимой, без конца и начала равнины. Всякую минуту жизни бросался он в воду, ковал железо, рубил сплеча. И теперь вдруг с удивлением понял, что не сам по себе делал это. Нечто, помимо воли его и мысли, руководило им. Даже то, что этот матрос оказался здесь, тоже его дело. Но что же заставляло его самого стремиться к этому низкому, оглаженному ветрами берегу? По некоему высшему закону вместе с равниной, где явился на свет, лесами и полями ее до гиперборейских льдов и пылающих жаром пустынь, явился он сюда, как является перегретая, расплавленная твердь из стиснутых тяжестью земных глубин. Такое многократно уже здесь происходило, и выплескивались на все четыре стороны к берегам океанов неисчислимы народы.

Что же смущает его во взгляде матроса?.. Боли уже не было, лишь свет и вселенская тишина. Рука поднялась, остановилась невесомо перед глазами. Он увидел пальцы с обкусанными ногтями, бугры и шрамы, неровно дергалась синяя жила. Что-то еще пропущенное, едва различимое было в том прошлом, которое никогда уже не произойдет.

— Петя!.. Петруша!

Он дрогнул, явственно услышав этот вечно живший в нем голос, частью которого был он сам. Голос негромко звал, а он лежал посредине все той же равнины и глядел в небо. Чистое золото рассыпалось там, белый цветок-кашка трепетал возле самого уха.

— Петенька!

Он раскрыл глаза. Потолок белел в обитой дубовым тесом комнате. Свеча горела ровным восковым светом. Жена, уснувшая рядом на пуфе, приткнулась к его руке. Размеренно и гулко стучали где-то шаги: меняли караул. Матроса уже не было...

Но он все теперь знал. Некогда читал он книгу — латинскую или еллинскую — и махнул тогда рукой, прочитавши. Писалось там, что есть две стороны мудрости у музы Клио, знаменующей Историю. Как бы на колеснице о двух лошадях несется она во времени. Сказано было с примерами, что на необходимом принуждении и силе возрастает великая держава, но без духа каменеет и рушится, обращается в песок, как всякий камень. Явившийся с нею народ погребается под прахом, и не остается даже имени его в мире. Куда девались Навуходоносор и фараоны, где их народы? Не значились ли на вершине мира великий македонец и Атилла? Сколько было подобных языческих царств, что ушли в небытие.

И для того вторая ипостась музы Клио, которая есть милосердие. Непреходящи народы, чей дух возвысился. Сия хрупкая для недалевого взгляда категория есть главный якорь, каковым укрепляется и находит себя народ среди других народов земли. Надежнее самых высоких стен огораживает это от всех ветров истории. Что в камне построилась держава, то еще начало дела. Чтобы не сгинуть ей без смысла в прорве времени, должно установить равновесие, о коем свидетельствует многознающая еллинская муза. Нельзя погонять одну только лошадь, ибо свернет колесница в бездну...

Возможно, что сейчас уже над пропастью колесница и своей рукой обрубил он постромки другой лошади? Сколько еще катиться ей так, одноконь, безрассудно слясь догнать кого-то? Век, два или три скакать с пеной на губах, при худом корме и с шорами на глазах? Грядет ли кучер, что опытной рукой при-

держит смертельный бег, впряжет другую лошадь? А то и эта оборвет постромки...

Когда же явится такая твердая, осмысленная рука? Дастся ли ей эта пущенная в галоп лошадь? Захочет ли принять рядом с собой другую или самого кучера потянет с собой, увлекая своей бессмысленной и беспощадной дикостью?..

Рука упала неслышно. Может быть, со стрельцами и сыном ему надлежало поступить иначе? И с многими другими тысячами, имени которых не ведал?.. Пальцы собрались в кулак. Нет, то была его часть работы. И матроса ему надлежало вытащить из бездны, а не кому-то другому. Силой тащить всю жизнь — таково было ему назначено от той самой музыки. Ничего не осталось для себя: ни сына, ни мягкой теплой травы, куда мог бы опустить свое изболевшееся тело. И некому принять от него вожжи...

Царю сделалось хуже. Пять дней назад по велению его поставлена была возле спальни подвижная церковь. Сегодня он исповедался и приобщился святых тайн. Сам владыка молился тут, с осторожностью поглядывая через открытую дверь на лежавшего царя. Тот не двигался и лишь изредка коротко стонал.

Через три дня над больным совершено было елеосвящение. И тут — по именному указу — освобождены были от каторги все преступники этой державы, кроме повинных в смертоубийстве.

С утра другого дня прощены были осужденные на смерть и каторгу по военным артикулам, но снова исключались из помиловательного списка лишенные понятия милосердия. Шептались, что вместо завещания сии указы.

В тот же день, вскоре после выстрела полуденной пушки, царь велел подать перо и бумагу, взялся писать. Но перо упало, и разобрать можно было лишь два слова: "отдайте все..." Чуть слышно сказал он позвать дочь Анну, которая писала обыкновенно ему под диктовку. Она пришла, но царь только смотрел и больше не говорил. Никак не могли потом закрыть ему глаза, сколько ни прикладывали тяжелые медные пятаки. Совсем детское беспечальное выражение стояло в них, и люди крестились, оглядывались на висящую в углу богородицу в темных суровых красках...

Так умер Петр Великий.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПЕРВАЯ ГЛАВА

I

— Ах, Каролинхен!..

Невероятное, горячее томление разливалось по телу. Где-то от низу, из неведомой глубины поднималось оно мерными толчками, прилиvalo к груди, и не властна уже она была над этим. Все трепетало в ней, тело наполнилось сладкой мукой, стало невозможно дышать от счастья...

Но она уже проснулась. Женщина на лошади с хлыстом в руке и гордо посаженной головой оставалась еще какой-то миг в памяти. И судорожное сплетение в некой комнате, что повторялось всякий раз во сне, оставляя после себя томительную слабость. Ах!..

Ни звука не произнесла она. Второй раз за дорогу случается с ней это. Все так же произошло три дня назад, когда выехали из Шведта. Отца уже не было с ними, и она заснула, освобожденная от его укоряющего присутствия. Равномерное покачивание на рессорах по неровной промерзшей дороге вызывает это сладкое чувство, от которого хочется умереть. А еще — неудобную влажность в белье.

Она осторожно посмотрела на свою мать: та сидела неподвижно, прижавшись спиной к большой перине, устроенной еще в Цербсте от поддувающего сзади ветра. Лица матери не было видно из-за теплой вязаной маски, такой же как у нее самой, у фрейлины госпожи фон Кайен и у камер-девицы Шенк, сидящих напротив. Морозы стояли столь сильные, что волки

появлялись на улицах селений... Нет, никто не узнал о том, что происходило только что с ней.

Колеса застучали помедленней, карета качнулась еще раз-другой и остановилась...

— Графиня Рейнбек с дочерью... Королевская подорожная!

Простуженный голос выкрикивал это при каждой остановке. В слюдяное окошко были видны темный каменный дом с такой же темной черепичной крышей, железная решетка, сложенный на пороге торф. Человек в старом капральском мундире кланялся со ступеней дома. Дверь кареты отворилась, протянулась рука, помогла сойти на землю матери, потом ей и другим. Ледяной обжигающий ветер дул из-за дюн, за ними угадывалось море. Толстый господин Латорф, которого она привыкла видеть в расшитом полковничьем мундире с ангальтдорнбургским гербом, был теперь в обычной одежде с суконной накидкой от ветра. Он провел мать в дом, и они вошли следом.

Теплая спертая плотность ударила в лицо. Только потом при свете тусклой масляной лампы, висевшей на выпирающем из стены бревне, она все разглядела: спящих на широкой деревянной кровати пятерых детей — маленьких и больших, в длинных полотняных рубахах, еще ребенка в самодельной люльке-качалке, другую незастеленную кровать с ветхой периной, привязанного за ногу голенастого петуха, собаку у двери. Поперек на веревке сушилось белье. За печью на рваном полосатом тюфяке недвижно лежала старуха с костистым высохшим лицом и длинными желтыми волосами. В печи стоял котел, в котором булькала вода. Хозяйка, лет сорока женщина в грубом домотканом платье, резала крупными кусками репу и бросала в котел. Увидев входящих, она выпучилась на них, остановившись, с недочищенной репой в руке. На раскрашенной спинке кровати, где спали дети, был нарисован ангел, играющий на трубе. Мать безглаголиво оглядывала комнату.

— О сиятельная фрау, там есть еще одно помещение, но над ним повреждена крыша, и оно не отапливается, — заговорил содержатель станции, по всей видимости, бывший солдат. — У нас редко останавливаются господа, а зимой проезжие ночуют тут с нами.

— Мы лишь поедим здесь! — раздраженно сказала мать, обращаясь к Латорфу.

Слуги внесли корзины с провизией, стали хлопотать посредине комнаты у стола. На грубые некрашенные табуретки постелили холсты, положили дорожные подушки. Они ели разогретую телятину, запивали пивом, которого в Цербсте погрузили на дорогу целых два бочонка. Слуги ели у двери что-то свое. Она быстро освоилась и с интересом смотрела на котел, где булькала вода. Сладко пахло репой...

Отдохнув и согревшись, они поехали дальше. Опять неровно стучали колеса, встряхивая по временам карету на смерзшихся комьях грязи. Она пробуждалась от толчков и тут же снова впадала в полусон, пригретая периной сзади и другой периной, которой были накрыты ноги. Чаще всего вспоминался ей отец. Специально для нее написал он наставление, как вести себя в предназначенном ей великом и неопределенном будущем. Тетрадь лежала в особой сумке из коленкора, которую подарил он ей два года назад, к ее тринадцатилетию. Отец писал так, что в каждой строке было равное количество букв. Когда выезжали из Шведта, мать передала ей эту тетрадь...

Обязательно раз в неделю, в субботу после полудня, отец звал ее к себе. Он был уже без мундира, в мягких сапогах и домашней куртке с брандбурггами. Сидя в кресле, высокий и прямой, он ровным голосом читал ей истории про нерадивого Штрубльпейтера. Так прозвали этого мальчика за то, что он не слушался родителей, вовремя не стригся и не мылся, водил дурные компании. Поэтому мальчик переносил всяческие неприятности.

Когда на ратуше снова играли часы, отец откладывал книгу, целовал ее, и она уходила к себе. Там, на четвертом этаже штеттинского дома, она сколько хотела играла сама с собой. Мощные удары колокола с городской кирхи сотрясали старое здание. Привставая на носки, смотрела она через окно вниз на расходящихся после службы маленьких людей, на загадочное и сумрачное море вдали.

Командир Восьмого королевского полка и комендант города, ее отец, всегда склонял седеющую голову, когда говорила мать, но и ее считал как бы старшей своей дочерью. В Цербсте, чье имя сочетается с ее

именем, стоял старый замок с прямоугольным двором. В линию с ним шли ряды домов с фронтонами, ровные межи разделяли поля на бурой земле.

Она слушала отца и думала о другом. Некие золотые и пурпурные цвета представлялись ей в будущем. С матерью и морем было это связано. Берег моря источал загадочную силу. Оно намывало мелкие россыпи золотого камня, и куски его тускло отливали солнцем далеких времен.

Населяющие этот берег люди обладают умением видеть будущее. Так говорила старшая прислужница в Эйтинском замке, куда она ездила с матерью. А мать ее происходила от владетелей этого берега, чьи корни значились и по другую сторону моря. В ней была часть их крови. Это должно было в чем-то проявиться!

Когда гостили они в Брауншвейге, как бы из пелены тумана возник монах с желтым неподвижным лицом. "Патер из Менгдена" называли его и просили рассказать о судьбе красивой девочки-принцессы этого дома. Монах мельком посмотрел и равнодушно отвернулся. Вдруг глаза его остановились на ней. Он быстро подошел, положил руку ей на лицо. "Я вижу по меньшей мере три короны на голове у этого ребенка!" — сказал он в наступившей тишине. Мать задержала монаха, и они долго о чем-то говорили у высокого, идущего почти от полу окна. Она услышала, как тот сказал: "У каждого человека, мадам, есть своя звезда, и раз в жизни он должен увидеть ее. Только нельзя говорить об этом во избежание несчастья..."

Нет, мать ничего не понимала в будущем. Она резко двигалась, смеялась, зло кусала губы. Все и про всех она знала, но только в настоящем. Даже откуда появились тонкие кружева в наряде побочной принцессы Саксен-Кобургской. О монахе мать не вспоминала. А вот ей запомнились желтая холодная рука на ее лбу и короткий пронизательный взгляд. Подобно человеку из Менгдена, она старательно вглядывалась в лица людей, но видела у них только нос, рот, складку возле губ. Это ей ничего не говорило. Тогда она оставалась одна в комнате и думала о себе, золотые и пурпурные полосы являлись от долгого смотрения на стену.

И еще в эйтинскую поездку красивый шведский

граф заговорил с ней. Потом он сказал матери: "Это непростое дитя: посмотрите, сколь серьезен у нее взгляд. Напрасно вы не уделяете ей внимания, княгиня!.."

Бессчетное количество раз повторялись в дороге видения... Полная радости, прыгала она в длинной белой рубашке по кровати. А мадемуазель Бабетта хохотала с ней вместе, ловила и целовала: "Ah, ma petite oiseau!"¹ Это не был добрый и строгий поцелуй отца, пахнувший сукном и ремнями. И не беглый поцелуй озабоченной собой матери. Веселое тепло исходил он и был подобен многоцветной французской сирени...

Еще раньше в оперной ложе сидела она совсем маленькая: ей подкладывали одна на другую три атласные подушечки, чтобы могла видеть сцену. Красивая женщина с длинными волосами все кричала там, растягивая слова. Необычное золотое с голубым платье было на ней. Потом женщина громко заплакала, вытирая слезы, а она закричала что было сил вместе с ней. Седая, с буклями и большим носом старуха успокаивала ее, передавала на руки лакею. Ей рассказывали, что это случилось с ней в Гамбурге, где она гостила у гротесктера...²

О, господи!.. раз-два-три: мэтр Роберино вспархивал, подобно птице, кружился, плавно приседая и подвывая сам себе. Она хорошо запомнила счет: "раз-два-три", тоже кружилась, поворачиваясь в нужных местах. Музыка оставалась размеренным шумом. Мэтр Роберино горестно опускал руки: "Eue a trop de talents"³.

С волчьим рычанием и жалобным овечьим блеянием читала мадемуазель Бабетта фабулы господина Лафонтена, а она повторяла ее движения и ужимки. Зато писала ровно, в прямую линию, как и отец, так что мсье Лорану, учившему ее чистописанию, не к чему было придрачиться. Счет и геометрические фигуры, деяния великих королей от зачинателей Рима, описание земли с объяснительными картинками не представляли трудности.

¹ Ах, птичка моя! (фр.)

² Бабушка (нем.)

³ Не все вместе бог дает людям! (фр.)

А в старом Цербсте в прямоугольных шкафах стояли книги: строгая мудрость терялась в туманных видениях, исходящих от янтарного свечения минувших солнц. И рядом мадемуазель Бабетта с упоением рыдала над любовью обманутой пастушки, но быстро вытирала слезы и с новым, бурно подавляемым пылом следила за ускользающе легкой игрой чувств. Она находила эти где попало оставленные книги и читала с середины тайные страницы, пахнувшие пересохшим жасмином, которым гувернантка закладывала свои книги. По-немецки она говорила только с отцом, с господином Латорфом и садовником Куртом. Язык не имел значения...

На коленях стояла она и очень просила бога исцелить ее от цыпок на руках, из-за чего приходится носить длинные перчатки. На нее падал шкаф, и еще ранила себе ладонь ножницами. А потом появился кашель. Огнем пылало все тело. Она лезла к темному окну, чтобы отворить его, но запуталась в рубашке и упала на твердую спинку кровати. После этого наступил черный год.

В большом зеркале видела она себя каждый день. Лицо ее было перекошено, правое плечо становилось выше другого. А в боку оказалась дыра, через которую дул ветер. Приходили врачи, их привозили даже из Берлина. Они давали пить горькое лекарство. Руки у нее сделались совсем тонкими...

И тогда появился большой грубый человек в черной одежде. Его провели в дом по задней лестнице. Сердце колотилось у нее от страха, потому что мадемуазель Бабетта шепнула ей, чем этот человек обычно занимается. Он долго трогал всю ее холодными пальцами и молчал. У него был выговор жителей этого берега, и она вдруг уверилась, что он вылечит ее. Так и случилось.

Долго еще широкая черная лента подтягивала руку и плечо. Днем и ночью носила она кожаный корсет со спицами внутри. Старая женщина натирала ей мазями больной бок. Дыра уменьшалась, а плечо становилось ровней. Когда сняли корсет, она спросила у черного человека, может ли он видеть будущее. Тот посмотрел на нее тяжелым взглядом и ничего не ответил. Это был городской палач, занимавшийся еще и врачеванием...

Что же произошло с ней, пока ходила с искривленным боком? Мир перевернулся, темные краски сделались светлыми, а светлые темными. Она вдруг ясно увидела другую сторону у каждого предмета и с болезненной жадностью вглядывалась в нее. Что бы случилось с ней, если бы так и осталась на всю жизнь кривобокой?.. Тетка Бригита — сестра отца, длинная и худая старуха с будто запеченным лицом, считала себя красавицей. Она держала в комнате больных птиц: подбитого аиста, скворца без ноги, обмороженных щеглов, старую с вылезшими перьями ворону. Как-то тетка ушла, а она отворила окно. Птицы, ковыляя и трепеща крыльями, разлетелись по соседним крышам. Тетка Бригита стояла и смотрела в пустое окно сухими безжизненными глазами, а с нею никогда больше не разговаривала...

Уже совсем большая прыгала она опять в Эйтине по подушкам, бегала по железным крученым лестницам, училась стрелять в уток на замковом пруду. А потом целовалась с дядей, который был на десять лет старше. От него пахло краской для усов и домашним пивом. "Вы шутите!" — сказала она ему и обещала, когда сделается совершеннолетней, стать его женой. Он хмурился и зло смотрел на брата прусского короля, играющего с ней в кегли.

Посредине игры вдруг замолкала она, уходила к себе и долго сидела, глядя в стену. Снова ощущала она жесткий корсет и болезненно приподнятое плечо. Предметы оборачивались другой стороной...

Пастор Моклер, которого уважал отец, беседовал с ней по воскресеньям. "Бог передал нам десять заповедей и ничего больше не придумает человечество в подтверждение своего смысла и достоинства!" — говорил он, положив мягкую руку ей на голову. Задумчивое, печальное лицо его освещалось необычным светом. Господин Вагнер, учивший ее правильной немецкой речи, говорил то же самое, но лицо у него было розовое и довольное.

Был еще господин Больхаген, старый друг отца, замещающий его в службе. Седой, изломанный, с покалеченной ядром рукой, он приходил во время болезни, подолгу рассказывал о своих странствиях и службе у разных королей. "Главное для человека — иметь сердце!" — восклицал он, поднимая вверх па-

лец. Господин Больхаген твердо считал, что ей предстоит носить корону. Когда пришло известие о свадьбе кузинь Августы Саксен-Готской и сына короля Георга Второго Английского, он убежденно сказал: "Эта принцесса поплоше наших. Уж если ей выпало быть королевой, то кем же станут наши дети!"

Что же делала она, не угодное богу? Заспорила с законоучителем и упрямо твердила, что никакого хаоса не было. Не могло быть так в мире, чтобы не существовало никакого порядка. Стуча по столу сухим пальцем, старый пастор предрекал, что за гордыню ее ждет ужасное наказание. В котле с вонючей серой будет она кипеть. "Не было... не было хаоса!" — кричала она и громко плакала. А потом горячо молилась, прося бога исправить ее характер. Вечные муки страшили ее. В Гедлинбургском аббатстве, куда привозила ее мать, кругом были мопсы и попугаи: в доме, в карете, даже в церкви. Шестнадцать мопсов жили в комнате у настоятельницы, приходившейся теткой матери, и запах стоял невыносимый. Здесь же, в аббатстве, жила сестра матери — тоже голштинская принцесса. С утра до ночи ругались они между собой, и мать их мирила. А она, вместо того чтобы помогать матери, исподволь ссорила их; забрасывала под кровать клубки с нитками, дразнила мопсов.

Грех лганья и притворства сопутствовал ей до самых последних дней. Всякий вечер делала она вид, что засыпает, а когда доверчивая мадемуазель Бабетта уходила, она открывала настежь окно и принималась скакать и прыгать сколько душе угодно. Ей это всегда нравилось: скакать на кровати или бегать вверх и вниз по лестнице.

Не надевая обуви, в одной рубашке спускалась она этажом ниже и подслушивала за дверью, о чем говорят мадемуазель Бабетта со служанкой. Сердце ее замирало, когда слышала потаенные признания служанки обо всем... об этом!

А потом была женщина на лошади и темная комната, где томительно и неясно двигались тени. Даже богу не говорила она об этом. А еще золотые и пурпурные полосы являлись на стене...

Карета перестала покачиваться на рытвинах, колеса скрежетали по камню. Через слюдяные окна

видны были узкие дома с островерхими крышами, за ними гасли зимние сумерки.

— Графиня Рейнбек с дочерью... Королевская подорожная!

Черный орел висел на стене в большой холодной комнате, куда привел их встретивший офицер. При свете лампы, он читал бумагу, с недоумением поглядывая на мать. Та старательно прятала лицо за бархатной муфтой. А она сразу узнала адъютанта, служившего когда-то у отца.

— Графиня Рейнбек? — с сомнением в голосе произнес офицер и отдал распоряжение чиновнику. Их провели в комнату для проезжающих. Слуги взятым из дому бельем застилали железные кровати, носили торф для высокой черной печи. По требованию матери принесли еще одну лампу, поставили на стол. Пока готовили ужин, мать принялась писать письма. А она смотрела в окно на широкий двор почтовой станции. Там стояли в ряд их кареты: одна — высокая, на французских рессорах, в которой ехали они с матерью, три другие — обычные, похожие на длинные черные ящики. В них ехали слуги и сопровождающие, везли постель и продовольствие. По четверке лошадей было впряжено в каждую карету: их сейчас как раз выпрягали, заводили в конюшню.

Ночью слышно было, как за стеной всхрапывали, ударяли копытами в стойку лошади. Раздавались команды: меняли караул. Поутру пришел тот же офицер, и мать снова скрывала свое лицо. Так она делала на каждой станции...

Море то приближалось, то отступало, но всегда находилось с левой стороны. Оно угадывалось по полосе плотного серого тумана. Справа иногда проглядывало низкое холодное солнце, и квадраты блеклого света от слюдяных окон перемещались по внутренности кареты. Опять в полусне она думала о будущем. Все исходило из прошлого...

Эйтинская поездка была как бы началом всего. Долговязый, с развинченной походкой мальчик остановился, словно наткнувшись на что-то, посмотрел на нее выпуклыми водянистыми глазами. Ничего не выражалось в них, только затаенное изумление. Это было удивительно: глаза не имели твердого цвета. Он захохотал громко и пошел несуразно в сторону, как бы

потеряв направление. Она тут же передразнила его и, к восторгу маленькой принцессы Баден-Дурлахской, тоже пошла большими неровными шагами, нелепо подпрыгивая.

Это был ее троюродный брат по голштинскому дому, принц Карл-Петр Ульрих. Их общий дядя — епископ Любекский — собрал у себя всех ближних родственников, чтобы познакомить с этим мальчиком — наследником двух великих престолов — шведского и русского, именующего себя императорским. Потом она играла с мальчиком, и хоть была на год моложе, заставляла его делать, как ей хотелось. За ним смотрел швед Брюммер, огромный, с толстым красным лицом и большими кулаками. А она была полна радостью свободы: мадемуазель Бабетту оставили в Цербсте, и некому было делать ей замечания. Мальчик вдруг начинал упрячиться, кричал дерзости, но появлялся Брюммер, и он послушно умолкал: руки опускались, как плети, и бегали глаза.

Пользуясь своей вольностью, она прибегала к задней двери епископского зала и тихонько слушала, что говорили за ней. Там собирались все приехавшие: гроссмутер Альбертина-Фридерика, затем мать и другая принцесса Голштинская и Саксен-Готская — тетка Анна, дяди — принцы Август-Фридрих и Георг-Людвиг, прочие родственники. Мать говорила больше всех. Дядя, епископ Любекский Адольф-Фридрих, сидел в кресле с высокой спинкой, на которой вырезан был голштинский герб. Он торжественно объявил, что в связи с печальным событием — кончиной брата Карла-Фридриха, герцога Шлезвиг-Голштейна, — возлагает на себя бремя управления страной, а также опеку над сыном его Карлом-Петром Ульрихом. Мать малолетнего принца Анна — дочь русского царя Петра умерла, как известно, одиннадцать лет назад, в третий месяц после родов...

Родственники по очереди высказывали свое отношение к воспитанию принца. Мальчик скрытен, ведет себя неровно, замечен в обмане. Физическая слабость его вызывает беспокойство. При этом пристрастен к

вину. Не раз его ловили возле буфета с напитками. Швед Брюммер при каждом таком утверждении согласно кивал головой. Он говорил, что с этим ребенком необходимы строгость и строгость. Каждый шаг его должен быть под контролем, и ни минуты не следует оставлять ему свободной.

Слабый, глуховатый голос гроссмутер доносился будто из прошлого века. Она рассуждала, в кого же склонностями и задатками пошел мальчик. Может быть, в двоюродного дядю по шведской линии, короля-сумасброда, взбудоражившего всю Европу? Тот, несмотря на всю свою воинственность, тоже был слаб здоровьем. Некрепок телом был и герцог Карл-Фридрих, ее без времени почивший сын. От него, как видно, мальчик перенял страсть к военным играм. Прямой дед принца по матери — русский царь Питер был великан и неутомим в делах. Его помнят здесь, как шел оберегать Гольштейн от беспокойных соседей. Однако и его преследовал некий рок. Скрытая болезнь ли тому причиной или чрезмерное расходование жизненных сил, но в то время, как дочери его выделялись статью и красотой, царь был несчастлив в мужском потомстве. Не наследуется ли это качество через женскую линию?..

Теперь она с интересом наблюдала за долговязым мальчиком. Тот привязался к ней и ходил следом. Краски появлялись на его лице, он начинал связно говорить, смеялся от души. Принцесса Саксен-Готская сказала шутливо матери: "О, эти дети — вполне достойная пара!" Мать рассмеялась: "У него слишком громкое имя для бедной Ангальт-Цербстской принцессы!"

Но являлся Брюммер, и у мальчика падали руки. С утра до ночи смотрели за ним еще два гувернера и лакей. Швед громогласно отчитывал его, толкал к столу, силой принуждая делать заданные учителями упражнения. В наказание его заставляли стоять на вытяжку. Ей не было его жалко. Принц Карл-Петр Ульрих надоел ей уже на второй день.

Карета катилась все в том же направлении. Золотые и пурпурные полосы предрекали будущее. Это была страна, куда уходили служить и растворялись в

не имеющем очертаний пространстве. Оттуда редко возвращались и рассказывали странные истории. Некий барон, служивший в этой стране, ездил на медведях, выворачивал наизнанку волка, стрелял косточкой в лоб оленю, и выросло вишневое дерево. Там даже звуки замерзли от мороза в почтовом рожке...

Она невольно посмотрела в слюдяное окно. Голые полосы полей уплывали назад, перемежаясь черными пустыми лесами. Морозы не проходили, но снега не было. Она с любопытством прислушалась. Резкий поющий звук донесся издали, повторился уже рядом. Вихрем пронеслась встречная почтовая карета с королевским орлом на двери. Кучер держал рожок возле губ. Звуки пока еще не замерзли...

В Цербсте и Эйтине всегда подсчитывали степени родственных связей, вспоминая эту страну. С детства ей представлялся огромный царь в высоких сапогах и такие же большие солдаты. В сыром морском тумане они шли на приступ города, захваченного врагами...

— Графиня Рейнбек с дочерью... Подорожная в Россию!

Здесь была территория другого короля. Усатый человек в странном, с широкими плечами балахоне из катаной шерсти заговорил непонятно, зацокал. Потом стал говорить по-немецки, смешно произнося слова. И добавлял каждый раз свое "цо... цо мовет пани?". Свободных лошадей не оказалось, так что пришлось оставаться тут до следующего утра. Их устроили спать у стены на широких деревянных скамьях. Для слуг на полу постелили солому.

Выехали еще затемно. Упираясь и закидывая морды, лошади скатили карету с горы, заскользили копытами. Грязными линиями по мутно-белому льду обозначалась дорога. Другой берег у реки был низкий, он сливался с землей и небом...

Все началось еще прошлой зимой, когда они гостили в Берлине. Мать ездила к королевскому двору, возвращалась озабоченная и осматривала ее с разных сторон. Потом в доме с верандой и запотевшим окном

мэтр Пэн рисовал ее портрет. Приближая выцветшие глаза к самому ее лицу, он все вздыхал, выискивая нужную краску. Она оторопело смотрела на длиннорукую девицу с ватным лицом на холсте. Другой портрет, что рисовали три года назад, ей больше нравился. Там она была похожа на бело-розовую куклу, которую подарила ей к двенадцатилетию ее воспитательница — мадемуазель Бабетта Кардель.

Однако портрет долго не рассматривали. Его заправили в рамку и сразу увезли в Любек. Дядя, принц Август, собирался ехать в Россию. Мать и отец, даже мадемуазель Бабетта не разговаривали с ней, но она понимала, к чему это делается. Все было угадано ею самой, когда ходила в корсете с приподнятым плечом. Сейчас видения обретали смысл.

Еще раньше в Штеттине и Цербсте стали оживленно говорить о новой русской императрице. Мать всю неделю носила при себе у корсажа ее родственное письмо. Внизу, сильно отступя, стояла подпись: "Елисавет". По письму этому был послан в Россию портрет покойной сестры императрицы — Анны, бывшей замужем за дядей Карлом-Фридрихом. В ответ пришел эмалевый портрет самой императрицы с бриллиантами, стоимостью в восемнадцать тысяч рублей. Величественная женщина с чуть выпуклыми глазами держала в руках золотой скипетр.

Известия приходили одно за другим. Не пролетело и недели, как подтвердилось сообщение о вызове из Киля в Петербург принца Карла-Петра Ульриха, наследника русского престола. Это был тот самый долговязый мальчик, которого она видела в Эйтине...

И тут сразу проявилась милость великого короля Фридриха. Отец, который командовал полком, был пожалован чином фельдмаршала. Говорили шепотом, что это дальний шаг короля в сторону русского двора, и опять поглядывали на нее. Потом уже мэтр Антуан Пэн поспешно писал ее портрет для отправки русской императрице в Петербург...

Великий король Фридрих что-то знал о ее предназначении. Он тоже родился недалеко от этого туманного моря, где люди провидят будущее. Много лет назад, когда она с матерью поехала в Берлин с тра-

урным соболезованием от Померании в связи с кончиной старого короля, новый король вдруг бегло рассмеялся и спросил, правда ли, что дамы в Штеттине отказались носить траур в память его родителя. Мать стала уверять, что народ и дворяне побережья искренне скорбят о безвременной потере. Слушая мать, она не могла сдержатъ слез. Так всегда происходило в детстве, когда кто-нибудь произносил при ней ложь. Король Фридрих жестом остановил мать: "Не продолжайте, мадам: я прочел истину в глазах этого ребенка!" И вдруг повернулся к ней. Умные глаза короля понимающе щурились. Он что-то угадал в ней.

В Берлине они с матерью бывали всякий год. Она хорошо помнила длинный зал с железными щитами на стенах и сидящего на золотом стуле человека. На других стульях поменьше сидели мужчины и женщины, среди них была ее мать. Она сделала реверанс, как ее учили, потом подошла и потрогала человека на золотом стуле за штаны. Все вокруг улыбались. Ей было тогда три года. Рассказывали, что она спросила у старого короля, почему у него такая короткая одежда. Но это происходило в Брауншвейге.

В Берлине она играла с королевскими принцами. Старший из них, Генрих, строил для нее замок из кубиков, а сестра, рыжая Ульрика, принуждала играть в куклы. Она не хотела возиться с куклами, тогда Ульрика разозлилась и впила ей ногтями в лицо. На крик и плач быстрыми шагами вошел кронпринц. Он взял на руку вопившую что было сил сестру Ульрику, которую она повалила на пол, другой рукой поднял ее: "Ваши высочества еще не заняли подобающих тронов, чтобы царапать друг друга!" Будущий великий король говорил вполне серьезно.

И сейчас в Берлине этот король передал матери, что хочет видеть ее дочь за обедом у королевы. Во время обеда он говорил только с ней. "Вам четырнадцать лет, принцесса, но судьбе угодно положиться на вашу рассудительность. Кто знает, не зависит ли от нее будущее Европы". Это тоже серьезно он сказал ей в ложе королевской оперы.

У короля был прямой взгляд и резкое, будто вырезанное из камня лицо. Она вдруг подумала, откуда же великий король узнал о делах, касающихся их поездки. Скрепленные тяжелой печатью письма шли в

Россию и обратно. Ей вспомнилось, как тайно слушала разговор взрослых в Эйтинском замке, и она тоже прямо посмотрела в глаза королю. "Ваше величество во всем является для меня примером!" — сказала она. Король улыбнулся и кивнул головой...

Карета качнулась. Она приподнялась с перины, нетерпеливо, ожидающе посмотрела в переднее окошко. Черная промерзшая дорога все так же уходила вдаль среди бурых полей. Прямыми линиями стояли домики под черепичными крышами. И леса вдоль дороги были аккуратно подчищены, сухие ветки сложены ровными кучками. С той стороны, откуда они ехали, слабое уходящее солнце освещало трубы домов и верхушки деревьев. А впереди, за полями и лесами, стояла плотная густо-синяя мгла. В ней ничего нельзя было угадать.

— Графиня Рейнбек с дочерью... Королевская подорожная!

Здесь опять были владения великого короля. Темные стены замка сияли при луне. Крепостные строения с каждым днем пути становились выше, а стены — толще. Но это был уже город-крепость. Гулко, будто в железной коробке, стучали колеса в узких улицах, в окнах домов виднелись кованые ограждения. В гостинице все было приготовлено к их приезду. Решено было дать однодневный отдых людям и лошадям...

Мать писала своим беглым почерком: "Достопочтенной родительнице моей, герцогине Голштейна Альбертине-Фридерике..." За окнами стояла белая завеса от впервые в эту зиму падавшего снега. Отсюда, с другой стороны бюро, можно было разобрать каждое написанное матерью слово... "В день нового года я получила эстафету из Петербурга с приглашением, по приказанию и от имени всероссийской императрицы, отправиться, не теряя времени, со старшей дочерью в место, где будет находиться императорский двор при моем прибытии в Россию. Князя и фельдмаршала — супруга моего просили не сопровождать меня, так как Ея императорское Величество имела важные причины отложить удовольствие свидания с ним до другого раза. Письмо было

снабжено векселем, многими необходимыми наставлениями, предписанием о непроницаемой тайне и о сохранении инкогнито, под именем графини Рейнбек, до Риги, где мне разрешено открыть свое имя, чтобы получить назначенную мне эскорту. Предписано говорить, как в Риге, так и по прибытии, что я еду лично благодарить Ея императорское Величество за все милости, оказанные из России моему дому, и лично узнать эту прелестную государыню. Ея императорское Величество желает, чтобы то же самое разглашали и мои родственники в Германии. Прежде всего, мне бросилось в глаза существенное обстоятельство, касающееся судьбы моей дочери, относительного которого, как узнала впоследствии, я не ошиблась...”

Ей вдруг сделалось грустно. Ни разу ни сказали ей прямо о том. Все говорилось, будто мнение ее не имеет значения. Может быть, это действительно так, и провидение само, без ее участия, направляет ее к цели.

Мать продолжала писать: ”И так, делая вид, что приглашены в Берлин, мой муж и я выехали из Цербста. Вскоре он получил приказание отправиться в Штеттин; я всем говорила, что сопровождаю его, но потом свернула на другую дорогу. В одиннадцать дней я прибыла сюда и хотя не устала, но завтра отдохну здесь. Надеюсь, что переезд в Ригу не продолжится больше недели; оттуда в Петербург, если только санный путь продержится, еще менее...”

Почему же отцу нельзя было ехать с ними? Ей вдруг явственно послышался ровный строгий голос. Непослушный мальчик Штрубльпейтер был еще и излишне любопытен, за что понес соответствующее наказание... Она достала свою коленкоровую сумку, вынула свои чернила и бумагу, снова прочла догнавшее их вчера письмо. Фике — все называли ее так в доме, кроме отца. Лишь сейчас она ощутила его святую любовь. Горячая сухость появилась у глаз. Она тоже принялась писать... ”Государь! Я получила с совершенным почтением и невыразимую радостью записку, в которой Ваша Светлость почтили меня уведомлением о своем здоровье, о памяти обо мне и о своих милостях. Умоляю Вас быть уверенным, что ваши указания и советы навечно останутся запечатленными в моем сердце, равно как и семена нашей святой религии в моей душе, которой прошу Господа

ниспослать все силы, необходимые, чтоб выдержать те искушения, которым готовлюсь подвергнуться. По молитвам Вашей Светлости и дорогой мамы, Господь окажет эту милость, которую не могли бы мне доставить моя молодость и моя слабость. Я предаю себя Господу и желаю иметь утешение сделаться достойною такой милости, равно как получать добрые вести от дорогого папы. Остаюсь всю мою жизнь с неизменным почтением, государь, Вашей Светлости все-нижайшая и верная дочь и слуга София-Августа, принцесса Ангальт-Цербстская... Кенигсберг в Пруссии, 29 января 1744 года”.

Когда отъезжали, один лишь замок тускло чернел среди снега. Дома вокруг стояли засыпанные до крыш. Но с дороги снег сдувало, пришлось и дальше ехать на колесах. Только сзади привязали сани, чтобы в случае надобности переставить на них кареты. Полозья торчали выше крыши. А снег все мел навстречу, и плотная синяя мгла не проходила впереди...

Она ехала и думала, что в четыре недели все перевернулось. В Новый год отцу — князю и государю Ангальт-Цербстскому подали пакет с почтой. Тот разорвал пакет, несколько писем, как всегда, передал матери, и она сразу ушла к себе. Три дня отец и мать взволнованно говорили между собой, запираясь от всех.

”Я знаю, о чем эти письма, ваша светлость!” — вдруг сказала она матери.

”Но откуда вы это знаете?” — спросила мать. ”Ваша светлость, помните того прорицателя из Менгдена... Я тоже читаю на лице”. Мать засмеялась: ”Тогда напишите ваше будущее!” Она ушла и через некоторое время принесла свернутую бумагу. Мать развернула и прочла: ”Петр Третий, русский царь, будет моим мужем”.

Мать задумчиво покачала головой: ”В России все не так, как предусмотрено божьим порядком”. ”Я знаю свою фортуна!” — ответила она. ”А что скажет мой брат?” — тихо спросила мать. Она вспомнила поцелуй в темном коридоре. ”Принц Георг-Людвиг не может не желать моего счастья!” — с достоинством ответила она. Больше они об этом не говорили.

Князь и государь Ангальт-Цербстский заперся в те

дни в своем кабинете и что-то писал. Слуги в доме говорили вполголоса. В день отъезда, прежде чем садиться им в кареты, отец преподнес ей книгу в строгом черном переплете, рекомендуя внимательно ее прочитать и в деле исповедания веры следовать наставлениям автора — доктора Гейнекция. Матери он передал тетрадь, на обложке которой значилось *Pro Memoria*. В далекой России им обоим предстояло руководствоваться его советами.

Целый день перед их отъездом цербстский камердинер с Бабеттой выкладывали из корзин простыни и наперники, сортировали белье. Простыни были в большинстве старые, с аккуратной штопкой, а целых рубашек для нее нашлось лишь две. Мать решительно отбрасывала в сторону все, где явственно виделись следы починки. Известно было, что в берлинском торговом доме им предстояло получить некую сумму. Она назначалась от русской императрицы на покупку белья и платьев, соответствующих новому ее положению.

Мадемуазель Элизабетта Кардель, растившая ее с пяти лет, все дознавалась, почему столь необычные сборы для простой поездки обратно в Штеттин. Следуя наставлениям матери, она ничего ей не сказала. Бабетта навсегда оставалась здесь; постаревшая, с заплаканными глазами, стояла она во дворе Цербстского замка и, протянув в небо руку, махала одной лишь ладонью: *Vonne chance, ma petite enfant!*¹

— Графиня Рейнбек с дочерью!

Лес стоял вокруг, и почтовая станция тонула в снегу. При свете фонаря, подвешенного под темный бревенчатый потолок, она читала *Pro Memoria* — памятную записку своего отца — фельдмаршала, князя и государя Ангальт-Цербстского... "Относительно греческой религии следовало бы попытаться, нельзя ли, чтобы дочь сохранила лютеранскую веру... Так как жить и действовать в чужой стране, управляемой государем, не имея близкого доверенного лица, есть дело весьма щекотливое, то, после старательной мо-

¹ Желая тебе счастья, мое дитя! (фр.)

литвы более всего следует рекомендовать дочери, чтобы она нижайше оказывала Ея императорскому Величеству всевозможное уважение и, после Господа Бога, величайшее почтение и готовность к услугам, как вследствие ея неограниченной власти, так и ради признания благоденний... После Ея императорского Величества дочь моя всего более должна уважать великого князя, как господина, отца и повелителя, и при всяком случае угождением и нежностью снискивать его доверенность и любовь. Государя и его волю предпочитать всем удовольствиям и ставить выше всего на свете...

Не входить ни с кем в слишком близкие отношения, но всегда сохранять по возможности собственное достоинство. Милостивыми взорами смотреть на слуг и любимых людей государя... В аудиенц-зале ни с кем наедине не говорить...

Карманные деньги, какие только будут отпускаться, держать у себя и хранить, выдавая понемногу прислуге по счету... В тяжёбных делах ни за кого не ходатайствовать... наипаче не вмешиваться ни в какие правительственные дела...

Ни с кем не сдружаться, стараясь приобрести доверие только Ея императорского Величества и великого князя; относительно всех и вся быть сдержанною..."

Продолжалась сказка о Штрубльпейтере. Слушая рев ветра за стеной, она смотрела на пламя фонаря. Там вспыхивали золотые и пурпурные полосы. С каждым днем приближалась она к своему будущему...

Ветер все дул навстречу, бросая тяжелые снежные комья в слюдяные окна. Кареты в Митаве поставили на полозья, и теперь они мягко покачивались в выроставших на дороге сугробах. Она прислушивалась к проезжавшей почте: рожки еще пели...

— Ах, Каролинхен!..

Женщина на лошади с гордо посаженной головой явилась как всегда неожиданно. Она ехала верхом, перекинув ногу по-мужски и вызывая укоряющий шепот. Лишь чуть-чуть касалась она хлыстом полированной спины жеребца, и тот послушно приседал на круп, сдерживая свою могучую силу...

Госпожа Бентинг, полуфламандка, в которой сме-

шалась кровь антверпенских купцов и древних английских королей, жила отдельно от мужа. Портрет необыкновенно красивого графа Бентинга висел у нее над кроватью. И маленький херувим с золотыми кудряшками бегал по дому. Говорили, что мальчик, как вино из одной бутылки, похож на молодого курьера, сопровождающего везде графиню.

Это было совсем недавно, прошедшим летом. С отцом и матерью гостила она у цербстских родственников: сначала в Жеверне, потом в Аурихе — у принца Ост-Фризского. Оттуда все вместе поехали в Варель к вдове герцога Ольденбургского. Графиня Бентинг, их дальняя родня, ехала верхом и поправляла волосы обнаженной рукой. Мужчины при виде ее затихали и делали притворно-равнодушные лица. Дав насмотреться на себя, она трогала коня хлыстом с янтарной рукоятью, и тот уносил ее вперед, к виднеющимся у горизонта мельницам...

”Вам четырнадцать лет, принцесса, а я не вижу возле вас поклонников!” — весело сказала ей графиня в Вареле. Каролинхен делала, что хотела: пела, танцевала, купалась вместе с лошадьё в герцогском пруду. Она сразу так и сказала: называть ее Каролинхен. ”А вас я буду звать Фике. Мы, женщины, не имеем возраста, пока достойны этого имени!” Некая загадочная улыбка появлялась у нее, когда говорила это.

Ни на шаг не отходила она от графини, следуя ей в походке и обращении. Увидев, что она внимательно смотрит на портрет графа, Каролинхен сделала живую гримасу: ”Ах, моя милая Фике! Не был бы этот человек моим мужем, я бы безумно влюбилась в него!”

А потом была затемненная комната в Варельском замке. Ей страстно захотелось увидеть графиню Бентинг в неурочный час. Быстрее ветра взбежала она на верхний этаж, где та располагалась с мальчиком и слугами. Дверь из коридора растворилась без шума: две переплетенные тени в неистовой борьбе двигались яростно и поспешно. Она не знала, что происходит, только где-то внутри у нее появилась томная теплота. Тени все продолжали двигаться, не разъединяясь. Она смотрела на упавшее к полу одеяло: край его держался среди непонятно вскинутых ног. И больше ничего там не было...

Стон донесся до ее слуха. Сладкая мука все повторялась. Теплота стремительно стала разливаться в ней, счастьем наполнилась грудь. И все смотрела она на неистовое размеренное движение ничем не укрытых тел. А они вдруг замерли в судорожном сплетении. Казалось, никогда не закончится их напряженная неподвижность. Глубокий одновременный вздох раздался в тишине. Не в силах уже сдерживаться, она тоже застонала... Ах!

Она проснулась. Истома медленно оставляла тело, все еще сладко ныла набухшая грудь. Карета не двигалась. Ветер стих, и за слюдяным окном слышался негромкий разговор. Мать спала, до глаз прикрывшись периной. Напротив спали госпожа Кайен и благородная девица Шенк. Она высвободила из-под перины ноги в высоких шнурованных ботинках, выглянула наружу, сошла в неглубокий чистый снег. Господин Латорф и сопровождающий их офицер разговаривали с кучерами, чинившими надломанный полоз их кареты.

Отойдя на несколько шагов в редкий придорожный лесок, она оглянулась. Ее еще было видно от карет. Тогда она прошла немного дальше, спряталась за широкое дерево. Теплое белье мешало движениям. Потом она встала, поправляясь, и замерла с опущенными руками.

В четырех шагах от нее стоял мальчик и, открывши рот, смотрел на нее. В глазах его читались растерянность и стыд за себя, увидевшего ее. И было в них еще что-то, отчего она сразу почувствовала себя уверенно.

Теперь она рассмотрела, что мальчик большой и высокий. Почти мужчина это был, в военной одежде, и держал в поводу коня. Темно-русые волосы крупной прядью выбивались из-под шапки. Лицо его стало краснеть, и оттого еще белее сделались шея и твердый широкий подбородок. Он продолжал смотреть на нее, не отводя глаз. Она вскинула голову, и будто не было его здесь, пошла мимо. Но сделавши пять или шесть шагов, вдруг потеряла опору и полетела в белую слепящую бездну...

Она еще барахталась в снегу, когда почувствовала две сильных руки. И сразу покорно ослабела, доверяясь этой первородной силе. Все бывшее до того не существовало. Теплые мужские пальцы касались ее глаз, носа, рта, уверенно и осторожно счищая снег с лица. Сон в карете продолжался. Она открыла глаза и увидела его вблизи, совсем рядом. Светлый пушок золотился у него возле губ. Ей было хорошо и покойно лежать на его руках. Они смотрели друг на друга, и она вдруг улыбнулась. Потом сошла с его рук и, благосклонно кивнув, пошла к карете...

На них смотрели удивленно. Не оглядываясь, полезла она внутрь экипажа, натянула перину до подбородка. Сердце билось с учащенной ровностью. Глубоко вздохнув, она спохватилась и посмотрела в окно. Там, в лесу никого уже не было. Господин Латорф говорил через дверь проснувшейся матери:

— Это российская территория, мадам... Полковник господин Воейков прислал нам предварительную эскорту!

II

Звук был вовсе негромкий, но будто пушкой ударил в ухо. Вице-канцлер с недоумением смотрел на перо в своей руке. Оно переломилось как раз посередине, где придерживает его большой палец. Жесткая гусиная опушка на месте сгиба торчала ровными краями.

Такого не случалось с ним, чтобы перо ломалось в руке. Писал он всегда одним и тем же пером, пока не стачивалось до края. Машинально выправил он трубчатый стержень, соединяя надлом, но перо опять безжизненно поникло. Капля чернил засыхала на нем... Так, Ангальт-Цербстская принцесса с матерью прибыли в Ригу!

От государыни он знал уже об ее выборе. Да и трудно было той отстать сердцем от голштинского дома, где состояла замужем ее покойная сестра. Оттуда был рано умерший ее собственный жених. Так что того и следовало ждать. Только не думал он, что все делается так скоро.

Все ж надлежало и его подробно известить об этом

приезде, коли доверено ему вести корабль российской политики. Многие сейчас зависят от выбора невесты для наследника. Однако царственная дочь упрямством пошла в своего великого родителя, да и женское лукавство тут примешалось. Решили все образовать, как семейное дело, а потому в мнениях вернейших рабов своих не находят нужды.

Да, все то Ботта натворил. Болтливый маркиз и дома не пропустил, где бы не оглашал своих притязаний. Такова обманчивая внешность. По виду серьезный человек, и обходительностью для полномочного министра подходящий. Да вот на мякине попался. Перед женщинами даже что попало болтал, забыв, что в Петербурге стены слышат.

Положим, лишнего тоже на него наплели: чего не скажешь, когда руки со спины к потолку подкручены, а поперек кнутом бьют. Однако и четверти той правды для нынешнего времени достаточно. Государыня в единый миг была вознесена к трону, так и сама опасается такой легкости: как бы и другой кто способный не нашелся.

А австрийский посланник Ботта везде говорил с приязнью о свергнутой Брауншвейгской фамилии. Пуще про государыню, что в Царское Село ездит, английское пиво там пьет с непотребными людьми. Намекал даже, как родилась незаконно, до маменькиной коронации. В один голос подтвердили то слышавшие, что Ботта при отъезде своем многократно упоминал, будто все силы употребит для возвращения из изгнания правительницы Анны, а малолетнему императору Иоанну он верный слуга и доброжелатель. Хуже, что через вздорную свою жену оказался впутанным в столь компрометирное дело и брат Михаила. Ему, вице-канцлеру, самолично пришлось объясняться перед государыней, что двадцать два года никаких делов с братом не имеет, а от прежнего правительства великую опалу испытал. К тому ж и брат Михаила не в больших ладах со своей женой находился — о том всякому известно. Ей же, зловредной, кнут и ссылка в Сибирь вполне приличествует.

Пусть бога благодарит еще за то, что государыня завет блюдет. Когда цесаревной решилась она на великое дело, то долго молилась перед тем. И клятву

дала, что коль добудет отцовский престол, то никого не станет казнить смертью...

Доложено, что в Риге Ангальт-Цербстская принцесса встречена была во всем параде. Как же проехала она половину Европы, что никто о том не знал? И по почтовой части ничего ему не докладывали. Сие означает, что письма шли с приватными курьерами. Беспременно здесь шайка Лестока и француза Шетарди поработала. Лесток — от пеленок доверенный врач при государыне, а граф Шетарди блюдет свой французский интерес. Так или иначе, все то вопреки российской пользе. Его мнение с самого начала сказано было государыне: лучшим выбором для наследника стала бы саксонская принцесса. К тому же курфюрст и король польский Август тоже был обнадежен в отношении этого. Ждали лишь совершеннолетия великого князя. О цербстском доме говорилось лишь вскользь.

То правильно, что в супруги будущему императору русскому берут жену из незначительного дома. Не станет втягивать Россию в большие контроверзы европейские, а величие державы от того не уменьшится. В том только загвоздка, что и так голштинский дом, где вскормлен наследник, закрывается прусской дверью, а тут еще и Цербст выглядывает из того же окна. Ангальт-Цербстский князь на прямой службе у прусского Фридриха, а для России это означает опасность таскать уголья из европейского огня в пользу всего тороватого короля.

В то же время саксонский союз предоставил бы многие пользы. Главное, закрывал бы бессильную Австрию от прусской диверсии. Не в том ли был расчет Петра Великого, чтобы опираться на Австрию и Саксонию противу султана и вкупе с державами морскими Англией и Голландией равновесить драчливую Францию и крепнувшую Пруссию? К тому ж и в польских делах от того сильнее стал бы русский вес, поскольку курфюрст саксонский Август является польским королем...

За всем просматривается здесь прусская рука. Помимо Шетарди с Лестоком сторону цербстской принцессы тянет приехавший с наследником Брюммер,

воспитатель его и гофмаршал двора. Сей швед кипит от ярости к России и готов хотя бы черта видеть у ней на облучке, абы был тот французского виду. Ну, а водит всех на ниточках Мардефельд, посланник прусский. Все и обстрипали они. Однако ж последнее слово было за государыней, и женское чувство сыграло в том роль!..

Разве ж дело в какой-то там принцессе, коих великое множество в Европе. Между тем еще одна не особливая, но имеющая далекие виды прибыль протекает из саксонского союза. Коли Австрию да польско-саксонский двор привести к обозначению российской государыни императорским титулом, то и прочие дворы в Европе станут привыкать к тому. Помимо политического авантажу, российский напор на султана получит свое законное обоснование. Известно, что тысячу лет стоял Рим, где положено начало христианскому порядку среди народов. Затем сделался новый Рим — Константинополь, откуда в Россию правомочно перешло наследие Мономаха. То тоже петровский завет, что в противность германским императорам, наследующим старому Риму, пусть пребывает в величии и славе Российская держава, наследница Цареграда. Тем самым утвердится равновесие в Европе и роль российского имени. Штандарт империи развернул великий преобразователь вместо знамени одной Москвы, и в том долгое и славное будущее России.

Меж тем ущербные умы староверные без смысла и толка ярятся противу всего иностранного. Но в том и суть империи, чтобы вбирать в себя народы и языцы, обогащаясь телом и духом. Державный созидатель все то ясно видел. Вон крестник его Ганнибал, что Кронштадт строил, и вовсе арап. Что же, внуков и правнуков его нерусскими числить, даже если отличаться видом будут от какого сидельца в Гостином ряду? Также и Ивана Ивановича Беринга, что ныне для России Америку нашел, не считать в русском послужном списке? А как обходиться с землями и народами, какие под сень Российской державы станут прибавляться? Коли попросту ясак с них брать на батыев манер, то столь же недолго державе сей быть, как и орде Батыевой.

Вот что небезынтересно. Старозаветные ревнители, мыслящие огородиться от Европы, того же самого хотят, что и король Фридрих. Тот во сне видит загнать Россию назад в лесную да болотную Московию, откуда бы и выхода никуда не было. Чтобы по примеру самоедов считали, что никого больше, кроме них, и нет на земле.

В ту сторону как раз работают Шетарди с Лестоком. Мнится им, что государыня Елизавета Петровна по женской ограниченности да по природной ленивости пренебрежет делом великого родителя. Вот и сейчас она, почитай, на год подалась в Москву, и всем двором. Станет молиться, есть блины, плясать в маскарадах. Потом опять же на богомолье в Киев. Там и Ангальт-Цербстскую принцессу перекрестят, и будет при наследнике российского престола домашний прусский надзор...

Нет, не все еще у них сделано. Хоть вместе с тем же Лестоком да Шетарди содействовал он устранению от престола Брауншвейгской фамилии, но тут их пути расходятся. Не столь прост он, как кому-то думается. Разное видел в жизни. И тот день богом запечатлен в его сердце, когда великий государь положил некоему отроку руку на голову: "Поедешь в Европу!" Прямая линия прочерчена с того дня через всю его жизнь. По государевой задаче служил у курфюрста саксонского, затем короля английского, в Дрездене и Гамбурге, Гааге и Лондоне, Митаве и Копенгагене. У одного его среди этого двора Петром Великим повешенный на грудь собственный портрет государев с бриллиантами.

А что Бирону приходилось служить, то кто не забирался на сей облучок? Только и к Бирону был он приближен не фавором и похлебством, а неуклонным усердием к державной пользе. Тому же Бирону только за происхождение не прощают, что у другого звалось бы доблестью. То лишь кажется, что кто-то самовластно правит сей державой. Россия такова, что кого угодно под себя преобразит. И нечего искать виновных у татар ли, немцев или еще где. А также детским обычаем врачей бить оттого, что холера в дому.

Не то, чей дом приладит свою креатуру к российскому престолу, должно иметь значение, а то лишь, что к пользе имперской будет служить. Такова сак-

сонская партия для наследника, и к ней следует вести дело. Ангальт-Цербстская принцесса еще не доехала до места, а там всякое может получиться. Все же государыня — дочь Петрова, и коль представить ей резоны, то не станет уклоняться от отцова завета. А найти убедительные резоны уж его прямое дело.

Вице-канцлер российский Алексей Петрович Бестужев-Рюмин бросил в корзину поломанное перо, взял из коробки другое, самолично сделал ножиком удобный ему надрез и принялся писать четким бережливым почерком: "Государыня моя, во всенепременное исполнение службы, наинижайший твой раб, спешу уведомить тебя..."

III

Александр Ростовцев-Марьин, фланговый конной гвардии, свистнул по-егерски, поскакал, бросив поводья, в снежное поле за зайцем. Косой улепетывал к перелеску, вправо и влево подкидывая пушистый зад, а он скакал за ним просто так, чтобы размять себя и коня.

Здесь им была воля. На хуторе у латгальца пили утром парное молоко. В рассветной тьме встретили поезд из четырех карет и дефилировали сзади в версте, не приближаясь и не отдаляясь, как приказал полковник. Другие скакали впереди. Потом у одной кареты сломался полоз, и они, шестеро, добрый час топтались с лошадьми на пустой дороге, толкаясь для сугреву боками. Тут как раз и шмыгнул заяц — точь-в-точь российский, с белым коротким хвостом вздырку и длинными ушами.

Заяц сделал славный полукруг и теперь забирал к лесу. Казалось, он тоже играет, радуясь свежему снегу и ясному утру. И конь скакал без видимой натуги, не тратя полных сил. Пошли мелкие деревья, потом повыше, снег сделался глубже, и конь остановился. Заяц пропал из виду. Ростовцев-Марьин слез с седла и, не отпуская коня, стал собирать черную морозную рябину с прижатого снегом куста. Тьма ее была здесь.

А разогнувшись, замер с открытым ртом. В четырех шагах стояла в снегу барышня будто из сказки: в голубом с опушкой капоре, шитой золотом шубенке

враспашку. Совсем как девки у них в Ростовце, присела она в снег, потом встала, поправляясь, и тут увидела его. Глаза у нее тоже были темно-золотыми, и он все глядел ошалело, забыв про все.

Она дрогнула верхней губой, чуть зарделась, поведя плечом. А он почувствовал, как пламенеет у него лицо. Верно, подумала она, что подсматривал за ней здесь. Даже пот выпал у него на лбу под жестким ободом кивера.

Барышня вдруг высоко подняла голову и пошла, будто не видя его. Он рукой тронул себя: может, и нет его здесь. Лишь когда вскрикнула она с испугом, падая в снег, то бросился к ней...

Совсем легкой была она, вроде ничего и не было там, под шубейкой. Он не знал, что ему делать с ней. Придерживая одной рукой, стал вытирать ей лицо. Оно было вовсе белое, какого никогда он не видел. А она открыла глаза и теперь смотрела на него без досады или стыда: как будто девка уже, а так совсем девочка.

Золото таяло, и глаза у нее делались обычными: синими. Они были одни в лесу. Она вздохнула глубоко, и он ощутил идущую от нее теплоту. Тело ее сразу потяжелело...

И опять что-то произошло. Глаза у нее снова стали золотыми. Она приподняла подбородок, и почему-то понял он, что должен слушаться. Он бережливо поставил ее на снег, и она пошла к карете...

— Скакал за зайцем — нашел принцессу в лесу! — потешался Федор Шемарыкин, который все видел. Они кормили лошадей в фуражном магазине. Кареты на почтовой станции ждали встречи из города.

Он отмалчивался, когда Шемарыкин драл горло. Все же из одного уезда они: Ростовец как раз напротив стоит по реке, где шемарыкинские вотчины. Вместе они в гвардию поступили по послужному списку родителей. А Шемарыкин все насчет его стыдливости прохаживался, что краснеет, будто девица, и пух под носом растет. И еще по фамилии, что двойная она. Тот дед Александр Иванович Ростовцев, что мальчиком еще в потешном полку у царя Петра состоял, сделал прибавку к фамилии. Когда под Полтавой оторвало ему руку, он узаконил через церковный брак свои чувства с крепостной девицей из пожалованной де-

ревеньки, от которой имел к тому времени троих детей. А чтоб отличаться от других Ростовцевых, которых было шестеро братьев, стал именоваться по жене: Ростовцев-Марьин.

Оттого и дразнили его еще в учебе у дьячка: "подлянкин корень". Только боялись: знали, что у Ростовцевых-Марьиных кулак тяжелый. Лишь Федька, близкий человек, позволял себе такие насмешки.

Другие, кто видел, как доставал он из снега барышню, все допытывались, чего же делала она там, в лесу.

— Что тут думать, сами видели: заяц бежал! — хмуро сказал Горюнов, вахмистр.

— Ну и что? — отозвался Шемарыкин.

— А то, что заяц этот и есть та принцесса, которую провожаем.

Кто-то ахнул:

— Как же так?

— А так. Выбежала прогуляться и в зайца обратилась. Есть бабы, которым это просто. Я в те места еще с покойным государем ходил, под Штеттин. В лукоморье там колдуны живут. Сами немцы про то говорят...

Запела труба. От города ехала вереница карет, скакали еще гвардейцы.

— Долгоруков — князь! — определил вахмистр.

Прежние кареты оставили здесь. Кто ехал в них, пересадили в другие, украшенные вензелями. Он издали смотрел, как барышня в шубейке стояла перед генералом с белыми буклями. Тот снял шляпу, склонился до пояса, повел ее к главной карете. Когда показалась стена крепости, ударили пушки.

У въезда в город ждала толпа народа. Навстречу вышли еще генералы, городские чины, немецкий поп в черном сюртуке и православный в шитой золотом рясе.

— Невесту князю-наследнику везут! — сказали в толпе.

Их оставляли здесь, в Лифляндии. Оно известно: после года службы в гвардии дворянских детей определяют в линейные полки. Коренными гвардионцами

становятся те, кто службой угодил или руку родственную имеет. А ему быть поначалу прапорщиком, а коли бог даст, то подпоручиком в армии. С того и батюшка начинал, зато в отставку ушел майором. Такая служба им определена дворянская, чтобы не дома сидеть.

Звонили колокола. Принцесса, которую увидел в лесу, уезжала сегодня из города. То все враки, что про зайца, а вот что силу тайную она имеет, про то он твердо знал. Неспроста глаза у нее золотые, и приходится исполнять, что она хочет. В голове у него кружение, и все тянет к тому месту, где она находится...

Снова с утра стоял он у дома с чугунными шарами на воротах. Ветер от моря трепал ему волосы. По чисто подметенной от снега мостовой туда и сюда скакали кирасиры, сани со скрипом съезжали по наледи.

Окно ее было крайнее во втором этаже. Откуда знал про это, он и сам не понимал. Все делалось помимо него, чьей-то волей...

В конце улицы, за островерхими крышами, дымилось на морозе море. Слева темнел замок со шпильями и железными флагами на башнях. Там ожидал отъезда в свою немецкую вотчину отстраненный государыней малолетний царь Иван Антонович с отцом и матерью — бывшей правительницей. Люди смотрели в ту сторону, но не на замок, а в небо. Который день уже висела там розовая звезда, видимая и днем. Говорили, что у звезды хвост, и предвещает она несчастье...

Музыка, тихо игравшая до того в доме, сделалась вдруг громче, раскрылись сразу все парадные двери. Длинная, словно дом со стеклянными окнами, карета подъехала к середине лестницы. По ней сходила вниз та самая барышня, которую встретил он в лесу. Кто-то еще с ней шел, по краям стояли люди.

Барышня остановилась у кареты. Он сделал два шага вперед, встал на свободное место. Золотые глаза скользнули по окнам дома, по небу со звездой, пусто прошли по его лицу. И снова захотелось ему потрогать себя: может быть, только кажется ему, что стоит здесь, на площади. Непонятное происходило с ним.

А барышня уже села в карету. Затрубил рожок. Два кучера взлетели на передних лошадях, двое сели на крышу, здоровенные преображенцы встали на запят-

ки, десять лошадей с золотыми сбруями легко стронули, понесли карету вдоль улицы. Широкий задник с преображенцами заскользил по мерзлому граниту, едва не сшиб его с ног...

ВТОРАЯ ГЛАВА

I

Были то тьма, то яркий огонь. Карета мчалась, словно в поле, мягко ухая и взлетая в снежной пыли. Она жадно смотрела, поворачивала голову в одну и в другую сторону. Уже второй час ехали они по этому удивительному городу. Вдруг начинались пустыри, и ничего не было видно в синей тьме, кроме непонятных засыпанных снегом холмов с черными прогалинами. Потом опять начинались дома, большие и маленькие, с причудливыми пристройками наверху и высокими деревянными воротами. Дома то выходили прямо на дорогу, то прятались где-то далеко в стороне, и ничего нельзя было понять. Окна у домов были закрыты деревянными щитами с железными засовами, кое-где через них пробивался слабый свет. Внезапно улица расширялась, сиял огнями трехэтажный дворец, горела иллюминация. Потом снова наступала тьма...

С той встречи в лесу все началось. Неизвестно откуда появился там мальчик-гвардеец, но было в нем что-то необычное. Только потом она догадалась, что шло это от пряди волос, которая падала у него на одну сторону. Там, откуда она ехала, волосы расчесывали прямо посередине, и они равномерно ложились по обе стороны лица. Разве что у непослушного Штрубльпейтера волосы могли торчать как попало.

— Это российская территория, мадам! — сказал тогда господин Латорф.

С того самого мгновения все как бы увеличилось вдесятеро: леса, поля, селения. Пушки ударили навстречу из крепости, и она вдруг поняла, что это для нее: той, которую здесь ждали. Седой старик генерал согнулся в поклоне, ровно стояли городской магистрат, пастор в черном и бородатый священник с крес-

том, гвардейцы и кирасиры великого князя, ее будущего супруга. Она уже знала, что это обязательно будет. Карета, со сверкающими стеклами до потолка, была устлана черными с серебром лисами. Едва она облокотилась на подушки, как все сразу рванулось и помчалось вместе с ней: кареты, гвардейцы, кирасиры, камер-пажи. И скорости увеличились вдесятеро. Полки стояли в городах по обе стороны пути, горели огни в арках, пороховые змеи взлетали в небо.

— Принцесса Ангальт-Цербстская с княгиней-матерью... По именному приглашению!

Эхо несло впереди, отдаваясь в бескрайних, не имеющих начала равнинах, в непроходимых, заметных снегом лесах, в бесчисленных городах и селениях. Чьей-то колдовской силой возникали вдруг на этих равнинах сверкающие мрамором и бронзой дворцы, заледенелые фонтаны, черные узоры оград. Их становилось все больше, пока не слились в одно по обе стороны широкой, вровень с берегом реки. Чудный город стоял при ней темно-серебряным кольцом.

Пушки все били в низкое серое небо. Белые дымы, умножаясь, возникали над встающими из речного льда приземистыми стенами. Позванивали зеркальные окна дворцов, отрывали и падали свисающие с крыш льдинки, вздрагивали уходящие в небо шпили. Четырнадцать громадных слонов размеренно шли по насыпанному сверху снега красному песку. Подарок этой державе, присланный от далеких и зыбких ее пределов, показывался им как знак непреборимой мощи. Тяжелые цветные ковры покрывали горы мяса, прозрачно-желтые клыки грозяще выдвигались вперед, пахло мускусом и навозом...

По полному дню представлялись им сначала придворные военные и гражданские чины. Мать, составившая еще в Риге точный перечень сановников и фаворитов этого двора, всякий раз теперь справлялась с ним. Но ей это не требовалось. Она запоминала все имена с единого раза: Семен Кириллович Нарышкин — камергер двора, везший их из Риги, князь и генерал Василий Никитич Репнин, князь Юсупов, граф и гофмаршал Михаил Петрович Бестужев — брат вице-канцлера, Петр Грюнштейн — адъютант

лейб-компании, капитан гусар и граф Паленский, капитан и граф Корсаков... Сто двадцать три имени со всеми титулами пересчитала она в уме. И улыбнулась каждому, оставляя разговор матери.

Во второй день огромный, седой, в синей с золотом одежде до полу священнослужитель долго и плавно говорил что-то рокочущим голосом. Правой рукой он придерживал у груди тяжелый золотой крест. Им переводили про промысел господень и про помазанных божьих, от нового Рима наследующих эту державу. Она вдруг склонила голову. Старец заговорил о чем-то взволнованно. Большая белая рука подняла прямой, отличный от лютеранского крест и широко благословил ее. В толпе зашептались.

Потом в одиночестве подошел к ней пастор, бледный и печальный, в темном, застегнутом до горла скюртуке. Она тоже склонила голову, а он прошептал ей слова утешения.

Звучно и красиво говорил по-латыни римский священник. Кое-кто из присутствующих быстро и мелко крестился. Она вежливо кивнула головой...

Будто ждали своего часа, зашепили показаться им посольские министры от разных государей, не успевшие отбыть отсюда с императрицей в старую столицу. Всех оттеснил мсье де ла Шетарди, обаятельный и уверенный в себе. Играя красивыми глазами, он говорил с матерью и одновременно с ней. О, их справедливое дело восторжествовало. Это он, Шетарди, сделал возможным возвращение русского престола прямой дочери Петра Великого. Ведь бывшая брауншвейгская ветвь с малолетним царем Иоанном лишь побочное родство от ничем не примечательного брата великого царя. И шведов вести войну с Россией в пользу императрицы Елизаветы тоже подтолкнул он, так как все ему известно в этой стране. Что же касается французской принцессы, предложенной в супружескую партию наследнику престола, то тут был лишь маневр для отвлечения мыслей императрицы и ее двора от саксонской партии с принцессой Марианной. С самого начала он, представляя здесь французскую корону, стоял за ангальт-цербстский выбор, тем более что по голштинской линии этот дом в ближайшем родстве с русским наследником.

Однако прелестная княгиня и ее обворожительная дочь должны многого опасаться, и тут он готов служить им советами. Естественно, с ним заодно в поддержке ангальт-цербстской партии находится посланник прусского короля Фридриха господин Мардефельд. Здесь также придворный врач Лесток, который с пеленок лечил нынешнюю императрицу и ее сестру — голштинскую герцогиню Анну. Разумеется, граф Брюммер, обергофмаршал и воспитатель его высочества великого князя, а также прибывшие с ним дворяне не могут не желать торжества принцессы, столь близкой голштинскому дому. Все они на стороне сиятельного графа Михаила Воронцова, весьма близкого императрице. Благосклонны к ним также генерал Александр Румянцев и генерал-прокурор Трубецкой с семейством. Трубецкие — из Рюриковичей, основателей старорусской династии...

Однако всему доброму вокруг императрицы противостоит вице-канцлер Бестужев-Рюмин, открыто предпочитающий саксонскую партию. Несмотря на разоблачение аферы графа Ботты-Адорно, посланника австрийского двора, взявшегося судить поведение самой императрицы, вице-канцлер не изменил своей австрийской ориентации. "То, что дочь простого генерала будет российская великая княгиня, то ничего. Худо, что будет она дочь прусского генерала". Именно таким образом выразился этот обтесавшийся в Европе дикарь, узнав о приглашении княгини и принцессы Ангальт-Цербстских. Он типически русский желчный и упрямый политик, повадливый притом к деньгам. Есть слух, что звон английского золота не оставляет его равнодушным...

Мать слушала с разгоревшимся лицом, впитывая каждое слово.

— Но у великого короля Фридриха тоже есть золото, мой маркиз! — вскричала она, невольно оглянувшись по сторонам. Разговор происходил, когда они удалились в отдельную комнату. Были лишь маркиз и мать с нею.

— Я вам говорил уже о византийском коварстве этого человека, княгиня. Увы, он осторожен и берет тогда, когда направление мыслей его совпадает с теми, кто готов обеспечить ему пенсион.

Маркиз де ла Шетарди сокрушенно вздохнул.

Так же, без посторонних, принимали они посланника великого короля Фридриха. Барон Мардефельд, узколицый, быстрый в движениях, сразу заговорил, как знающий все об общем их деле. При новой императрице опять большую роль получило духовенство. Пользующийся почетом и влиянием один из князей здешней церкви архиепископ Новгородский Амвросий провозгласил в Синоде: поскольку дед Карла-Петра Ульриха (в православии — великого князя Петра Федоровича) и дед цербстской принцессы по материнской, голштинской, линии были родными братьями, следовательно, сами они состоят троюродными братом и сестрой. Что и противоречит православному христианскому канону на предмет их возможного венчания. Существуют, однако, способы преодоления подобных догматических препятствий. Понадобятся тысяча рублей с обещанием утроить эту сумму в случае успеха. Тот же архиепископ может сказать императрице, что, специально занявшись вопросом, перелистал он отцов церкви и ясно увидел, что брак этот не противоречит греческому исповеданию.

Хуже, если действия архиепископа имеют за собой вице-канцлера Бестужева. Он главная препона не только этому браку, но всему правильному направлению российской политики. Княгиня Ангальт-Цербстская родом голштинская принцесса, и одним этим она может повлиять на решение императрицы Елизаветы в отношении этого Амана¹, ненавидящего все прусское. Следует помнить, что не только Анна, любимая сестра императрицы, была замужем за голштинским герцогом. Сама Елизавета, в бытность цесаревной, помолвлена была с другим голштинским принцем. Этот принц приехал в Россию, между ними была любовь, но слепой рок, чьим орудием явилась черная немочь, в двадцатилетнем возрасте оборвал золотую нить его жизни. Говорят, юная Елизавета перед лицом бога дала клятву прекрасному принцу, что ни за кого другого не выйдет замуж. Этот принц приходился родным братом нынешней Ангальт-Цербстской княгине и дядей ее дочери, чем и объяс-

¹Библейский персонаж, визирь персидского царя — ненавистник иностранцев.

няется особое расположение к ним ея императорского величества, по сравнению с другими партиями для наследника престола. Тем более что сам наследник прямого голштинского рода. Используя это высочайшее благоволение, а также свой превосходный ум и обаяние, княгиня может сослужить службу целой Европе...

Мать согласно кивала головой, а она вдруг вспомнила отцовскую тетрадь в коленкоровом переплете "Pro Memoria": "Наипаче не вмешиваться ни в какие правительственные дела".

Шла русская карнавальная неделя — масленица. Ей понравилось это звучное слово. Женщины в раскрашенных платках вместе с детьми и мужчинами катились с гор на маленьких санях, на досках, на старых воротах, на чем попало. Где только была какая возвышенность, взбирались туда и с невообразимой скоростью мчались вниз, падали, хохоча на полный голос, снова лезли наверх. И все при том ели пряники.

Еще ей нравился мягкий покойный звук, который прибавляли здесь к отцовскому имени: о-вич. Он сглаживал грубое, матерьяльное. Уже на другой день стала она произносить его в своей речи. На нее смотрели с одобрением.

В легких каретах выезжали на невский лед. Отсюда весь сразу виделся этот город, вдруг выросший у начала моря. Чья-то могучая рука раздвинула леса и камни, отвердила болота, расчертила землю в ровные квадраты. Помнилось видение: синие солдаты в высоких сапогах, идущие на приступ. Здесь все было наяву. Волшебство не имело обратной силы.

В последний день им показывали путь, которым прошла дочь царя-созидателя, построившего этот город, чтобы освободить отцовский престол от узурпаторов. Мощные, в один этаж, каменные стены стояли квадратом. Сюда, к избранному войску Петра Великого, явилась цесаревна в трудный час...

Здесь распоряжался адъютант бывшей гренадерской роты Преображенского полка, ныне личной лейб-гвардии императрицы Петр Грюнштейн. Она удивилась его саксонскому диалекту. Как-то чересчур уж курчавились светло-рыжие волосы на мощно посаженной голове. Он был среди тех, кто ночью при-

шли к цесаревне и объявили, что гвардия уходит в поход на шведов, отчего дочь Петра полностью останется в руках желающих ее гибели неприятелей. Потому пусть сейчас решается, а завтра будет поздно. Цесаревна заплакала и долго молилась. Затем сама вышла к гренадерам с крестом в руке.

— Когда бог явит милость свою нам и всей России, то я не забуду верности вашей, — сказала она им и дала целовать крест. — А теперь ступайте, соберите роту во всякой готовности и тихости, а я сама тотчас за вами приеду!

Надев кирасу сверх платья, со своим врачом Лестоком, Михайлой Воронцовым да еще музыкантом Шварцем цесаревна явилась к гренадерам.

— Ребята! Вы знаете, чья я дочь, ступайте замной! — сказала она.

— Матушка! Мы готовы, мы их всех перебьем! — закричали те дружно.

— Если будете так делать, я с вами не пойду! — твердо отвечала Елизавета. Потом она взяла крест и встала на колени. За ней стали на колени гренадеры.

— Клянусь умереть за вас! Клянётесь ли умереть за меня? — спросила царевна.

— Клянемся! — прогремело в ответ.

— Так пойдемте же и будем только думать о том, чтобы сделать наше отечество счастливым!

Приказав разломать в полку барабаны, чтобы нельзя было простучать тревогу, Елизавета в простых санях, посреди строя гренадеров, поехала к Зимнему дворцу. Двигаясь Невским проспектом, они оставляли отряды арестовывать фаворитов беззаконной правительницы. Самые верные пришли с ней на конец проспекта и сказали цесаревне, что ко дворцу следует подходить без саней, чтобы не делать шума. Тогда Елизавета вышла в снег и пошла вместе с ними. Но хоть ростом она и в отца, однако же не поспевала за гвардейцами. "Матушка! Так не скоро дойдем, следует торопиться!" — говорили ей. Цесаревна ускорила шаг, но не могла их догнать.

Вот тогда адъютант Грюнштейн взял на руки дочь Петра Великого, и так они пришли во дворец. Она явилась прямо в караульную и сказала солдатам:

— Хотите ли мне служить, как отцу моему и вашему служили? Самим вам известно, каких я натер-

пелась нужд, и теперь терплю, и народ весь терпит от немцев!

— Матушка, давно мы этого дожидались, и что велишь, все сделаем! — отвечали солдаты. Лишь один офицер было задумался, так едва не покололи его штыками.

Елизавета прошла в царские покои, где почивала правительница.

— Сестрица, пора вставать! — сказала она.

— Как, это вы, сударыня! — вскричала та, испугавшись солдат, и стала просить милости для себя и всех близких. А цесаревна взяла на руки малолетнего императора Иоанна и поцеловала его, промолвив: "Бедное дитя! Не ты виноват, а твои дурные родители!" После чего посадила всех в сани и отвезла в свой дворец.

В то утро Елизавета провозгласила себя императрицей и полковником гвардии. А гренадерскую роту Преображенского полка за верность и службу объявила личной своей лейб-компанией, назначив себя ее капитаном. Отныне офицеры ее приравнены были к генералам, а унтер-офицеры — к обер-офицерскому чину. Тем, кто вошел с ней в Зимний дворец, было пожаловано имений по триста душ, адъютанту же Петру Грюнштейну — девятьсот душ...

Совсем одна вышла она к замерзшей реке. Город к утру стих, и все теперь ясно было видно. Безудержная сила не укладывалась в каменные квадраты, и, казалось, содрогаются они от ее избытка. Причудливые шпили неравномерно пронизывали туманное небо. Противоречие таилось в самой ровности домов и улиц. Ей угадывалась прядь волос, беспорядочно падающая со лба набок. На стене во дворце она видела набухшее, сведенное яростью лицо со щеткой усов и гневными выпуклыми глазами. Все в нем было неумолимое движение. Долго стояла она перед портретом царя, давшего святое имя построенному им городу. И имя это было Камень. Ей было необходимо что-то понять...

Но это был уже совсем другой город, стоящий прямо посредине лесов и равнин. Деревянные дома его с причудливыми пристройками, ставнями, воротами были их плотью и продолжением. Сани мчались с такой же скоростью, будто находились здесь все те же лес и равнина. Тьма и свет сменялись за окнами...

Движение было неудержимым, безостановочным. Покой и основательность остались в том лесу, где явился молодой гвардеец с падающей прядью волос. Там уже припрягли к карете десять лошадей по две в ряд и, казалось, неслись они вместе с ветром. Даже когда спали на станциях, движение продолжалось. Оно никак не замедлилось среди каменных квадратов построенной великим царем новой столицы, лишь завихрилось вокруг ее монументов и шпилей. Теперь запрягли в карету шестнадцать лошадей, и три дня они летели над белой землей с черными молниями проносящихся деревьев. Где-то возле Твери край саней зацепил попавшийся по дороге дом, отчего мать ударилась коленом. Бревна дома немедленно раскидали, и движение не замедлилось.

Еще двадцать или тридцать саней летели вместе с ними. Четыре фрейлины были приставлены только к ней. Две из них — мадемуазель Карр и княжна Репнина — учили ее делать на свой манер прическу: сверху гладко, а на ушах гнезда от цветов. Она долго думала, но не стала таким образом класть волосы...

— Москва!

Длинное "а-а-а" словно раскатилось по равнине. Сани встали, но полет продолжался. Здесь, в последней станции, их встретил молодой и предупредительный граф Сиверс. Он объявил, что императрица ждет их приезда именно вечером. Отдохнув, они уже в темноте поскакали дальше. И как-то незаметно начался этот не имеющий границ и точных очертаний город. Скакать по нему, казалось, можно было в любых направлениях.

Опять, в который раз, была тьма, но впереди сияло зарево. Она закрыла глаза. Золотые и пурпурные полосы четко обозначились на каретной стене. К ним можно было протянуть руку...

, Через что-то очень важное переступила она в самом начале. Там было окно, к которому подошла она

утром. Напротив, у ограды с чугунными шарами, стоял юный гвардеец без шапки, и ветер трепал у него волосы. Когда она садилась в карету, то увидела его в четырех шагах, как в лесу. Некое чувство поднялось у нее из глубины, прилило к сердцу. Она вновь ощутила сильные руки, поднимающие ее из снега. Выше, выше, к самому небу, в счастливую пустоту. И тут пурпурная с золотом лента через плечо у подавшего ей руку генерала перечеркнула все. Не изменив лица, посмотрела она мимо гвардейца, и он исчез так же чудесно, как явился ей...

Она открыла глаза. Сотни ярких огней горели, рядами отражаясь в сверкающем снегу. Карета подлетела птицей, остановилась посредине этих огней. Не чувствуя земли, прошла она в высокие двери. Там, посреди залы, стоял и улыбался ей долговязый мальчик из Эйтина. Это было невероятно: до какой степени не изменилось его лицо! Оно стало еще больше детским, чем тогда, в одиннадцать лет. Подбородок совсем сузился книзу, рот сделался шире. Младенческая припухлость под ним виделась яснее, а посредине лица вялым мячиком закрепился нос с двумя совершенно круглыми отверстиями. В глазах его читалась та же радость, как и в эйтинском доме, когда она разрешила ему играть с собой. Была еще в них некая знакомая выпуклость, но без всякого характера.

Это был ее будущий муж. С самого начала она это знала, а потому присела в уважительном поклоне, протянула ему ладонью вперед руку. Он дернулся, схватил ее худыми пальцами и не выпускал. Человек с живыми умными глазами на белом мясистом лице незаметным движением локтя отеснил великого князя.

От свечей было жарко. Граф Лесток, лейб-медик, сам подал ей руку. Великий князь подпрыгнул, взял руку матери, и они пошли. Теперь она чувствовала под ногами твердый пол.

Поочередно распахивались двери, пламя в свечах склонялось в одну сторону, золотое с красным сияние струилось от стен и потолка. Она шла, не поворачивая головы. Потом все закончилось, впереди была светлая пустота. Посредине стояла обычная женщина и с жадным интересом смотрела на нее...

Уже потом она увидела огромные фижмы, золото на темном бархате, сверкание бриллиантов в каштановых волосах. Даже черное перо вверху лишь прилагалось к форме. Безмерность красоты была сама по себе в стройной дородности, овальности плеч, мощной нежности высокой шеи. И темно-голубые навывкате глаза на широковатом лице не выделялись никакой особенностью. Только все взятое вместе говорило о природной завершенности.

Глаза императрицы неприкрыто скользили сначала по их фижмам, прическам, талиям. И вместе с тем по лицам. Но вдруг, как бы наткнувшись на что-то, остановились на матери. Полные губы дрогнули, круглые белые руки поднялись к груди, будто желая удержать стон. По щеке скатилась слеза. Императрица повернулась и ушла к себе. Граф Лесток успокоительно кивнул им головой...

Императрица возвратилась. Черное перо плавно покачивалось в вышине, бриллианты слепили глаза, золотое и серебряное шитье струилось по темному бархату. Мать, как было оговорено, склонилась, поцеловала у нее руку, сказала с чувством:

— Повергаю к стопам вашего величества чувство глубочайшей признательности за благодеяния, оказанные моему дому!

Императрица, не сводившая с нее глаз, всхлипнула, кивнула головой:

— Я сделала совсем немного в сравнении с тем, что бы хотела сделать *для моей семьи!*

II

Не просто так он до последнего сидел в столице, когда весь двор уже и большее число иностранных посланников переместились в Москву. Всякий день с утра приходил к нему сутулый немец-академик с исчерченным морщинами лицом. Не отдавши поклона, глядел с высокомерием, пока он, вице-канцлер, представлял ему стул. Слуг сюда не пускали. Сдернувши парик, немец хватался рукой за плешивую, с черным волосом возле ушей голову, а другой рукой быстро рисовал арабскую цифирь на бумаге. При этом бормотал что-то, вскрикивал. Сделавши дело, отодвигал

от себя бумагу и будто коченел, думая о своем. Если приходилось спрашивать его, немец отвечал коротко и точно.

Дюжина прошитых сбоку конвертов с молниями обычно лежала на столе. Помимо посольской почты приносили по выбору так же и приватные письма. Службу генерал-почтдиректора нес он в приложении к вице-канцлерской, что само по себе разумело известные действия к пользе государственной. Раньше помогал ему в этом деле верный во всех случаях службы фон Бревен — свой, русский немец, тайный советник и член иностранной коллегии. Бывши президентом академии, и призвал тот к чтению потаенных посольских реляций этого ученого немца. Полмесяца тому лишь схоронили Бревена, и теперь пришлось ему одному разбирать шифры с господином Гольцбахом. От науки тут происходила видимая польза. Так или иначе, а в Москву он привез интересные тайности для показа государыне...

Вице-канцлер Бестужев-Рюмин задул свечи, горевшие, несмотря на день, самолично запер дверь ключом, бывшим у него одного. Так всегда он делал, будучи в Петербурге или тут, в Москве. Даже недельная уборка производилась здесь только при нем.

При комнате снаружи стоял на часах гвардейский солдат. Вице-канцлер со вниманием заглянул ему в лицо, постоял в раздумье у выхода. Не слишком важно размещена тут Иностранная коллегия, да бог с этим. Хуже, что дворец полных четыре версты по кругу, и до государыни очень уж далеко добираться. Комнатами да коридорами идти — голова закружится. Половина комнат нетоплены — насморк схватить недолго. Проще ехать улицей...

Он вышел на крыльцо, сел в сани, бережно придерживая потертую кожаную сумку с бумагами. Чиновник для поручений примостился сбоку, и они тронулись в путь. Объезжая сугробы да ямины на дороге, все ехали вдоль окон дворца. Итальянские колонны и стеклянные теремки выдвигались от него к проезжей части, а то и просто это были бесчисленные конюшни да сараи, что достраивались здесь от пожара к пожару. Наконец доехали до большого крыльца с алебастровыми львами, встали в стороне.

Придя в гостиную залу, он велел сказать о себе

государыне. У той еще находился парикмахер, так что пришлось ждать. Потом вышли от нее великий князь с цербстской принцессой. Он поклонился нижайше, внимательно посмотрел в белое лицо маленькой принцессы, которая не отошла еще после болезни. Она улыбнулась ему доброжелательно, и он поклонился еще раз.

У принцессы были вовсе взрослые глаза. Все тут с умильностью говорили друг другу, как в смертной горячке полмесяца назад, когда предложили ей звать лютеранского пастора, она слабо махнула рукой: "О нет, не надо. Лучше позовите отца архимандрита Симона Тодорского, что учит меня русскому закону. От его бесед мне обязательно сделается лучше!" Что это, вправду или игра политическая? Для четырнадцати лет слишком уж глубокомысленный ход. Может быть, княгиня-маменька подучила? Да нет, той хоть уже много за тридцать, да великого ума в ней не заметно: сама лезет во всякий силок. Неужто впрямь столь добрые чувства внушены девице к вере греческой?

Вице-канцлер так и не дрогнул лицом. Делать приятности он не умел, лишь проводил принцессу задумчивым взглядом. Шла она живым быстрым шагом. Великий князь подпрыгивал рядом, стараясь угодить с ней в такт. "Кильский ребенок" — так звали его здесь остроумцы.

Все так же бережно придерживая сумку, прошел он к императрице, склонился у двери положенным порядком. Она дала поцеловать руку, повела недовольно полными белыми плечами. В голубых с поволокой глазах стоял каприз. Да только не действуют на него подобные пассажи, государственные бумаги ей надлежит читать в должный час, утвержденный еще великим родителем.

И раньше то же было. Уж сколько шпыняния ей пришлось претерпеть от блаженна памяти Анны Иоанновны все за то, что Бирон на нее засматривался. Да и от правительницы Анны Леопольдовны уже прямо приготовили ей схиму, пока взялась за ум да и произвела революцию. Того женщины не терпят, когда мимо их кавалеры на кого-то смотрят. А уж у этой рожденной от любви дочери Петра одних женихов была дюжина. Только французских трое, считая

короля, а там кровные принцы: саксонский, португальский, даже персидский от шаха Надира. Тот, так по магометанскому уставу, даже слонов сюда в задаток прислал. И свои, русские, сватались — от сына светлейшего Меншикова и от Долгорукого до малого государя Петра Второго, не отводившего глаз от тетки. Ей же по неосмысленной бабьей верности люб оказался голштинский принц, что приехал да и умер тут от холеры. Что не состоялось и кажется женщине самым желанным. Рассказывают, что как увидела в первый раз государыня цербтскую княгиню-мать, как та с умершим братом удивительно схожа, то речи даже лишилась. Залилась слезами и ушла к себе, чтобы возвратиться в чувство. От того и выбор свой для наследника такой сделала. Только государственное дело обязано совершаться независимо от всякого чувства...

Государыня опять повела плечом, бросила взгляд в стенное зеркало. Ну да, ей бы хоть сейчас в танцы: вон какая вся дородная да прельстительная. От родителя у нее стать, а от ливонской безродной матери особая томливая нежность, так что всякому мужчине и в дураки не долго записаться. Вот лишь радивостью в отца не получилась, все бы ей от дела убежать. Кое-что про это в посольских депешах сказано, так что пусть почитает.

А пока что она придвинулась к столу, изволила принять бумаги. Ему показала место на стуле, откуда способно указывать ей, где читать. Ко всякой бумаге, переведенной с цифири, на полях имелись его разъяснения.

Сверху всего находилась письменная депеша трех лет давности, когда была Петрова дочь еще цесаревной, проживающей у двора. И направлялось сие донесение от маркиза Шетарди к своему министерству. Императрица недоуменно подняла бровь:

— Зачем столь давнее?

— Тут ключ, какую корысть желали бы приобрести неприятели России от того, что совершилось по воле бога и к славе Вашего императорского Величества! — объяснил он.

Она читала французский курсив, шевеля по привычке губами, а он наблюдал текст... "Если принцессе Елизавете будет проложена дорога к трону, то можно

быть нравственно убежденным, что претерпенное ею прежде, так же как и любовь ея к своему народу, побудит ее к удалению иноземцев. Уступая склонности своей, а также и народа, она немедленно переедет в Москву. Морские силы будут пренебрежены, и Россию увидят постепенно обращающуюся к старине, которую Долгорукие во времена Петра II и позже Волынский желали восстановить и которая существовала до Петра Великого. Елизавета должна будет относительно Швеции не только возвратить Ливонию, Эстонию, Ингрию и Карелию, но даже покинуть Петербург...”

Он услышал, как вздохнула государыня, будто пробудилась от сна. Прекрасная белая рука взялась за другой лист... ”Если Елизавета будет на троне, то старинные принципы, любезные России, одержат, вероятно, верх. Нам в Европе было бы желательно не обмануться в этом. В царствование Елизаветы, при ея летах, старина настолько успеет укорениться, что голштинский принц, ея племянник, всосет ее и привыкнет к ней в такой степени, что когда наследует корону, то будет в совершенном неведении о других началах”.

Руки ее теперь быстро отбрасывали листы, ломая бумагу. То была привычка царя Петра. И пальцы у нее были крупные, лишь жемчужная матовость кожи примешалась от матери. В ряд теперь шло подшитое донесение из Парижа. Французский министр Амелот писал в Вену: ”Свершившийся в России переворот знаменует последний предел величия России. Так как новая императрица намерена не назначать иностранцев на высшие должности, то Россия, представленная самой себе, неминуемо обратится в свое прежнее ничтожество. И прусский Фридрих вторил тому: ”Льщусь надеждой, что с переездом в Москву для коронации русский двор потеряет из виду Петербург и Европу”.

Государыня вопрошающе подняла на него глаза. Ленивая поволока совсем ушла из них, некая знакомая пылкость засветилась в глубине.

— Коли иностранные радители торжествуют от того, что все иноземное из России гнать собираются, то как рассудить такое? — спросил он.

Уже и наблюдать ему за чтением государыни не

было надобности. Самого Шетарди рассказывались тайные мысли, и писано было прямо рукой маркиза. Будто он, вице-канцлер, всенародно радовался, что молодая принцесса Цербстская находилась при смерти. Даже если бы и так, что уж при маркизе он бы не выдавал.

А вот Брюммер из шетардиевой шайки так и не прятал заботы на своей толстой роже: думая, что конец пришел ангалт-цербстской партии, уже и другую, принцессу Дармштадтскую для великого князя припас. И прусский король Фридрих то поспешно одобрил.

Однако же принцесса выздоровела, так еще с большей остервенелостью на него, вице-канцлера, кинулись. Француз тут откровенно пишет, что полагается на помощь матери-княгини Цербстской, которой-де легко будет уломать императрицу прогнать Бестужева.

— Верно тут все? — громко спросила государыня.

Он пожал плечами: уж она-то знала шетардиеву руку. От него, вице-канцлера, там лишь разъяснения... "Бестужев и его партия показывают такую же ярость и против берлинского двора, какую против Франции". Тут же его ответ: "Правда, что вице-канцлер не больше верит прусскому, яко французскому двору, да оный же и опаснее французского по близости соседства и великой умножаемой силе. Однако вице-канцлер ни против одного, ни против другого, но только во всем присяжную свою должность исполнял".

Опять в посольской депеше: "В согласии с известными друзьями предлагаю для допроса порочившего Россию лифляндского дворянина назначить близкого нашей партии генерал-прокурора Трубецкого". Им к тому замечено: "Иностраный министр, прибирая себе партии, во все внутренние дела мешается, но уже и до того приводит, что и по делам Тайной канцелярии вмешиваться имеет способ. Предается Ея императорскому Величеству во всевысочайшее рассуждение, что наконец из того воспоследовать может?"

Дальше уж прямо шло французское хвастовство... "Я собственноручно написал проект ответа, который послан был генералу Кейту в Швецию по тамошним делам". Им же рядом записано для государыни: "Что

иностранный министр российско-императорскому генералу ответ сам продиктовал и сочинял, то весьма непонятно...”

Государыня даже губку в досаде закусила. То ведь она сама советуется во всем с французом Шетарди. Ему и поручила проект для письма генералу Кейту в Финляндию составить, минуя Иностранную коллегию. Следует дать знать дочери Петра, каково ответственно ее место в мире. Потому и написал он еще крупно на полях:

”Неслыханное в свете дело, чтоб в государевом совете по проекту иностранного министра оканчивалось, и все, что в оном прибавлено или происходило, ему точно известно. Генерал Кейт в сумнении будет, по каким указам ему исполнять: по отправленным ли из коллегии Иностранных дел или, как Шетардиеву составлению, о сентиментах Ея императорского Величества ему знать дается”.

Государыня неласково посмотрела на него, в голубых глазах темный петров огонь зажегся. Он же не дрогнул лицом: все к ее же пользе делается. А ему что бояться: уж и к смерти один раз от Анны Леопольдовны приговорен был, да опять вот назад позвали.

И про него самого пусть читает у маркиза государыня... ”Елисавета будет поступать вопреки собственным интересам, если не расстанется со своим вице-канцлером, который признает спасение России только в союзе с морскими державами, королевою венгерскою, королем Августом и их приверженцами, и без всякого зазрения объявил себя против Франции, короля Прусского и против всего того, что держится французского и берлинского двора”. Он же приписал коротко: ”Древняя российская и тем паче государя Петра Великого система!”

Самый опасный из шайки сей маркиз. Еще в прошлое пребывание в России первым собеседником у цесаревны состоял. А то великая сила, когда имеющая власть женщина от любезного и обходительного мужчины многие часы подряд приятности слушает. Вот к тому и пригодится последняя маркизова депеша. Обидно то для государыни, да что поделаешь. Для нее сразу двойная будет прибыль: правда, какую про себя узнает, да заодно Шетардиевым любезностям цену определит.

Так и есть: руки дрогнули и опять к началу листа вернулась государыня... ”Всему тому причиной слабость Елисаветы, ее русская лень, отвращение к делам. Любые мнения принимает, лишь бы не дать себе труд подумать. А доброта ее такова, что всякому обмануть ее способно. На уме у нее только любовь, балы да удовольствия. От того и войны вести не хочет эта царица, чтобы больше денег на наряды оставалось. По пять раз в день туалеты переменяет, а также и поклонников. В любви, как и в прочем, не строга, а в министрах вокруг, и прежде всего в вице-канцлере, находит потворство своей византийской распущенности...”

Теперь уже и слезы закапали у государыни, с обидой повернула к нему лицо. Вице-канцлер взял платочек из ее рук, осторожно утер ей щеки от слез.

III

Подпоручик Александр Ростовцев-Марьин стоял в порванном исподнем по плечи в воде, скрытый от берега прошлолетним талом, и как мог упирался босыми ногами в скользкую глину, чтобы не вынесло к свободной реке. Рядом возвышался архиерей Димитрий. Тот был в намокшей рясе на голое тело. Со вздернутой к нему бородой, он держался рукой за пригнутый от обрыва куст, а другую руку сжал в кулак, грозя невидимым отсюда врагам. Сверху слышался многоголосый вой, крики, стук деревянных колотушек. Временами шум приближался. Иерей тогда начинал в голос поносить возвратившихся к идолству, коим пребывать в огне беспредельном. Дубовые да сосновые истуканы будут служить дровами для топления жира из их смрадной плоти.

— Отец, потише! — просил подпоручик, но иерей не внял ничему. Хорошо, что обрыв тут у берега был велик, так наверху слышно ничего не было.

С Федькой Шемарькиным расстались они на ливонском берегу. Тот отплывал к шведам, где стояли с генералом Кейтом два русских полка на случай диверсии от датского короля. Только что воевали со

шведами, вдруг замирение такое и дружба, что даже русское войско им в гарантию выделено. Шемарыкина, которому тоже был определен армейский подпоручий чин, командировали туда в офицерское пополнение Ростовскому полку. Заодно с таким пополнением на корабле везли и золото для раздачи жалованья.

Он помахал Федьке рукой и ждал, покуда корабельные паруса не стали одинаковы с туманом. Потом ожидал еще неделю и с подорожною командой отъехал в Россию. Чуть не до весны добирался до места службы, а как приехал, то сразу отрядили его в дело. С сорока солдатами все ловил по верхней Волге беглых, что разбивали торговых людей на дорогах. Потом провожал барки с солью, соблюдая, чтобы приказчики да конвойные не торговали по пути в свою пользу. А когда по весне провел такой караван, то послан был сюда с солдатами помогать нижегородскому архиерею мордву укрощать. Так вот и оказался в реке без одежды да и вместе с архиереем...

— Не в деревьяшках сих суть, — поучал его владыка накануне, когда ехали к месту. — Ходили люди без смысла и значения по земле вот как псы дикие али ящеры какие. Лишь в убийстве да насильстве получали радость и удовлетворение. Жертвы кровавые Ваалу из себя приносили, ибо идол тот был подобный тем людям. Возможно ли людьми их было считать по делам их? Но избрал бог праотца нашего Авраама и взял из рук его занесенный над сыном нож. "Я не слышу — руки ваши полны крови!" — сказал господь отступившимся. Заповеди людям дал такие, что ни прибавить к ним и ни убавить до конца времен, сколько бы ни напрягались для того изощреннейшие умы человечества. А что прекраснее может быть сотворено в мире, когда господь сына своего... сына единственного, любимого на крестные муки и поруганные за всех людей послал!

Владыка всхлипнул вовсе по-мирскому, откинул большущей рукой полость крытого кожей возка, стал смотреть вбок, чтобы не увидели явившихся на глаза слез. Бор да чаща с прогалинами все стояли вокруг, будто и не двигались вовсе они. Возок качало на петливой лесной дороге. Никем не пуганная белка сидела у корня сосны...

В храме, составленном из недавно срубленных деревьев, народ стоял плотной массой. Село было большое — все чаще мордва. Только и русских с ближайших деревень не отличить было от нее: одинаковые зипуны да домотканые порты у всех. И лица одинаковые: широкие лбы, скулы да носы будто вырублены из того же дерева, глаза, как лесное небо. Лишь бабы у коренной мордвы были больше в раскрашенных полущубках, да вышивка на рубашках та же самая, да поярче.

Архиерей и тут громил идолствующих, с чувствительным проникновением рассказывал о страстях христовых, вставляя при том в речь мордовские слова. Бабы всхлипывали, а потом заревели в голос. С ними плакал и владыка. Подпоручик Александр Ростовцев-Марьин сам не заметил, как стало мокрым у него лицо. Мужики мордовские истово крестились, воздевали руки к сыну божьему и ангелам на передней стене.

А владыка, неослабно громыхая голосом, вдруг пошел к выходу из храма. На улице уже подхватил в руку колун и двинулся за околицу, где среди деревьев подступившего к селу леса стоял погост. Там и тут, все ближе к околице, вкопаны были в землю кресты. Но среди них — рядом или напротив — у той же могилы торчали долбленные из дерева лики: то ли люди, то ли фавны лесные. Дальше в лесу уже совсем не виделось крестов — одни почерневшие от времени деревянные идолы. Они долбились из тех же деревьев, что росли рядом, и оттого будто срослись с лежавшими тут покойниками. Сверху на могилах стояли поминальные миски и чаши из дерева.

Толпа, валом идущая за владыкою, вдруг остановилась перед погостом у некой невидимой черты. Настала тишина, и слышно было только, как глухо шумят верхушки дерев. Но архиерей шел дальше, воздев левую руку с пальцем к небу, а в правой неся колун. Местный священник отец Никифор что-то говорил ему, забегая со стороны, но тот не слушал.

Рука с колуном взметнулась вверх, и тихий стон прошел по толпе. Опять раздался удар, и снова стон, будто людей били по живому телу. Владыка продол-

жал крушить идолов, сбрасывая их с могил, очищая кресты. Поначалу удары были сухие, громкие, дерево было свежее. Но когда углубился он в чащу леса, они сделались глуше, жальче, темное дерево разлеталось прахом...

Подпоручик не понял сначала, что же произошло. Кто-то из солдат закричал, и он обернулся. Толпа стала вроде бы темней, ближе. Медленно двигалась она, как одно общее тело. В руках у трех-четырех увидел он жерди и рвущимся голосом скомандовал солдатам собраться в шеренгу. Те разбежались беглым шагом, встали у самых крестов, но толпа все двигалась, приливая, обтекая солдат. Он в отчаянности оглянулся. Иерей продолжал в ярости сечь намогильных идолов, крича хулительные слова. Следовало командовать заряжать ружья, но не мог он того выговорить...

Солдаты в единый миг утонули среди толпы. Его подхватили и понесли по крестам, могилам, по поверженным, изрубленным идолам. Потом уже в чаще столкнуло его с отцом Никифором. Тот тащил под мышки оглушенного архиерея. Владыка был уже без колуна, из уха на бороду капала кровь.

Потом они с владыкой спали при поповской бане. Но опять начался переполох. Дрожащий священник шептал в ночи, что часть новокрещенной мордвы срывают с себя кресты, бросают на улицу иконы. Со всем близко послышались голоса, их искали с факелами. Не успев облачиться, побежали они по лесу с отцом Никифором, затаились у реки. Однако и туда явилась мордва, громко кричали и по-русски.

— Что же это: природные православные среди них? — грозно спросил архиерей у священника.

— Так оно, так, владыка! — отвечал он сокрушенно.

Пришлось спасаться в реке, под обрывом. Там и просидели весь день, заходя всякий раз в воду, когда являлась опасность...

Только через неделю выручила их команда, посланная из губернии. Премьер-майор Юнгер, из ревельских дворян, расстановил роту как требовалось по

уставу в виду опасного неприятеля. До тысячи мордвы с окоренелыми русскими, из нее же происходящими, встали у околицы, не допуская солдат к селу. Стояли с пиками и дубьем, да еще с медвежьими луками. Объявились и двое с мушкетным прибором. Чтобы объявить о себе, пальнули с громом в сторону команды. Вот тогда и расставлены были солдаты в боевую диспозицию.

Все совершалось согласно уставу. Первая шеренга палила по знаку офицера, пока другая изготавливалась к бою, а третья заряжала ружья. Было произведено четыре таких перемены. Мужики бежали в одну сторону, потом в другую, падали, содрогаясь на землю. Пули до белизны сдирали кору с деревьев. Были бабы по избам, плакали дети...

Поручик Ростовцев-Марьин смотрел, не отрываясь. Солдаты стреляли, выпуча глаза — они у них были цвета все того же неба. Широкие лбы и носы были такие же. Солнышко светило в вышине, пахло хвоей и прелью...

Мордва повинилась, пала миром на колени. Дали собрать битых да покалеченных. Владыка самолично отпевал покойных яко возвратившихся в веру христову. С огнем в глазах говорил он о спасении через муки сына божьего, и снова плакали бабы, истово крестились мужики. Допущенные к молитве солдаты клали размашистые поклоны. Поручику вспомнилось: "Я не слышу — руки ваши полны крови!.."

Ему от начальства поставлены были в вину мягкотелость и потворство отступникам за то, что не дал решительной команды солдатам. Прибывший с ротой Юнгера капитан Ляпин уже и приказ привез об его аресте.

Еще неделю шло дознание о зачинщиках. Мужиков пороли во дворе приказной избы подступающими из лесу столетними дубами. Премьер-майор Юнгер, в летах уже, с худощавым костистым лицом, всякий раз устремлял светлые глаза куда-то в подбородок мужику и, не слушая толмача из писарей, делал пальцами знак, кого и сколько наказывать.

— Одного с ними корня, так что понимает! — то ли с завистью, то ли с осуждением заметил Ляпин.

— Как это? — не понял Ростовцев-Марьин.

— А то, что с ревельского берега он выходец. Чух-

на, как и мордва, одного финского племени. Не все из их разговору, а главное Юнгер понимает. Тут же и вовсе не разберешь: где мордва, а где самая русь...

В том же храме при большой службе владыка провозгласил многую лету богопомазанной государыне и императрице Елизавете Петровне, великому князю Петру Федоровичу и восприявшей благу веру Екатерине Алексеевне, великой княжне.

— Это какая Екатерина? — спросил он у капитана Ляпина.

— Принцесса цербстская, государынина родня, — ответил тот.

Подпоручик Александр Ростовцев-Марьин лишь рот открыл. То была девочка с золотыми глазами, которую увидел он как-то в лесу...

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

Большая рука поднялась, осеняя ее. Когда крест остановился на уровне глаз, она твердо и ясно заговорила:

— ...Верую во единого Бога-Отца, вседержателя, творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единого господа Иисуса Христа, сына божия, единароднаго, иже от отца рожденнаго прежде всех век: света от света, бога истинна от бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна...

Свет дневной, вливаясь в широкие парадные ворота и падая из полукруглых окон под куполом храма, смешивался с горячим жаром тысяч свечей по стенам, притворам, углам и закоулкам среди колонн. Тысячекратно отражаясь в золотистых ризах, окладах, иконах, потолке, свет густел, делался осязаемым, будто тек из невидимых рук, и тяжелое золотое сияние наполняло воздух. Все исполнялось, как было предопределено некой назначенной ей звездой...

Десятикратно ускоренное движение продолжалось с неослабеваемой ровностью. Все, что мешало, отлетало в сторону, как дом у дороги, разваленный санями. С морозной свежестью неведомых пальмовых листьев на стеклах возник широкоплечий, с просто-

ватым лицом человек. Ряса его была без украшений и короче, чем у других здешних богослужителей. Она заметила еще скрашенную ваксой потертость сапог. А человек обыкновенно поклонился матери, с ласковым интересом посмотрел на нее.

— Я есть архимандрит Ипатьевской обители Симон Тодорский, — сказал он по-немецки и, метнув взгляд в сторону взявшей высокомерный вид матери, пояснил. — Прислан к вашей светлости императрицею для ознакомления Вас и дочери Вашей с русской христианской обрядностью.

Когда осталась она одна с законоучителем, тот присел на табурет и спросил, все ли она исполняла из христианской службы в доме родителей. Она сдержанно ответила, что исполняла. Он вдруг улыбнулся ей вовсе по-домашнему и сказал, что очень хорошо знал пастора Моклера, приходившего к ее отцу. При этом коротко рассказал, что до принятия сана четыре года упражнялся в богословии при университете Галле, так что многих евангелических учителей закона знает. А пастор Моклер — высокий, искренней души человек. Он твердо опустил ладонью на стол большую руку:

— То все в повадках да обычаях разница, а бога люди в душе имеют одного и того же!

В тот же день пришел Ададунов, склонился ниже, спросил, с какого языка легче ей будет узнавать язык русский. Она сказала, что с французского, и тот с готовностью покивал головой. Мягкие пухлые щеки его покрывались краской, как у девицы Шенк. Оба они — отец Симон Тодорский и Ададунов — вместе с академиком Штеллином были учителями и для эйтинского мальчишка — великого князя и ее будущего супруга. "Кильский ребенок" — так называли его здесь. От кого это услыхала, она и сама не смогла бы сказать. Ей явственно было слышно все даже в дальнем шепоте...

Отец Симон Тодорский ходил широкими шагами из угла в угол, рассуждая как бы сам с собой:

— Что есть вера? Степень совершенства человека. Пока груб он и примитивен, то верит без смысла во всякого идола или ловкого обманщика, от которого ожидает помощи в охоте или беде. Других и нет у него потребностей. А когда душой возвысился человек, то

является у него совесть, сострадание к ближнему и прочие чувства, что уже прямо от бога... Тут и возникает вера. Но и слаб человек: даже возвысившись, не может перешагнуть через себя, свою греховную сущность!

Забывшись, он клал ей руку на голову, как маленькой девочке, и она вдруг замирала. Неизъяснимое, сладкое чувство малости, своей незащищенности в мире приходило к ней. Там, где росла она, никогда не клали руку на голову, даже когда было ей три года.

Ни разу не сказано было ей о перемене веры. Она все сама знала и по сто раз в день повторяла русские слова, что звучно наговаривал ей Ададуров. Писала она их сразу русскими буквами, а не произносительными французскими. Ночью вставала, приближала тетрадь к ночнику и твердила их, прислушиваясь к своему голосу: "Петр-ович... светелка... печаль..."

Перед сном она подолгу думала о каждом прошедшем дне. Императрица сразу же явила пылкость, но за чувствами было нечто темное, неугадываемое. В глубине наполненных слезами глаз виделась вдруг угроза. В нестерпимом блеске бриллиантов являлась она им, пахло царскими духами, и больше никто здесь не смел пользоваться ими. Красавец в черных кудрях нес алую подушку еще с двумя звездами. Императрица сама прикрепил их к ее платью и платью матери. А потом за случайно открывшейся дверью она видела императрицу, с суетным женским любопытством наблюдающую за ней и великим князем: как обходятся между собой...

Эйтинский мальчик, ее будущий супруг, в радостном возбуждении хватал ее за руки, слова у него обгоняли друг друга:

— Это великолепно, что мы с вами брат и сестра. Мне будет теперь кому открываться душой... Знаете, я влюблен. В ту вон маленькую мадемуазель Лопухину, что стоит у окна. Хотел жениться на ней, да тетка бы не позволила, так что женюсь на вас. А правда, она красивая? Вам нравится?

Она посмотрела на толстенькую, с пышно зачесанным волосом девицу, поощрительно улыбнулась ему. А он уже самозабвенно говорил, что заказал у

некоего мастера особых железных солдат, которые будут в обычный человеческий рост, и что есть у него собака, которая больше лошади. Он прибегал всякий раз, схватывая ее влажными руками, и она приспособила его помогать в заучивании русских слов. Ему это быстро надоедало, и он убегал куда-нибудь опять. Ее все удивляло, как он сделался мал ростом. Тогда, в Эйтине он был много длиннее ее...

Выл ветер во дворе, наметая горы снега под окна. К утру печи во дворце остывали. Стоя у ночника с тетрадью русских слов в руке, она кутала ноги здешним прошитым нитками одеялом и никак не могла согреться. Утром, когда шла к завтраку, упала...

Острая боль была все в том же боку. Она слушала, как от собственной дрожи позванивают золоченые шары на спинке кровати, и боялась, что снова опустается у нее плечо. Все ей казалось, что находилась она где-то отдельно от своего тела, но при том все слышала.

— В этой стране умер мой несчастный брат, и я не позволю пускать ей кровь!

Это говорила мать, а доктор-португалец, путая французские слова, разуверял ее:

— О нет, нет, мадам. Там плохая, дурная кровь. Это, скорее всего, не оспа...

Потом спрашивали, не пригласить ли патера из здешнего немецкого городка. Она лежала горячая безразличная ко всему. Люди стояли у кровати и еще дальше, у двери. И тогда, собрав силы, она сказала:

— Позовите отца Симона Тодорского...

Люди задвигались, зашептались, передавая дальше, в коридор, ее слова. "Святой дух снизошел!" — громко сказал кто-то. Старик в шитом мундире утирал слезы. Знакомая большая рука легла ей на голову, и она заплакала. Мать так и не касалась ее за время болезни...

Когда лежала, отделившись от тела, она вдруг услышала:

— Принцесса Дармштадтская!..

Откуда явилось ей пронзительное знание того, что выражали эти слова? Она читала их в каждом взгляде, угадывала в шепоте. Другая ждала за пурпурной завесой. Звезда ее падала во тьму, и лишь тусклое свечение обозначало ее след в этом мире...

— Голубушка...

Она не видела никого, только слышала жаркий шепот. Горячие слезы падали ей на лицо. Она удивилась: ведь императрица далеко отсюда, в Троицком.

— Возможна оспа, ваше величество! — внятно произнес чей-то голос.

Императрица склонилась к ней, теплые губы касались ее сухих губ, пылающих щек, лба:

— Деточка!..

Она все видела. Нос и глаза у ея величества покраснели от слез. Мать стояла в коридоре за стеклянной дверью и смотрела оттуда, вытянув шею.

— Буду молиться за тебя! — твердо сказала ей императрица, и она впервые поняла все, сказанное по-русски.

Ей пускали кровь, и становилось легче. Она лежала, не двигаясь, и все думала, что она спит. Графиня Румянцева, приставленная к ней, тихим голосом говорила кому-то:

— ... бедное дитя!.. Вы заметили, что мать боялась заразиться от умирающей дочери? Зато нашла время отстаивать пользу своего прусского амфитриона...

Лежа так, с закрытыми глазами, она многое узнала в эти дни. Принцессу Дармштадтскую готовили в жены наследнику на случай ее смерти. И делали это маркиз Шетарди и посол Мардефельд, которые представлялись им в Петербурге. Толстый швед Брюмер — воспитатель и обергофмаршал великого князя — действовал согласно с ними. А великий король Фридрих их одобрил. С своей стороны вице-канцлер Бестужев-Рюмин упрямо стоял на саксонской партии. Только императрица хотела ее выздоровления...

...Отцу, им же вся быша. Нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшего с небес и воплотившегося от духа света и Марии девы и вочеловечашася. Распятого же за ны при Понтийстем пилате, и страдавши и погребенна, и воскресшаго в третий день по писанием. И возшедшаго на небеса и седяща одесную отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым. Его же царствию не будет конца...

Ровное золотое сияние стояло в храме. Не сводя глаз с креста, она громко, четко выговаривала слова. Слух ее был неспособен к музыке, но некий высший такт ощущала она в плавном чередовании звуков...

— Все одна церковь Христова, и мелко бы делиться между собой. Что по мысли Лютера патер лишь есть толкователь писания, тогда как по греческой вере иерей сам осиян той или иной частью благодати божьей, так это зависит от сущности и манеры жизни в означенной стране света. Блеском и сиянием куполов пленял второй Рим, именуемый Византией, многочисленные народы восточные, кои издревле привыкли к тому от своих самовластных владык. От того избрал святой Владимир Киевский эту веру из трех предложенных ему, что пышностью да торжеством службы утяжеляла державную руку. У многоопытных народов вера тяготеет к разуму, здесь же больше — чувства и дух, в том лишь разница!

Так сказал в первый урок по ее выздоровлению отец Симон Тодорский. Умные, всепонимающие глаза его были так же печальны, как у пастора Моклера. Потом, уже уйдя от урока, говорил он пониженным голосом, что даже и магометанская вера имеет свое цивилизующее начало, ибо подходит к образу жизни тех народов, кои одним лишь нерассудительным божьим страхом укротить возможно, и где человек вовсе не присутствует в расчете. Потому и позволил бог таковую разность веры, что видит неодинаковость людей. Все же вместе рано или поздно придет к единству и спасению, за что и страдал на кресте сын божий.

Отцу она писала в Штеттин: "Светлейший князь! Осмеливаюсь писать Вашей Светлости, чтоб попросить у Вас согласия на намерение. Ея императорского Величества относительно меня... Так как я не нахожу почти никакого различия между верою греческою и лютеранскою, то я решилась — сообразуясь с милостивыми инструкциями Вашей Светлости — переменить религию и прищлю Вам с первою же почтою мое исповедание веры..."

И снова показалось, что замедлилось движение: как будто сани в лете наткнулись на препятствие. Она искренне улыбнулась эйтинскому мальчику — своему

будущему мужу, и тот не отходил от нее. Вместе сидели они на окне прицарских келий Троицко-Сергиевской обители и болтали ногами. Великий князь неровными зубами разгрызал орешки и прятал незаметно кожуру в дыру у решетки...

Императрица по обету шла сюда пешком из Москвы. Ровный гул колоколов стоял в воздухе, наполняя каменные стены, деревья, траву, каждую частицу всего живого и неживого вокруг. Гремели земля и небо, отдаваясь разнотонным звоном в ближних и дальних городах и селениях, в полях и лесах этой земли. На версту стояли монахи с черными, изможденными постом лицами. Золото сияло, открытое солнцу, со всего собора, вышедшего навстречу во главе с архимандритом, с облачений и хоругвей, с занявших все небо куполов и крестов. Сверкающий строй лейб-компания знаменовал земной порядок.

Едва ступив в обитель и помолившись, императрица скорым шагом прошла к себе. Через десять минут она сама явилась к ним и, слова не сказав, позвала к себе княгиню Ангальт-Цербстскую. Мать ушла за ней с недоуменным видом, и два часа уже не выходила оттуда. Они ждали на окне в переходе...

Началось с болезни, когда мать не заходила к ней, боясь оспы. И еще была ткань на платье: голубая с серебряным отливом, что подарил ей при отъезде из Цербста ее дядя. Мать со вниманием рассматривала эту ткань. И в дороге, когда просушивали вещи, подолгу держала ее в руках. Потом, уже в Москве, прислала к ней свою камер-фрау забрать эту ткань. Она велела сказать матери, что слушается, но ткань ей очень дорога как память о дяде. Но мать забрала ткань, а она плакала. О том сразу зашептались, качая головами. В тот же самый день императрица прислала ей много дорогих и прекрасных тканей, а одна из них была точно такая же — голубая с серебром...

Однако во всем, что делалось вокруг нее, было что-то другое, более значительное. В одном человеке это сошлось. Его она увидела сразу, среди сотен людей при большом бале, который устраивала императрица. Придворные вдруг переменили позы. Так или иначе все они повернулись к двери, громкие голоса при-

тихли. Незначительного вида человек с сжатыми, почти невидными губами, шел среди толпы, не оставиваясь и не отвечая на поклоны, только глядя в ответ твердым взглядом. Она улыбнулась ему, и он тоже посмотрел. Ни одна черта не дрогнула в его лице. Лишь на мгновение что-то открылось в нем, когда она обратила взгляд на овальный, с бриллиантами, портрет посредине его груди. Набухшее, сведенное яростью лицо со щеткой усов и гневными выпуклыми глазами было там точно такое, как на стене дворца в Петербурге.

Не спрашивая ни у кого, знала она, что это и есть вице-канцлер. Тот самый, о котором говорили матери маркиз де ла Шетарди и посол великого короля Мардефельд. Здесь уже швед Брюммер рассказывал, что господин Бестужев-Рюмин открыто ликовал по поводу ее смертельной болезни, желая заменить ее дочерью короля Августа.

— Я слышала что-то и о принцессе Дармштадтской, — заметила тогда мать на слова Брюммера.

Тот закашлял, замахал рукой:

— Все интриги этого ненавистника, что хочет тень покласть на благородных людей. Никто даже не предполагал о том!

Еще раз встречалась она с вице-канцлером в комнатах императрицы накануне похода той в Троицко-Сергиевскую пустынь. Он опять с холодной внимательностью посмотрел на нее и не ответил на улыбку...

Дверь от императрицы с треском отворилась так, что они вздрогнули. Великий князь застыл с ореховой скорлупой в руках. Держась за голову, выскочил оттуда высокорослый граф Лесток. Как видно, он ударился о притолоку низкой монастырской двери и шел, ничего не замечая. Однако, пробежав мимо, он вдруг услышал смех великого князя и вернулся.

— Вижу, что веселитесь... Только ваша радость преждевременна. — Лесток повернулся к ней. — А вам с матушкой надлежит укладываться и ехать домой!

Они остались одни.

— Если в чем-то виновата ваша матушка, то не вы, — сказал успокоительно эйтинский мальчик, комкая в кулаке скорлупу от орехов.

— Мой долг — следовать за матушкой и исполнять ее волю! — твердо ответила она.

И тут снова раскрылась дверь. Вышла императрица со сведенными бровями. В глазах ее стояло бешенство — то самое, что едва прикрыто было на портрете великого царя. За ней шла мать с красным заплаканным лицом. Великий князь съехал с окна, роня скорлупу. Она тоже начала слазить, неловко путаясь в платье, и чуть не упала. И тогда через бешенство в синих глазах прорвалось веселье. Императрица громко засмеялась, вдруг побежала, обняла и поцеловала ее:

— Ничего, не бойсь! — сказала она по-русски и ушла скорым шагом.

Мать торопливо поправилась у поясного зеркальца и, не взглянув на них, поспешила следом.

...И в духа святаго, господа, животворящаго, иже от отца исходящего, иже со отцем и сыном споклоняема и славима, глаголоващаго пророки. Во едину святую, соборную и апостольскую церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущего века, аминь.

Нет, ни одной заминки не допустила она. И заготовленные ответы произнесла ровным, высоким голосом. Потом поцеловала крест и повернулась к собору. Будто прорисованы, в густом золотом свечении виделись лица людей. В алом платье и с одной лишь лентой в волосах она смотрела не туда. Вдали, меж рядами колонн, стояли распахнутые ворота храма. Неисчислимое количество народа наполняло землю во все стороны, до самого края. А прямо напротив, ясно видимая в синем небе, стояла большая яркая звезда...

Менгденское пророчество сбывалось.

...Благодарная Екатерины Алексеевны!

Это ее имя, потому что она... русская. Теплые слезы императрицы остались на ее лице. Синие с тайнкой бешенства глаза глядели на нее с восторгом. Высо-

чайше пожалован ей был переносный складной алтарь. На темной кипарисовой доске густым золотом обложены были лики: Бога-Отца, Сына и Духа Святого. Дух был с неким блеском в глазах и голубиным крылом за плечами...

Без сил лежала она на спине, слушая гром нескончаемого торжества. И все не могла уловить название тому, что было в глазах молодого гвардейца в лесу. Волосы, падавшие на сторону, лишь оттеняли суть. Оно явно виделось у ангела с крыльями на складне. В синих глазах императрицы угадывался этот особенный блеск. В немецком языке и во французских переливах Бабетты не было ему определения. Оно прямо было связано с неистовым вихрем, что подхватил ее в том лесу и понес через равнины, города, смертельную болезнь и перемену веры к яркой звезде, посредине дня ставшей в небе...

II

От медного грома ломило в ушах. Лишь привычные галки да голуби привзлетали от сада и снова садились на потертые зубцы кремля. С Охотного ряду тянуло убойной падалью. Когда ветер менялся, из Замоскворечья приносило запахи мытых овчин, навозной прели и еще что-то такого, чем пахло только здесь. Нигде больше в мире не было такого запаха. Помнилось, как у государя топорщились усы да вздрагивали ноздри, когда подъезжали к Москве. И по приезду сразу бил в ухо, что плохо отхожие места тут чистят. Только запах не проходил.

Не любил великий государь сего места, особо где плоские камни выложены по земле под окнами палат. Сюда бросали стрельцы его родных, принимая на бердыши и расчлняя тела для прилюдных псов. Зато потом их головы дико глядели с кольев по всей стене. В том верно есть вековое противостояние. В некоей посольской депеше с умом примечено, что знатное число высокородных вельмож сей державы с облегчением сняли бы свое удобное немецкое платье, забрались в отчины и там, в разливах да болотах, вершили

бы свою волю. Только так и до самоедского облика дойти можно, уж на что вольней. И свет в окне не в одних тех вельможах. Само тело России неспособно чувствует себя в тех болотах, отгороженное от мира. Царь Петр лишь направляющим орудием явился того необратимого стремления плода из чрева матери, с чем возможно сравнить подобное состояние. Так и станет все происходить в грядущие времена. Набегая все с большей силой, будет идти сей естественный прилив. Некто будет ставить изгороди, прельщая расписными лаптями да болотами, и для того только, чтобы самому вольно было красть без глазу со стороны. Неизвестно, с какой стороны, еще и от Надиршаха явится пришелец, который хвалить станет такое русское окаменение. Да из этого же камня стену возведет так, чтоб и свет не падал в те болота. Только не под силу тому лукавству остановить дело Петра Великого, что дано на тысячелетие вперед, и все какие ни на есть стены будут прорваны живительным паводком...

Вице-канцлер Бестужев-Рюмин как раз ко времени отвел глаза от взлетевших птиц и склонился низайше перед проходящей императрицей. Взгляд его наблюдал за алым бархатным шлейфом, медленно метущим те самые плоские камни подворья, тесно уложенные меж храмов и палат. Очередной победоносный мир со Швецией знаменовал этот парадный выход. А также великие награды и производства для тех, кто имел причастность к такому завершению войны.

Шлейф все еще тянулся, будто кровь текла по древним камням. Показались, наконец, белые чулки камер-пажей, что держали край платья. Он наполовину выровнял спину и увидел великого князя с княжной, в паре идущих за государыней. Тут же, как всегда с недовольным лицом, поспешала "королева-мать", как прозвал он про себя цербстскую княгиню, мать княжны. Хоть на полшага, а должна была числить себя впереди других вздорная немка. Она посмотрела на него и даже дернулась вся от неприязни. Как же, в одни сутки выдворили из России ее любезного маркиза. Когда явились к тому поутру да предъявили собственноручные письма, порочившие государыню, то даже рта не смел открыть Шетардий: все

шмыгал носом да поглядывал на графа Андрея Ивановича. Небось наслышан был, как у того в Тайной канцелярии языки бодро развязываются.

Впрочем, княгиня не от того только имеет болезненный вид, что сподвижника ее, француза, выслали да от государыни выволочку имела за сование не в свое дело. Сказывают даже и подробность, сколь пленительными и неотразимыми атурами она обладает. Вовсю наповал сражен стал ими Иван Иванович Бецкой. А как есть он рожденный не в законе Трубецкой, то и не считаем в том греха. Что за беда, коль у некоего фельдмаршала в Пруссии рога вырастут. Но ведь на дочь — великую княжну тень от такой матери падает. Тем более что уж и состояния своего скрыть не способна: вдвойне против прежнего раздражается. Андрей Иванович Ушаков как раз и намекнул ему, что акушерную бабку из Немецкой слободы к Ангальт-Цербстской княгине тайно привозили...

Как и всякое действие в политике, голштинский маневр царя Петра нес с прибылью и убыток. Когда кильский князек союзной Швеции запросил пардону от датского приступа, то надеялся еще на шведскую корону после смерти неугомонного дяди своего Карла Двенадцатого. Его и там ущемили, и тогда он обратился к России. Что до споров меж Гольштейном и Данией, то к России оно не имело касательства. А вот что Гольштиния лежит на выходе из Балтийского моря, премного интересовало Петра. Оттого и завещал ему в жены свою дочь, чтобы ключ этот золотой иметь в руке. Да и шведский престол держать на примете.

Все оправдывалось, и этот худосочный ребенок, что припрыгивает за императрицей, помимо того что русский великий князь, еще и наследник шведский. А как нет других близких претендентов, то шведское наследство, по русскому настоянию, переходит к дяде его — нынешнему правителю Гольштинии — епископу Любекскому.

То все благие последствия: море под контролем держать да еще на престол к вековому врагу родственного человека посадить. Однако есть другая сторона этого дела. Беспокойная голштинская родня, что с полусотней европейских дворов в родстве или вражде, кругом норовит потянуть с собой Россию. Одна "королева-мать" чего стоит с ее прусским духом.

Выходит так по наблюдениям через письма, что она не меньше мужа своего состоит в службе прусского короля. Все мелкие немцы вокруг привержены к нему. Вот и сейчас посланный от шведского двора граф с добрым известием об утверждении голштинского герцога в качестве наследника бездетного короля шведского, заодно привез и известие о состоявшейся женильбе того на прусской принцессе. Этим со стороны короля Фридриха равновесится русское воздействие на шведские дела. Везде, где имеется русский интерес, обязательно чувствуется его рука.

Да и тут в собственное российское императорское гнездо что за кукушка подложена рядом с великим князем? Прямо в противоречие матери и жениху своему — "кильскому ребенку" — держит себя. То уже, что в болезни позвала не немецкого пастора, а православного иерея, говорит за себя. А как слезы у всех вызвала, когда символ веры наизусть читала. И не мешается никуда, ни в какие сомнительные дела. Оно бы и прекрасно. Только что же это в ней: природный ум или задание от кого получила?..

Великая княжна, приметив его поклон, улыбнулась с серьезностью. Это и ставило его в тупик: серьезность в улыбке. Для пятнадцати лет слишком уж много опытности. А может быть, и впрямь никакой кривизны не имеется у ней в натуре? Для дела хорошо это может быть, а может, и вовсе плохо. Однако ж на святую простоту тут не похоже. Он продолжал холодно смотреть на великую княжну, но даже тени не пробежало у нее на лице...

Звонили колокола, и в перерывах стреляли пушки. Распевно читался высочайший указ. То было отступление от петровой методы читать указы с деловой внятностью. От такой распевности не истинная торжественность получается, а вроде бы коровье мычанье. Благо, что уж совсем не поют, как в церкви.

Он слушал вполуха. Произнеслась, поднявшись в высоту палатных сводов, его фамилия с назначением в канцлеры. Императрица сидела недоступно-величественная, пурпуровые волны ниспадали от золотого трона, теряясь далеко внизу, и даже подумать было нельзя, что плакала недавно в некой комнате и ей обтирали слезы с лица. Он встретился с ней глазами и не подал ни о чем вида. Ничего, они с ней

русские люди, так что с единого разу то понимают, что другому бы век размышлять. Красавица государыня хоть и не сильна в науках, а жизненную суть прямо схватывает. Так и росла без церемоний, а что были у ней Бутурлин, да Шубин, да паж Лялин, и, как скажут, ездовой Андрюшка, то это бог ей отпустит. Сиротой при отеческом престоле жила, неудобной для прочих. Сейчас вот с графом Алексеем Григорьевичем Разумовским в тайный брак безнаследный вступила, что и к лучшему. Меньше неожиданностей придется ждать тут от чувственности. То беда, когда женщина на престоле, поскольку всегда у чувства своего в подчинении. На что кремень была Анна Иоанновна, да и то Бирон в шенкелях держал...

Закончилось чтение об его назначении. Сладко улыбался Лесток, по-русски вытянул руки вдоль тела Мардефельд, лишь голштинский швед Брюммер не скрывал досады, с налитым кровью лицом. И еще цербстская "королева-мать" шла пятнами. Шайка эта с высылкой Шетарди и вождя сразу лишилась, и тут же канцлера для себя нерадостного приобрела. Только безразличны они ему, если бы только место свое твердо знали. Иностранцы в России двух видов. Одни так сразу русские делаются, другие во внутренней ненависти держат себя...

Опять уловил улыбку к себе великой княжны, что сидела при троне. Не может она не знать о маменькиной ненависти к нему. Да и про немецкий интерес, наверно, понимает, но и намек на то не подает. А смотрит так, будто сама что-то прочесть в нем хочет. Только ничего тут не увидит.

Теперь есть у него забота о более серьезном подумать. Поскольку канцлер он отныне, то соблюдать себя обязан соответственно. Тот двуфлигельный домишко, что имеет в Петербурге, надо бы хоть шпалерами заново оклеить да зальную пристройку соорудить. Еще и посуды французской или саксонской купить, поскольку политические разговоры в доме важней бывают, нежели в коллегии или прямо при дворе. Канцлер императорский российский тут не должен уступать хоть бы прусскому или венскому первому министру. Того, что с назначением и денежно от государыни милостиво пожаловано, не хватит, чтобы от долгов откупиться. Есть еще дипломат-

ский пенсион от английского короля на благое ведение дел меж двумя державами, так и совсем немного тут прибыли. Можно бы, конечно, от французского короля такой же пенсион принять, да и прусский бы вдвое дал. Те же Шетарди с Мардефельдом обращались к нему с этим. Оно и принято так в Европе, что всякий первый министр может принять пенсион от иностранного двора, дабы способствовать укреплению дружелюбности между двумя державами. Также и другие влиятельные люди могут принимать такие пенсии за содействие, и во многом то способствует миру. Только он ответил господину Дальону, заменившему тут Шетарди, что не заслужил еще у короля Франции таковой награды, но все будет делать к обоюдной российско-французской пользе, как вернейший его слуга. Так или иначе, а к государыне предстоит обратиться за вспомоществованием...

Объявляли графа Михайлу Воронцова вице-канцлером заместо него. Вот из доброго друга и благодетеля новый противник для него получается. Правда, что граф Михайла Ларионович — умный человек, да слабость человеческая всякому присуща. Те же Шетардиевы друзья станут кивать на великие заслуги его в воцарении государыни, а в подчинении, мол, у выдвигенца своего вынужден состоять. К тому же и на родственнице императрицыной Воронцов женат. Король Фридрих еще загодя графу Михайле орден Черного Орла презентовал...

Канцлер императорский российский и граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин вздохнул, но никто не увидел ничего на его лице.

III

Лес был кругом, а ослепительно-белый снег волнами высился меж уходящими к небу стволами деревьев. Девицу в золоченой шубейке тащил он из этого снега. Она открывала темные с золотом глаза и заводила руки ему за шею. Все крепче прижималась она к нему, тянулась лицом и грудью, так что делалось жарко. А он все нес ее, глубже делались сугробы, ветки опускались к ним, царапая лицо и руки. Но он закрывал ее от острых колючих сучьев и все шел куда-то по нескончаемому лесу...

Огромная, совсем уж низко опущенная ветка вцепилась в плечо. Черные, искривленные лапы тянулись со всех сторон. Он рванулся, не выпуская ноши...

Все тело ныло, саднило от боли. Рубашка клеилась к телу, где кожу пропоролла свайка. Кривоглазый, так тот бил гирей на шнурке, норовя в темя. А прочие арестанты затихли по углам, даже лицо сделалось у них одно. Кузнец, который пятак ломал в ладони, вроде бы спал. И солдат, первый прыгнувший на редут при Хотине, сидел с племянником своим — большим черным мужиком — в бессмысленной неподвижности. Никто не тронулся на помощь ему со своего места, лишь Астафий Матвеевич пропал куда-то.

Однако к чему этот сон после вчерашней драки? Да так все ясно, будто сейчас только нес девицу на руках. Подпоручик Ростовцев-Марьин, постовав, повернулся и сел. Лежанка напротив, где спал старик Астафий Матвеевич, была пуста. Двое их тут находилось, в дворянской половине арестного дома. Остальные все: мужики и бабы — распределялись безо всякой постели по сараям и срубам. Арестанты были в колодках и без них, смотря по важности дела.

Пятеро верховодили тут. Главный — плюгавый мужичонка в барском казакине с острым взглядом искосу, а помогал ему рябой инородец персидского виду с желтыми кошачьими глазами. Первый будто бы дворовым у князя был, да своровал что-то, а инородец на здешней ярмарке разбойничал, торговых людей конским волосом душил. Остальные были больше беглые или без роду-племени. Да еще из той мордвы, что бунтовала против архиерея Димитрия, имелись здесь люди. На него смотрели как бы мимо, не замечая. Попросили только на спор пятак, что кузнец взялся согнуть. Да и согнул, играя...

Уже на другой день увидел он, как разбойный люд расправлялся с тем самым кузнецом. Они отнимали чего-то, а кузнец не отдавал. Тогда его подсекли под колени, инородец накинуд ему волосяной аркан на шею. Прочие сидели тихо. Подпоручик прыгнул, схватил перса за шиворот, оторвал от полу. Тот закричал зайцем, барахтаясь под рукой. Полупридушенный кузнец, не оглядываясь, уходил в свой барак.

— Теперь они тебя, Александр Семенович, караулить станут! — сказал ему со вздохом сожитель Астафий Матвеевич.

Лишь двое их сидели в чистой избе при остроге, поскольку проходило еще следствие и не лишены были прав. Не так уж и стар казался бы Астафий Матвеевич, если б не белая борода, что ключьями росла у него из щек, и усталость в глазах. Тоже из беспоместных дворян происходил он, и поскольку учился наукам, да разные языки понимал, то состоял при астраханском губернаторе Татищеве для поручений. Все больше сведения по российским делам с персидскими шахами собирал. Только всячески интриговали враги против Татищева, да и его в доносе прихватили. Четыре года находилось его дело в разборе: принимал или нет для губернатора в подарок аргамака с серебряной сбруей от туркменцев, желавших уйти от Надир-шаха в российское подданство.

— Коли в живых хочешь остаться, не спорь с ними, — объяснял ему старик. — Не здесь, так в дороге пришьют, как на одной цепи с ними в Сибирь пойдём!

Однако, когда в другой раз те опять стали душить человека, он снова не дал. Услышал хрипение и прибежал. Первое, что увиделось, было лицо солдата, стоявшего в углу. Солдат тот особой медалью и ста рублями от генерал-фельдмаршала Миниха был жалован за то, что первый взбежал на турецкий бастион при крепости Хотине. Под арест угодил, когда в отставке уже к купцу рыбу возить нанялся с племянником, да застрял в придорожном кабаке. Там у него и деньги торговые унесли. Сейчас убивали племянника, а кавалер испуганно пучил глаза, норовя укрыться как-нибудь за углом.

На сей раз, заметив подпоручика, персидский инородец бросил аркан и побежал. Кривоглазый атаман злобно ощерился и лишь закрывался руками от ударов. И помощники их уползли в стороны.

Всю неделю было тихо. А накануне того, как отправляться новому этапу, прихватили и его. Вышел он из избы с рукомойником, и тут что-то пало на голову, острая боль обожгла шею. Он двинул плечом, успел заложить пальцы под язвящий шею жгут. Другой рукой бил вслепую по сторонам. Мешок, что бро-

сили на него, сдвинулся, и он увидел метящего ему гирькой в лоб кривоглазого. Еще один с блудливой усмешкой крался сбоку со свайкой.

Вокруг делали вид, что не видят ничего. Кузнец вроде бы спал, а солдат с племянником одинаково пучили глаза. Ему снова натягивали мешок на глаза. Только Ростовцевы славились в уезде своим махом, так что не разбирая крушил им зубы. Потом все стихло. Осторожный комендант стоял возле него с Астафием Матвеевичем. Требовал, чтобы указал на зачинщиков, но он молчал.

И день он еще лежал и молчал, не отвечая заговаривавшему с ним сожителю. Потом уснул крепко, и снилась ему девица из леса. Так и проспал, пока боль не заставила проснуться. Морщась, он встал, напился воды из бочки в углу, опять сел на лежанку. Астафий Матвеевич вопросительно посмотрел на него.

Подпоручик спросил глухо, глядя в стену:

— Как же это так?

— Об чем ты, Александр Семенович? — удивился старик.

— Кривоглазый этот с персом, пусть еще двое-трое... Какая же сила в них, что у всего здешнего народа грабят что хотят. Кузнец один их бы согнул. Да и кавалер, что Хотин брал, немалой отваги человек. Все русские мужики, что стенкой драться ходят. Отчего же слабость эта у них?

Он вдруг услышал странный звук и замолчал, удивленно глядя на старика. Тот еще раз как-то горлом всхлипнул и вдруг закричал тонко, махая руками:

— Рабы они, рабы! От Грозного царя еще у них испуг этот не прошел. Раньше от татар, так на то воля божья. Потом же, хуже татар, сами мы сей испуг народу ежечасно вколачиваем. Он по приказу на Хотин лезет, а при случае от свайки не смеет загородиться. Тем и пользуются кто подлее. Тот же араб этот кривоглазый, только хуже еще, дворовый раб. При барине пообтерся, вольностей наслушался. Только внутри все одно раб, и вольности по-своему понимает. Ну, а перс с удушкой, так для того в России готовое поле для подвигов. Снаружи никак не возьмет — как под Хотин острастку получает, а вот то внутреннее российское рабское состояние сразу улавливает. Ну и выходит в герои. Похуже телесного мора — чумы на-

стигает таковой мор духовный. От него, и не отчего иного, уходили народы с поля истории!..

Вроде бы его в чем-то винули, кричал Астафий Матвеевич, не замечая, как слезы текут у него по лицу и белой бороде. И все говорил, говорил. Подпоручик растерянно улыбался, поглаживая избитое плечо.

— А что русский дворянин за правду вступился, так это подобно гишпанскому собрату, который горшок заместо шлема надел да с ветряными мельницами в бой вступал, — уже спокойнее заговорил старик. — Коли так все идти станет, то и дворян придушат, совсем безгласой Россию оставят. Рано или поздно все в услужение пойдем к этим со свайками да удушками. И честью русской будем считать, когда допустят постоять при проезде. Еще и оды станем им слагать. Самое рабское то удовольствие оды про себя слушать!

Много еще говорил Астафий Матвеевич про долговременность пути к совершенству. Василий Никитич Татищев, обширного ума человек, пришел к тому, что лишь терпеливое умопросвещение открывает дорогу народам к счастью. Петр Великий выдернул Россию из невежества и поставил на ту дорогу. Да только рабское состояние вроде палок в колеса на каждой версте той дороги. Когда б хоть на четверть века перестали пугать дыбой, шпицрутенами, тайной канцелярией. А видя сие несчастное народное бессилие, какому подлецу не захочется поупражняться в безнаказанном злодействе. Вот и будет стократно пугать, так что даже надиршаховы художества игрушкой покажутся. Тут по десятку свежует людей, а тут со всего народа сразу станут шкуру спускать. Выделяют, потом набьют соломой, и будет внешне как живой!..

Подпоручик Ростовцев-Марьин встал утром и не мог понять, что же мешает свету попадать в окно. Он подошел и увидел висящие на уровне глаз босые ноги. Из-под потолка улыбалось ему склоненное набок лицо Астафия Матвеевича. Веревка была подвязана к железному крюку над окном, внизу лежала на боку брошенная скамеечка...

— Вот и делу конец, спаси господи! — сказал осторожный комендант и перекрестился. — Тем обык-

новенно и кончается, когда следствие прямой улики не имеет. Идет дело в сенат, потом обратно в суд, оттуда по месту совершения для нового опроса. А к тому месту из Астрахани в три года раз только шхуна ходит. Да и туркменцы сегодня здесь, а назавтра кибитки сняли и, глядишь, уже в Хиве. Выходит, в Оренбург опять надо дело пересылать...

Подпоручик сидел, и все пусто было у него внутри. Даже когда пришли и сказали, что по ходатайству архиерея Димитрия его увольняют от всякой вины, он не слышал того. Когда уходил из острога, комендант дал ему дощатый сундучок с книгами да бумагами. На полулисте сверху значилось: "По самовольной кончине моей прошу сии бумаги вяземского дворянства Астафия Матвеевича Коробова передать во владение дворянскому сыну Александру Ростовцеву-Марьину в память и поучение..."

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

I

Ничего не произошло...

В ее ожидании не было страха или предчувствия невероятного. Когда накануне многоопытная фрейлина давала подробные пояснения в отношении этого, она все уже знала. Ей трудно было сказать откуда, но с самого детства присутствовало в ней это знание. Еще когда увидела в полутемной комнате некую графиню в любовных объятиях, то понимала, что происходит.

Фрейлина даже легла на обитое голубым шелком канапе, показывая, как следует вести себя испуганной неопытности в ответственный момент. При этом приоткрыла рот, закатила глаза и негромко даже вскрикнула: "Ах!"

А перед самой дверью в приготовленную для них спальную залу императрица обхватила ее руками, жарко зашептала в ухо: "Он после болезни слабенький, наш голубок... В случае ежели... погрей как следует его..." И назвала прямо, по-русски и французски запрещенные слова. От императрицы пахло вином.

А эйтинский мальчик болтал что-то грубым, не

своим голосом. После болезни переменялся у него голос, и редкие золотые волоски за ушами вдруг поблекли, сделались вроде сухой щетины. Само лицо у него зашершавилось и при детских чертах принадлежало как бы другому человеку...

Та же фрейлина с двумя камеристками перед тем раздели ее, положили по местам что надо. Она лежала в белых кружевах и смотрела на вошедшего супруга. Он все махал руками, громко хохотал, сидя поверх одеяла, и рассказывал, как ловко подшутил над дьяконом в соборе. Стоя близко, он всякий раз, не показывая внешнего виду, трубил вместе басом, а дьякон пугался и сбивался с голоса. Он изображал ей, как это выходило у него, и снова смеялся. Потом мельком посмотрел на нее, на кружева вокруг и принялся рассказывать, что все уже знает про это: тетка-государыня двух особых фрейлин для того приставила к нему. Одна ему нравилась, и все хорошо получалось с ней, а другая — офицерская вдова — щипала и царапала его.

Она уже много раз слышала от него этот рассказ. И про девицу Карр, как соблазнил ее два месяца назад, он тоже не уставал говорить. Надо было как-то вернуть его в настоящее время.

— Ваше высочество, вам следует отдохнуть от столь волнующего дня! — негромко сказала она.

Он схватился, неосмысленно засмеялся и побежал в боковую дверь. Там послышался его разговор, какой-то стук, потом еще чьи-то голоса, лакейский смех. Где-то за другими и третьими дверями происходило шуршание, доносились приглушенные шаги. Во дворце не спали, откуда-то с дальней улицы слышалась песня...

Мальчик из Эйтина вернулся раздетый, пролез между шелковым пологом. Свечи притухли, и в крестовом сиянии он сделался вовсе чужим. Она чуть отодвинулась, давая ему простор.

А он опять говорил, все махая худыми руками, потом стал трогать ее. Она молчала, не мешая ему, только отвела острый локоть, которым уперся ей в грудь. Что-то наконец получилось у него, он завозился суетливо, обмачивая ей лицо слюной. Сделалось неприятно и слегка больно. Она молча высвободилась, отерла лицо. А он победно махал руками, подрыгивал

ногой, дергался телом. И сразу вдруг уснул, скорчившись и притянув колени к подбородку.

Она не стала никого звать, хоть слышала, как подходили снаружи к самому положу. Сама привела себя в порядок и снова легла, подстелив запасное белье. Он лежал рядом, уткнувшись длинным узким подбородком в подушку и захватывая кружева мокрыми губами.

”Кильский инфант” — она знала, как называли его тут. Так было ей назначено, и за целый год она подружилась с ним. Знак тайный сделался между ними: когда пили вино, то многозначительно говорили друг для друга: ”Пусть скорее будет, что нам обоим хочется!” Все происходящее прямо относилось к звезде, увиденной как-то в голубом небе...

Посланник шведской короны, что привез известие о помолвке дяди ее — епископа Любекского, ставшего ныне шведским наследником, — и сестры прусского короля, был тот самый человек, который говорил когда-то матери: ”Это непростое дитя: посмотрите, сколь серьезен ее взгляд!”

Граф Гилленбург сразу же подошел к ней и заговорил так же серьезно, как пять лет назад в Эйтине. Благородное лицо его с седеющими висками было твердо, прямой взгляд не принимал подделки, и снова она беззаветно доверилась ему. Три часа говорила она с ним и делала знак великому князю, чтобы не подходил. Потом заперлась и писала два дня, сводя в одно все известное про себя, зримое и незримое... ”Что сотворено и послано богом, не может не быть разумно. Каждому назначена звезда со своим путем, которым человек должен идти старательно и неуклонно, исполняя тем высшую цель. Коль дано мне высокое рождение и назначено управлять этим народом, то со всей радивостью и чистотой духа буду то выполнять. Стану терпеливо сносить горести и неприятности, превозмогать антипатии, удерживать собственные чувства. А также стараться нравиться сему народу умом и сердцем своим. Для того Провидение вывело меня из тяжелой болезни в младенчестве и теперь!”

Она заглавила тетрадь ”Портрет Философа пятнадцати лет”. Так назвал ее благородный граф, и она принесла ему эту тетрадь для прочтения. Он возвратил ее со своими пометками и рассуждениями по по-

воду совершенствования человека, что прямо ведет к общей пользе. Ее характеристические черты он назвал: рассудительность и разумная терпимость, которые всегда должны наличествовать при управлении народами. А не хватает к тому опытности, каковую надлежит занять у древних мужей Греции и Рима. О том писал Плутарх, поучительна также жизнь Цицерона. Новых же мыслителей нужно начать с блистательного Монтеסקье, чье имя сияет в просвещенной Европе...

Гремело и сияло среди каменных квадратов. Осыпанная розами, в белой пене кружев, плыла она над восхищенными толпами, что бессчетно приливали сюда с неведомых краев земли. Снежно-белые лошади десятью парами плавно влекли колесницу с двумя тронами наверху. Все далеко было видно в прямолинейности проспектов. Сверкая оружием и шлемами, шли войска. Всякая колонна перемежалась парадным выездом, ибо точно было указано каждой фамилии и персоне первых четырех классов, сколько и каких надлежит при этом иметь карет, пажей, гайдуков, скороходов, ливрейных слуг и арапов, сколько и какого должно быть допущено на улицы народа и как следует ему быть одету. Императрица с радостным лицом, полуоткрывши рот, самолично занималась этим. Даже ленты к лошадям сама подбирала. А венчальное платье вместе с французской модисткой на коленях стократно вокруг нее облазила. Потом, остановившись вдруг и взяв ее за руку, императрица всхлипнула: "Голубушка, у меня ведь той радости так и не случилось!.."

Трубили в городах герольды, объявляли на площадях о предстоящем событии. Ко всем дворам Европы посланы были полномочные люди, чтобы узнать, как составляются там торжества по подобному случаю. Целый корабль с италийской бронзой разгружался в гавани. Мастера цветного огня прибыли из четырех стран...

И опять шли войска, шпалерами расставлялись на площадях. Гроном отдавался стотысячный копытный грохот по распиленному и уложенному в квадраты камню мостовой. Искры высекались из камня от

тысяч подков, и синее пламя стояло по земле, когда проходили тяжелые полки кирасир и конной гвардии.

А на десятый день в этом громе и сверкании она поплыла на троне от дворца к собору. Рядом сидел эйтинский мальчик. Он, как обычно, дергался, усаживался то одним, то другим боком, чесался, стирая пудру с подкрашенного лица. Она сидела ровно, лишь покачивала голову, улыбалась людям в толпе и гвардии. Гладкое серебряное платье, окаймленное золотым шитьем, как бы розу из бутона, выпускало из себя ее голову с темносияющими волосами. Лишь маленькую бриллиантовую корону надела ей императрица.

Ныне уже епископ Псковский отец Симон Тодорский вел обряд. "Перст Провидения указывает на сии отрасли домов Ангальтинского и Голштинского, ибо помнить именем, что пути господни неисповедимы для людей, также для стран и народов!" — сказал он, указывая на них. Венец над ней держал граф Алексей Григорьевич Разумовский с чуть ленивым взглядом умных хитроватых глаз, и все знали, что это тайный супруг императрицы. А над великим князем стоял их общий с ним дядя — принц Август Голштинский, что привез однажды сюда ее портрет. Снаружи собор высился римской колоннадой, и темные лики казанских угодников с чуть скошенными татарскими глазами смотрели с его стен и углов...

Укрытая красными коврами и влекомая галерой, плыла барка, от берегов реки гремело "ура!". Наверху, при карауле четырех адмиралов с обнаженными шпагами, стоял потемнелый бот с малой пушечкой на носе — тот самый, с которым великий царь в пятнадцатилетнем возрасте от равнин и лесов начинал путь к морю. Завещано было в каждое тридцатое число августа выводить его на морскую воду. Через двадцать лет исполнился отцовский завет его царственной дочерью по случаю дела, ведущего к наследованию и продолжению рода, о чем единственном не побеспокоился этот царь. В боте зияли дыры, и не мог уже плыть сам, потому и пришлось, забив шпаклевкой тронутые места, ставить его на барку. Гремела пушками крепость на другом берегу, раз за разом окутывался дымом новый шестидесятипушечный фрегат, к этому дню спущенный с верфей, били из

пушек идущие за ним другие корабли, стучали барабаны, пели трубы. По-необычному звонко — от присутствия близкого морского простора — звучали здесь колокола. Архиепископ санкт-петербургский и ревельский взшел на барку вместе с клиром и окропил ботик святой водой. На палубе его под громовой крик народа и войска императрица в платье ордена Александра Невского пала на колени и поцеловала портрет своего родителя. Со спокойным бешенством смотрел великий царь мимо всего происходящего куда-то вдаль...

Стоя на барке за спиной императрицы, она даже оглянулась, чтобы увидеть, куда устремлен этот взгляд. Там никого не было. В расчерченном шпильями небе громоздились тяжелые черные тучи. Выплывая из глубин этой страны, от неведомых лесов и болот, они двигались плотной массой, оседая на этот необыкновенный город, заволакивая и убирая из глаз само море...

Все продолжалось тут: били вином фонтаны на площади перед Адмиралтейством, с треском рассыпались в черном небе цветные огни, миллионами свечей горели окна. Кем-то направленное движение с ровной стремительностью влекло ее к назначенной цели. Только однажды дрогнула она: среди идущей строем гвардии вдруг показалось ей лицо с упавшей на сторону прядью волос. Она даже прикрыла глаза, ощутила сильные мужские руки, тянущие ее из снега. Горячее томление поднялось снизу, прилило к груди, сладкая покорность охватила ее...

Эйтинский мальчик задвигался рядом на своем троне. Она открыла глаза, с недоумением посмотрела на него. Линия лиц в гвардии не имела перекошу. Того и не могло быть, поскольку лишь в походном строю отпускаются там из-под киверов собственные волосы.

Ничего, никакой перемены не почувствовала она в себе. Значит, и нет в том необычайного, о чем так значительно умалчивалось в книгах, читаемых мадемуазель Бабеттой. И в разговорах женских к чему тогда некая возвышающая тайна? Она разглядывала спящего рядом с ней эйтинского мальчика, ставшего в эту ночь ее мужем, и не ощущала к нему ничего

нового. Тот почмокивал большими, до ушей, губами, морщил нос и все не отпускал изо рта кружева от подушки.

Она отвернулась, стала смотреть в розовеющий верх полога. По очереди набегали виды прошедшего года, и всякий раз рядом был эйтинский мальчик... Они ехали с императрицей в Киев и все вместе собрались в одной карете: она с великим князем, молодой Голицын, граф Захар Чернышев и ее фрейлины — две Гагарины да Кошелева. Смех не кончался, и потому было особо весело, что в другой карете злились старшие. Больше всех разъярен был воспитатель и обергофмейстер его высочества Брюммер, от которого убежал к ним эйтинский мальчик...

А еще на пути был город, зовущийся Козелец. Великий князь от безмятежности чувств скакал на одной ноге и толкал бюро, на котором ее мать писала письмо в Цербст. С грохотом упала на пол шкатулка, посыпались бумаги. Мать с идущим пятнами лицом наступала на него.

— Вы есть brave Карл-дурачок! — кричала она визгливо по-немецки, а эйтинский мальчик испуганно пятился, закрываясь руками. Она встала на пути у матери, и тогда та с размаху ударила ее по лицу: один раз, другой и третий. Его высочество, пользуясь тем, побежал к двери...

Здесь уже, в Петербурге, они сидели на театре в своей ложе. Напротив императрица что-то бурно говорила графу Лестоку, кивая в ее сторону. Тот появился у них с поджатыми губами и ехидством на лице.

— Видели, как строго императрица разговаривала со мной? — сказал он ей. — Это по вашему поводу!

— Чем же имела я несчастье заслужить немилость ее величества? — спросила она.

— Государыня считает, что для великой княжны недопустимы такие долги, которые есть у вас. Когда их императорское величество были цесаревной, то обходились куда меньшей частью и дом с людьми содержали...

Сказано было громко, и эйтинский мальчик, тогда еще жених, сделал строгое лицо. Он даже согласно закивал головой, поглядывая в ложу императрицы.

Приехав тогда домой, она потребовала счета и все

сама проверила. Тридцать тысяч рублей было жаловано ей "на карты". Только в Россию она приехала, имея лишь два платья, тогда как при здешнем дворе их меняют трижды на день. Да и в белье она долго обходилась старыми цербстскими простынями. Но больше всего отнимали денег подарки, столь любимые русскими. Одна лишь графиня Румянцева, приставленная к ней и специально возившая ее по магазинам, обходилась как целый выезд. Она так усердно хвалила всякий раз какую-то вещь, что необходимо становилось купить и для нее. Тут же и великий князь, растративший свои деньги на игрушечных солдат, много взял у нее займы. Также мать не отстает в таком деле, пока не получит своего.

Правда, что и отцу она выслала некоторую сумму, умолив того взять на лечение ее тяжелобольного брата. Все же, учтя щедрость императрицы, долгов у нее не более двух тысяч рублей. А значило это, что опять против нее настраивают императрицу. Сразу встало перед глазами замкнутое в непреклонности лицо с ниткой губ и портретом, глядящим с груди непоколебимым, яростным взглядом. Канцлер совсем не терпел мать, а на нее смотрел как бы с удивлением...

Все было преходяще. Она стояла на высоком берегу Борисфена, золотые кресты высились в совершенно синем небе. Как бы ломающим преграду звуком называли эту величественную реку. Днепр — слово шло из древних, неведомых времен вместе с именем города на нем. Здесь было одно из начал этого народа.

Десять раз по времени от Штеттина до Цербста ехали они сюда. Здесь она спросила, сколько дней надо находиться в пути, чтобы доехать до конца России. На нее посмотрели с недоумением.

— Да год, наверно. А может быть, два, — сказал ей старый дворянин, распоряжающийся их размещением в Киеве.

Оставив всех, она шла под землю в храмах и переходах. Выступали из тьмы усыпальницы неких древних князей, сумрачные лики смотрели со стен и потолков, не меняя из века в век выражения. Те же самые были они в новом, только что построенном соборе с грандиозной, в сто метров колокольней. Какая-то загадка таилась в тысячелетней застылости

лиц, что перекликалась с безмерными расстояниями этой страны. И никак не сочеталась их тяжелая сумрачность с внешним сиянием бронзы, ослепительными белыми стенами, с зеленой, красной, сиреневой яркостью крыш и фасадов при теплом и чистом солнце. Роковое противоречие было в том...

Она совсем уже, кажется, заснула. Как вдруг совершенно наяву увидела полутемную комнату и судорожное сплетение ничем не прикрытых тел. Никак не кончалась их напряженная неподвижность. Радостный, мучительный вздох услышала она... Нет, что-то еще было там между ними, что вот-вот должно было открыться ей. От того так гордо сидела женщина на лошади. Могучий конь с полированной спиной послушно приседал на круп от одного прикосновения ее колен. Ах, Каролинхен!..

Горячая истома охватила тело, переполнила груди. Невозможно стало дышать. В радостном предчувствии, не открывая глаз, повернулась она, протянула руки. Там была пустота, лишь куда-то в мокрое попали пальцы. Это был край кружевной подушки...

Великий князь, ее муж, вдел голые худые ноги в ботфорты и стоял при откиннутом пологе, сосредоточенно показывая самому себе разные гримасы. Он высовывал далеко язык, пучил глаза, потом вдруг принял надменный вид, значительно поводя головой на тонкой шее. Увидев, что она проснулась, муж ее захохотал, замахал руками и побежал в лакейскую. К ней донесся громкий разговор, смех, выкрики. Потом все стихло, и она заплакала беззвучно, без слез...

II

Канцлер российский Бестужев-Рюмин стоял в одиножды определенном месте: позади и налево — в шести шагах от императрицы. Он сам нашел таковую точку, где бы для государыни не было назойливости от его присутствия и одновременно не теряла бы его из виду. К удивлению, свое правильное место сразу нашла и новосделанная великая княгиня: как будто сзади государыни, но неотделимо от нее. Для такого надо ум и особое чувство иметь. Кто бы мог направ-

лять ее? Уж не великий князь и тем более не матушка. Та вон всегда наперед суется, так что вид уже один ее вызывает раздражительность. И недовольство постоянное у ней на лице. Как же: *in dieses barbarisches Land* (в этой дикой России) и качеств ее не оценили. Лишь сегодня сошла у нее с лица эта спесь. Даже растерянно как-то теперь смотрит. Еще бы, коли прямо указали на порог...

Цербстская княгиня и шла неровно: сделает четыре-пять шагов и приостановится. Как вдруг, дойдя уже почти, рухнула на колени, упала перед императрицей, заливаясь слезами:

— Ваше величество... Простите за все!

Темное что-то блеснуло в глазах у государыни, и лицо оставалось непреклонно.

— Прежде надо было думать! — сказала негромко ее величество.

Тут клубок завязался, при котором не этой мелководной гусыне мешаться. Дочь коли пристроила к российскому делу, то к нему и надлежит ревновать всей родне, независимо от подданства. Так оно порусски принято. Сей корабль плывет своим румбом, и кому-то лишь кажется, что крутит рулевое колесо. Во всяком разе путь его в глубокую воду, а не на ангальт-цербстские да голыштейн-готторпские отмели. Тем более не на прусские камни.

Пока занимались сватовством да свадьбою, король Фридрих мало что Силезию отхватил — в Саксонию вломился. А главное на уме — поставить предел российскому вступлению в число европейских держав. Для того нашему голштинскому родственнику, которого государыня предложила в шведские наследники, прусский король свою сестру в жены отдал.

И кругом, где идет дипломатическая игра, цербстская "королева-мать" суется. К самому Фридриху ее письма, к брату-кронпринцу в Швецию, к голштинским противникам русского родства. Однако нигде в письмах не говорится о дочери, причастна ли к той материнской игре...

Вовсе спокойно распростилась великая княгиня с матерью. Сбивает с мысли подобная сдержанность чувств при одновременной ко всем приветливости. Проста ли безмерно или все маска, ничего тут не решишь...

Словно услышав его мысли, великая княгиня обернулась в его сторону, улыбнулась с серьезностью. Никак не действует на нее его холодность. Прочие от того в амбицию кидаются или в холопью молчаливую злобность уходят. Она же будто не замечает его вида. Некое неудобство происходит от того и приходится отворачиваться, когда вот так она смотрит.

А цербстская мать-княгиня уже вытерла слезы, принялась считать, все ли на месте из представленной ей свиты сопровождения. Тут уж государыня не поскупилась. Помимо сорока четырех человек разных чинов, особый конвой станет провожать ее до границы. Там же будет человек, глаз не спускающий с княгини. Указано задерживать все, что захочет писать вперед, в Европу, или назад, к своим российским адресатам.

Только уж и писать ей сюда станет некому. Шетардия нет уже. Толсторожий Брюммер так тоже скоро отставку получит. А прусского посла Мардефельда — и с самой княгиней вместе — ждет великая неожиданность. Оба чуть не каждодневно писали в Берлин, что при русском дворе все по их слову делается. Да только с княгиней вместе перейдут полки в Курляндию для предупреждения короля Фридриха, чтобы мирился с Австрией. И тут же, на границе, будет вручено ей собственноручное письмо императрицы о том, чтобы просила своего амфитриона отозвать барона Мардефельда назад к берлинскому двору...

Так что один только Лесток останется тут из всей шайки. Без сподвижников куда как трудно станет блюсти здесь французские да прусские пользы. К тому же и пенсию ему от Версаля урежут, когда узнают обо всем, так что и прыти соответственно убавится.

Правда, есть здесь одна особа, которой прямой резон к смертельной к нему вражде. Вроде загадки без ответа ей предмет. Канцлер опять невольно посмотрел на великую княгиню. Сейчас она вместе с супругом шла к карете уезжающей из России матери, чтобы проводить ту до Петергофской заставы. Кильский инфант по простоте своей прямо не скрывал радости по поводу отъезда тещи. Даже кричал что-то и в ладони хлопал. Зато на лице юной жены его нельзя было ничего прочесть, кроме известных наружных чувств.

III

Небо было покойное, светлое. И на земле все было светлое в ночи: вода, слившийся с ней берег, и тот, другой берег, будто облачком поднявшийся над великой земной ровностью. Подпоручик Ростовцев-Марьин слушал вселенскую тишину и всей плотью своей ощущал неслышное движение огромной массы воды, наполняющей берега, великую мощь и тяжесть ее. Зарождаясь там, в безбрежности, на которой его Ростовец, река наполнилась от полей и лесов, от неисчислимых ключей, от каждой дождевой тучки в небе, от росы, выпадающей в чистое утро на листьях и травах. Принимая в себя другие реки от ближних и дальних пределов, она двигалась куда-то, где была середина земли.

Он опустил руку в ночную воду, ощутил ее упругость и силу. Вода была не теплой и не холодной, так что показалось ему, что сам он и душа его сливаются с этой водой и землей...

Тихий говор слышался от края дощатого настила. Там в ряд, одна к одной, стояли бочки, пахнущие смолой и свежим лесом. Их везли к морю, где грузили икрой и рыбой для царицынского стола. За бочками, у самой воды, виделись две светлые тени.

— У нас так лен на то треплют, — говорил молодой голос, — на рубахи да на порты.

— Льё-он... — выдыхала девица.

— Я и говорю: лен!

Второй месяц плыл он Волгой с казенным караваном. На полторы версты растянулись по воде расшивы да баржи. На каждом корабле были солдаты и пушки с припасом. По реке шалили всякие люди, а тут, на подходе к Царицыну, хотели даже баржу с товарами отбить то ли безначальные калмыки, то ли еще какой-то народ. На их корабле, помимо товару, везли еще и людей на соляной промысел при озерах в киргизской степи. Всем управлял нижегородский купец маленького росту с черной смоляной бородой. Народ с ним ехал разный: семей пятнадцать русских мужиков, каким-то способом откупленных у казны, погорелая мордва, вятские да пермские татары. Везли они с собой весь свой скарб, а русские мужики еще и возы с лошаденками, что стояли тут же и жевали сено.

Когда приставали к берегу, бабы выбегали с серпами и, покуда стемнеет, косили пойменную траву для коров и телят, что плыли с ними.

Подпоручику Ростовцеву-Марьину с тремя другими офицерами была подорожная в линейный полк. Через день-два предстояло им сходить на берег и добираться дальше с командой на Средний Яик, где значилась линия...

Всюкую ночь на том же месте становились эти тени. Мужичкий сын был кудрявый, с пробивающейся бороденкой на курносом лице, девка же пермячка. Пермские да вятские татары вовсе были как русская мордва и отличались только разговором. У девки селились по носу и щекам рыжие конопушки, а быстрые голубые глаза остро и приглядисто смотрели по сторонам. Тут же великую обманчивую покорность выражали они, как только парень глядел в ее сторону. А ночь напролет стояли они в одном шаге друг против друга и все говорили, понимая как-то один другого.

Кряжистый мужик с дремучей бородой — отец парня — молча смотрел на это, никак не высказывая своего отношения. А мать, маленькая и подвижная, в домотканом платке, уже два или три раза передавала какой-то пирог на татарскую сторону. Там брали и кланялись, угощали в ответ жареным просом в меду. У девки не было родителя: одна лишь мать-старуха да пятеро еще братьев и сестер.

Все тут так жили, как будто уже соседи в городке, что думал ставить купец: бабы одалживались друг у друга, а мужики сидели вместе вечерами, смотрели на широкие закаты. И по всей Волге, где они останавливались, было так. В селениях и городах дома стояли вперемежку: русские, мордовские, чувашские, бог знает еще какие. А на базарах так и вовсе появлялись народы, которых имени даже никто не знал...

”А Русь, как по всему видать, имеет корни в разных народах. Главный из них славянский, а по северу сростился он с финским племенем, так что язык сделался один и видом уже не разобрать. Отсюда Москва, Ока, Цна да Муром в российском языке. Сюда же и варяжский княжеский корень примешался, поскольку веками ходили через славян, оседали тут да и имя

принесли, ибо Русь означает дружину воинскую, сделавшуюся наименованием сему народу. А еще сопрягались с ним печенеги, да половцы, да татары, воевавшие его. Затем и немцы разных земель, что покорялись или шли сюда на службу, и многие прочие другие. Так что даже сейчас еще этот народ образуется, и в том великая его будущность, что без усилий и спесивости принимает в себя племена и народы, обновляясь всякий раз, богатея телом и духом...”

Так писалось в бумагах у Астафия Матвеевича Коробова, что были сшиты в толстые тетради. Сундук с этими тетрадями да книгами, переданный ему по завету лишившего себя жизни вяземского дворянина, ехал с ним. Всякий день, сидя у кормы под навесом, подпоручик Ростовцев-Марьин доставал и читал их. При каждой тетради на окладке значился год, а всех тетрадей было двадцать четыре, последняя не окончена...

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

Какие же они, русские?.. В прошлой жизни она не предполагала, что есть такие люди, как бы отдельные от прочих. Все везде было одинаково понятно. Если мадемуазель Бабетта учила ее говорить по-французски, то и это составляло единство. Как и то, что Каролинхен могла говорить по-английски или дядя — епископ Любекский — по-шведски. Также и в России должно было продолжаться такое состояние мира. Замерзающие звуки и вывернутый наизнанку волк представлялись местными особенностями, как круглая колокольня в Штеттине или поющие часы в Гамбурге.

В единый миг все перечеркнул гвардеец с падающим набок волосом. Она поняла это сразу, и не умом даже, а неким чувством, которое помимо ума и всего прочего, чему можно было научиться от опыта и прилежания. Прядь волос трепалась по ветру. Уже потом, продолжая учить язык с Адауровым, все хотела она найти слово, означающее единственную характеристическую особенность этого народа. Ни по-немецки, ни по-французски такого слова не было...

И еще ветер, подхвативший ее в лесу на границе, что понес с неслыханной скоростью, так что невозможно было перевести дыхание. Дело было не в дополнительных лошадях. Она тогда посмотрела на мать, на девицу Шенк и госпожу Кайен, но те ничего не замечали: для них лишь карета поехала побыстрее.

Она же с тех пор непрерывно ощущала этот стремительный полет, которому должна быть цель. Когда-то думала она провидеть будущее на манер колдунов с янтарного берега. Но монах из Менгдена, предсказавший ей корону, был лишь наблюдательным человеком. Ветер был груб и осязаем...

— раз-два... раз-два-три... пять и шесть, налево!

Упоительно, каждой клеточкой своего тела отдавалась она ритму. Шум скрипок и клавесинов не мешал пленительной точности движений. Тело само находило изгиб и меру, руки обретали небесную плавность. Она летела в танце, и радостно, четко билось сердце...

На ней были специально для того пошитые голубые рейтузы с сапожками и кавалерская куртка с бранденбургами. Граф Сиверс имел на себе бледно-розовое шелковое платье до полу и с фижмами. На поворотах платье задиралось, и видны становились белые ноги графа с рыжеватым волосом. Всякий вторник проходил маскарад. В который раз уже он предварялся приказом императрицы: кавалеры — в дамском, дамы и девицы — в мужском!

Такое, здесь рассказывают, выделял великий царь и говорил при том: "Пусть каждый сиятельный шутом повыглядит, чтобы дурью спесь не плодить!" Однако не затем императрица такое делает. Прекрасные ноги у ней, так что мужской костюм выделяет их стройность. К тому же у других женщин всякий изъян хорошо виден: кривизна в коленях или чрезмерность в теле...

Она огляделась незаметно. Мужчины, даже и старики, в платьях и русских сарафанах, истово скакали, уставившись перед собой. Дамы старательно сводили вместе ноги и смотрели ревниво по сторонам. Зато молодые из гвардейцев веселились до упаду, бойко выделявая дамские партии и нарочито вертя бедрами.

Тысячи свечей горели в люстрах и по стенам. Императрица похаживала с разгоряченным лицом, слушая вполуха, что говорил ей мсье Дальон, посланник короля Франции. Он учтиво изгибался, вывертывая плечи, встряхивая головой. Она же без всякой скромности рассматривала костюмы дам, даже пригибалась для того, но каждый раз возвращалась к графу Алексею Григорьевичу. Что венчана с ним она, все знали в подробностях. Граф оставался в своем костюме. Добродушная улыбка не сходила у него с лица, лениво смотрели из-под густых бровей хитрые глаза...

Так же и канцлер стоял в уголке, холодно наблюдая за забавой. Тонкие губы были с надменностью поджаты, и с груди неотступно смотрел на всех великий государь. От этого портрета исходил ветер. Даже пламя свечей было повернуто в одну сторону...

Великий князь выпрыгивал с девицей Карр, с готовностью показывая худые ноги. Кто-то сказал ему, что они у него на еллинский манер, и всякий раз теперь являл он собой Аполлона. Выбрав время, она шепнула, чтобы не открывался столь высоко. Он недовольно фыркнул...

Императрица удалилась с графом Разумовским, за ней и канцлер. Теперь поглядывали на нее с великим князем, чтобы кончить маскарад. Она же не могла приблизиться к мужу в общей толчее, и тут произошло некое событие.

Выдельвая па, граф Сиверс наступил на подол своего платья и полетел к полу во весь свой длинный рост, увлекая и ее за собой. При том он головой опрокинул измайловского капитан-поручика, который танцевал с княжной Гагариной. Тот, разъяренный, вскочил и дернул графа за платье. Бросив танцы, они вместе пошли к выходу, за ними побежали другие.

Она прошла коридором в комнату фрейлин, где было окно во двор. Там толпились люди, слышался шум голосов: при падавшем из окон свете дрались кулаками, как сапожники или матросы, граф с гвардейцем. С обеих сторон поддерживали их криками:

— А ну, наддай, Петруха... Сиверсову-шведу!

— Ты под дых его, Карлушка... Вот так!

Голоса были радостные и незлобивые. Потом все перекрыл знакомый бас:

— Будет вам!

Из темноты выступил князь Репнин. Сиверс с гвардейцем нехотя опустили руки, но все стояли боком друг к другу.

— А теперь поцелуйтесь — и делу венец.

Граф с гвардейцем постояли еще какое-то время, шагнули друг к другу, распахнули руки и расцеловались.

— Вот и славно!

Василий Никитич Репнин пошел в залу, остальные за ним...

Теперь она лежала и думала над тем. Делалось нечто непонятное, противное очевидному смыслу. Ветер дул с грозной, пугающей силой. Тут нельзя было оступиться, и она стала отгадывать...

Так произошло с императрицей. У той вспыхивало нечто в глазах, и она начинала ругаться без повода и несправедливо. Вдруг принималась считать ее долги и укоряла, что завела непотребную дружбу с прислугой. Сначала она бралась объяснять, приводила доводы, показывала счета. Но тут-то и разражалась буря: летело на пол что под рукой, императрица громко кричала русскую многословную брань, а в лице при том выражалось победительное торжество.

Она стала внимательно наблюдать, как вели себя при таком деле русские. Когда в очередной раз императрица придралась к тому, что много верхом на лошади ездит, она опустила глаза и тихо сказала: "Виновата, матушка!"

Сама не ждала она, что такое произойдет. Императрица, готовая бушевать, осталась с открытым ртом. Даже растерянность была у нее в глазах. Потом молча пошла от нее, а у двери оглянулась с опаской.

И после того императрица бранилась, но только она принимала послушный вид, сразу замолкала. Что-то непонятно русское было в том... Как-то в Царском Селе, гуляя в одиночестве у рва при задних воротах, она услышала женский плач. Подойдя от кустов к кордегардии, она заглянула через открытое окно и увидела вдруг императрицу. Та сидела на дубовой скамье, неприбранная, и что-то рассказывала, горько всхлипывая при этом. Солдат из стариков с пышными усами молча слушал, покачивая головой.

— Ты вот что, Лизавета. Уж за чьи грехи, но бог тебе дитя не дал, потому маешься, — сказал он сурово и вздохнул. — Такова уж доля сиротская, бабе без дитя. Ты лучше выпей, полегчает!

Императрица выпила из кружки, заела хлебом. Такого не разрешил бы себе и младший офицер в Штеттине. А на дню ее величество по три и четыре раза меняла платья и била портниху, что мало бриллиантов к ним навешивает.

К тому же непонятному относилась и история с Сиверсом. Хоть тот и не говорил еще чисто по-русски, но дрались с ним, считая за своего. С чужим бы шведом или немцем такой бы простоты не допустили...

Все она делала правильно: с великим прилежанием учила язык и так же радиво посещала церковь. Но то была лишь поверхность дела, где-то в глубине таилось сокровенное. В храме она смотрела по сторонам, стараясь добросовестно привести себя к русскому пониманию бога...

О некоей природной русской особенности разговаривал с ней отец Симон Тодорский, бывший сам здесь пришелец.

— Тот граф Сиверс, подобно мне, вовсе уже русским считается. Его признали сразу, только пока кличку "швед" оставили. Не был бы он графом, то стал бы уже Шведовым, а в сыновьях и внуках вовсе бы забыли, откуда явился. — Иерей по своей привычке, утверждая что-то, твердо положил руку на стол. — Нету в русских презрения али высокомерия к иностранцам. Если человек душою честный, то быстро делается своим. Множество тут из немецких земель и Поморья, от шведских да датских командоров, князя от Литвы и цари с Кавказа. Есть даже с черной кожей и именем Ганнибал, артиллерийский генерал, родом от эфиопских владык из четвертого колена Иудова, что от царицы Савской. Он-то Кронштадт строил по повелению царя, а теперь комендантом в Ревеле. Они все уже русские без различия.

И одновременно лишь и разговору, что об иностранцах. Коли об Бироне, то все правда. Но если блудливо да злопакостно шипят из углов, то верно, что своровать чего-то хотят. У русских про то говорят: "Держите вора!"

А что нет в русском характере от Хама идущего

человеконенавистничества, то лучший пример тому государыня. Не найдешь больше ее герольда русского патриотизма. Только Петр Грюнштейн, саксонский еврей и русский гренадер, внес на руках в Зимний дворец дочь Петра Великого. За что от нее самолично получил генеральский чин и имение почти в тысячу душ — втрое больше прочей лейб-компании.

Она не спрашивала ничего при таких разговорах, только внимательно слушала. Будто отвечая ее мыслям, отец Симон Тодорский с убежденностью сводил большие руки перед грудью:

— Даже и татары, что три века угнетали, теперь здесь свои. Вон князья русские оттуда: Юсуповы да Касимовичи. А в мужиках так и понятия нету той ксенофобии. Татаринომ только по исторической памяти величают плохого человека...

Да, это было очевидно. А с Грюнштейном, которого видела она в казарме Преображенского полка, так из-за другого произошла летом история. На ночной дороге где-то возле Нежина столкнулись его лейб-компанцы с неким Климовичем, оказавшимся женатым на сестрице графа Алексея Григорьевича Разумовского. Говорили здесь, что этот Климович: ехавший от тещи и с женой своей Агафьей Григорьевной, стал кричать, чтобы сошли с дороги и пропустили его, поскольку он родня государыни. Услышавши то, Грюнштейн будто бы ответил, что он головы не жалел для чести государыниной послужить, тогда как Алешка Разумовский из певчих был взят к государыне и каким местом служит при том?

На то Климович продолжал всячески обзывать лейб-компанского командира. Тот поначалу сбил с лошади слугу его, затем усмехнулся и, перекрестившись, самого Климовича сбросил с кареты и бил палкой. А отпустил только после униженной просьбы жены Климовича.

Так про это здесь рассказывали. Однако с дороги Грюнштейн был взят в Тайную канцелярию. Там по всему получилось, что это он напал на Климовича, бил и бесчестил того и даже к матери Разумовских приехал с угрозами. От самого графа Алексея Григорьевича стало известно, что прежде приходил к нему Грюнштейн со своими людьми и грозился, будто убьет генерал-прокурора Трубецкого. Только следователи

Ушаков да Александр Шувалов стороной донесли императрице, что преображенцы пришли в волнение. Коль допустить пытку, то может произойти многое. По слову императрицы Петра Грюнштейна с женой и сыном сослали в Устюг, сохранив при том права и имение...

Камердинер Тимофей Евреинов убирал ей волосы. Голова немного болела от вчерашнего маскарада, ласковые движения рук мастера создавали легкий ветерок возле ушей. В зеркале была видна мадемуазель Кошелева, с тяжелым вниманием смотревшая в окно. Две другие ее фрейлины: маленькая Румянцева и младшая Гагарина тихо ссорились между собой то по-французски, то по-русски. Румянцева уже вслух выкрикнула ругательство, которое часто употребляла императрица, выдернула из рук Гагариной коробочку с румянами. Эта живая девочка всегда выходила победительницей. Маленькая Румянцева забиралась к ней в постель и кусала от избытка чувств...

Что-то непонятное творилось на половине великого князя. Всегда оттуда исходил какой-нибудь шум. Чаще всего то были команды, что производил тот над куклами и лакеями. Два часа в день отводилось музыке, и сам он истово играл на скрипке, не зная нот. Каждый день бывали там ссоры со слугами и камерпажами, и громче всех слышался его голос. Однако теперь происходило что-то выходящее из ряда. Дикий утробный вой не останавливался ни на минуту. Камердинер как раз закончил уборку головы, и она пошла на половину мужа...

Даже руки опустились у нее от увиденного. Куклы и ружья валялись в стороне. Там же лежала и скрипка. Посредине комнаты висела подвязанная к крюку собака, и здоровенный лакей размеренно бил ее хлыстом. Великий князь с серьезностью считал удары, отмечая их в особой синей тетради, сделанной для регистрации военных забав. Огромная белая, с черными пятнами собака, которую подарил ему на прошлой неделе английский посланник, была при последнем издыхании. Тоскливый жуткий стон вырывался из ее горла, пена капала на пол, делая кровавую лужу...

— Всякий унтер-офицер или офицер, оставивший пост, подлежит военному суду и казни в течение суток! — закричал ей по-немецки великий князь. В глазах его было торжество.

— Это же... собака! — заметила она, не давая вида чувствам.

Он принялся объяснять ей, что собака произведена в штык-юнкеры, а на сегодняшнюю ночь назначена была в дежурство на гауптвахту, откуда убежала самовольно. Суд был по всем правилам, согласно церемониалу, принятому в прусской, а также голштинской и прочих мировых армиях. Члены суда и он как председатель утвердили приговор...

Она оглянулась. Лакеи в специально сшитой для них форме голштинских офицеров стояли с тупым видом. Шведский драгун Ромберг, учивший князя кавалерийской езде, держал в руке фельдмаршальский жезл. В углу, за поваленными стульями, виднелись пустые бутылки.

— О, я сейчас покажу вам, как это делается... Стройся, на караул!

Лакеи и прочие участники начали становиться в линию. Великий князь, бросив собаку, принялся проверять ровность рядов. Она извинилась и сказала, что у нее болит голова. Муж раздраженно крикнул что-то ей вдогонку. Послышался угодливый лакейский смех...

Она ничего не могла с собой поделать. Слезы текли из глаз, и задержать их было невозможно. Это началось с ней через месяц после свадьбы. Всякий раз после ухода мужа что-то поднималось из глубины, прилиvalo к груди, волнующей истомой наполняло тело. Потом начинало гореть лицо, и слезы лились помимо желания. Единственное, что ей удавалось, это плакать беззвучно...

Она не успела обтереть лицо. Мадам Чоглокова, только что назначенная гофмейстерина ее свиты, вошла крупным решительным шагом.

— Вы опять плачете, ваше высочество...

Повисла тишина. Лишь маленькая Румянцева сделала к ней шагок, как бы пытаясь защитить. Она же только молча прижала платочек к глазам.

— Ее величество уже имели повод сказать вам, что плачут в первый же год замужества лишь женщины, не питающие должного чувства к своим мужьям, если до сих пор это подтверждаете. Чему же удивляться, если до сих пор не видно результатов совместной жизни вашего высочества с супругом...

— Ах! — протестующе подняла руки.

— Да, да, сударыня... Подлинно добродетельная, любящая женщина всегда найдет методу добиться от супруга высокого пламени, высекающего искры жизни. Это по вашей вине у России нет наследника престола ее великих государей!

Как уже бывало в таких случаях, она вдруг успокоилась. Удивительно скромнен был лоб на красивом лице мадам Чоглоковой, что приходилась родственницей императрице. Весь двор знал об ее необыкновенной и действительной добродетельности, несмотря на молодой возраст и долгое отсутствие мужа, посланного с поручением в Вену...

Мадам Чоглокова ушла. Она встала, спокойным движением достала с приставки книгу с сиреневым переплетом, указала глазами фрейлинам, что станет читать. Все ушли, кроме девицы Кошелевой. Было прямо сказано императрицею, что никак нельзя оставаться великой княгине одной даже и при походе в укромное место.

Кошелева смотрела со вниманием в окно. Шестилетняя девочка-калмычка в желтых шароварах, подаренная государыней, примостилась у ног. Она открыла на закладке книгу...

Каменные квадраты укладывались один к другому. С великой страстью и красотой точности занимали они свое место, покрывая мир до горизонта. Малейшей неправильности здесь не было места. Обнаженные, изогнутые в высоком чувстве тела были точно рассчитаны неким строгим, не знающим колебаний рассудком. Белый мрамор светился в навечно застывшем мгновении. Без этого он был бы простым камнем...

Такое видение сразу являлось к ней, как только раскрывала книгу. "Рассуждения о причинах величия и упадка римлян" барона де ла Бред де Секонда, которого назвал ей граф Гиллерборг, она читала уже четвертый месяц. Приходили в ум булыжники мос-

товой в прямых кварталах этого города. Великий царь-строитель утверждал право на вход сего народа в историю. Синее пламя высекали из гранита ряды конной гвардии. Все становилось ясно. Но что тогда этот ветер, который несет ее?..

Так или иначе, она увидела однажды свою звезду в синем полуденном небе.

В положенный час она обедала с великим князем, своим супругом, которого знала еще с детских лет по дому их дяди-епископа Любекского в замке Эйтина. За столом в обеденной зале сидели статс-дама Чоглокова, обергофмейстер великокняжеского двора князь Репнин, а также высокородные дамы и кавалеры. Великий князь громко рассказывал, как много лет тому, будучи еще наследным принцем Гольштейна, по поручению герцога отбил нападение вооруженного отряда на город. Выходило по всему, что то знаменитое сражение он выиграл шести лет от роду. Встав от стола, великий князь пошатнулся. Подбежавший камер-паж придал ему равновесие, повел к отдыху...

К вечеру уже она скакала на лошади в манеже у измайловцев вместе с молодой Шуваловой. Слабое солнце золотило мокрый песок. Она научила сочувствующую ей любезницу-графиню ездить по-мужски. Так сидела когда-то в седле графиня Бентинг. На миг явилась ей Каролинхен. Ноги у той плотно обнимали атласную спину жеребца, гордая порочность светила во взгляде...

Она оглянулась: из-за решетки кто-то смотрел на нее. Сердце остановилось, потом забилось с необыкновенной частотой. Буйно падающая со лба прядь волос показалась ей. Сделав аллюрный полукруг, она приблизилась к ограде. Между чугунных стрел стоял совсем простой мужик в русском кафтане с широким курносым лицом. Глаза его смело, с интересом смотрели на нее. И крупно вьющийся русый волос свисал почти до половины лица. Она вдруг улыбнулась ему. И он улыбнулся широко, открыто...

Графиня Шувалова рассказывала ей что-то: смешливо кривила при том личико, точь-в-точь повторяя голос и манеры статс-дамы. Потом предложила, что расскажет императрице о грубости, допус-

каемой к ней при людях. Она только улыбалась в ответ...

Так улыбалась она потом и Чоглоковой, играя с ней и великим князем в "фараон". Четвертым был князь Репнин. Чоглокова резко прибирала к себе деньги, опуская их в сумку под стол. Лишь один раз статс-дама с удивлением посмотрела на нее, но тут же отвлеклась расчетом дежурной ставки. Выигрывая, Чоглокова делалась добрее, а лицо покрывалось будто маслом...

И вечером в театре ей не скучно было рядом с великим князем слушать музыку. Два раза ловила она на себе беспокойный взгляд императрицы и все улыбалась...

II

Канцлер российский Бестужев-Рюмин делал выговор своему доверенному чиновнику. Тот дал в переписку бумагу, коей быть надлежало лишь в одном списке. Дело сие семейное, однако могут произойти движения в Европе, коли известной станет его суть.

Он самолично разорвал другой список и бросил в топку для бумаг. Свой же перечел еще раз. В самый день случившегося скандала было высочайше поручено ему составить правила для знатной дамы, призванной состоять при ея высочестве великой княгине, новообращенной Екатерине Алексеевне. Первым пунктом разумелось усердие к православной вере. Но то лишь оболочка дела, а суть в том, каковыя влияния могут быть на наследника через жену его из Европы. Поскольку отец у нее прусский фельдмаршал, а мать так и вовсе доверенный агент у недругов России, то можно ли допустить для нее почтовое прямое общение? Оттого присутствует здесь пункт: "куда бы ни направилась Ея Высочество, неукоснимо за нею следовать, пресекая всякую фамильярность с дамами и кавалерами, с пажами, слугами и лакеями, особо наблюдая, чтобы не допускали смелости на ухо что-то шептать, письма, цедульки или книги тайно отдавать". Письма же к именинам родительским и рождеству ее высочество обязана только через коллегию иностранных дел сочинять, а к себе лишь может приказать на подписание их приносить.

Таковое наблюдение натурально ведется и за великим князем, да у того все на языке прежде, чем делать что-то приступит. С ним проще: свое родное голштинское откровенно выше русского ставит, рожу корчит при церковной службе, вином людей обливает. Однако все это значения не имеет. При правильном направлении дел столь простой умом государь будет к месту. И не такие на российском корабле плыли, и все равно шел.

Здесь же и сказать верно ничего нельзя. С радостью русский язык учит великая княгиня, посты и говения без пропуска исполняет, благосклонна даже и к прислуге. Но не оказалось бы такое поведение одним расчетом. При пустом муже любомудрая жена может даже всю политику перевесить. Он хоть и грубит ей, а всякую минуту к ней же и прибегает.

Так что правила эти прямую государственную пользу в виду имеют. Но к тому еще особый интерес составляет главный пункт, самолично истолкованный государыней. Поскольку самой великой княгине велено его вслух прочесть, то все совершенство стиля пришлось государыне сюда привлечь... "И понеже при том Ея императорское Высочество достойною супругою дрожайшего нашего племянника, Его императорского Высочества великого князя и наследника империи избрана, и она в нынешнее достоинство императорского высочества не в каком ином виде и надеянии возвышена, как токмо дабы Ея императорское Высочество своим благоразумием, разумом и добродетельми Его императорское Высочество к искренней любви побуждать, сердце его к себе привлечь и тем империи пожеланный наследник и отрасль нашего всевысочайшего императорского дома получена быть могла; а сего без основания взаимной истинной любви и брачной откровенности, а именно без совершенного нраву его угождения, ожидать нельзя: того ради мы к Ея императорскому Высочеству всемилостивейшее надеяние имеем, что она в том рассуждении, что собственное ея счастье и благополучие от того зависят, наилучшее угождение и все возможные способы вяще и вяще употреблять не преминет..."

Только не там государыня ищет, где истина спрятана. Сия цербстская дочь свою пользу преотлично знает, так что и к великому князю со всей возможной

ласковостью обращается. К тому и немецкая твердая порядочность в крови у ней по отцовской, видать, линии. От того и с этой стороны никакого изъяну не наблюдается в поведении. Напрасно государыня велела вдруг лейб-компанских камер-пажей отстранить от молодого двора, поскольку ничего там и не было, одни сплетни. Тут сердце взаперти держится, и тем опаснее может впереди оказаться.

Также и в скандале, что произошел, показана была от великой княгини добрая порядочность и скромность. Его высочество коловоротом просверлил от себя отверстие к тетке и наблюдал, как императрица обедает с графом Разумовским. Добро бы еще сам, так он кавалеров и фрейлин своего двора пригласил смотреть. Одна великая княгиня отказалась от такого кошунства.

Ее императорское величество только что за волосы не таскала своего именитого племянника. Должно быть, не только обед можно было увидеть в ту дырку. К тому же не один граф Алексей Григорьевич, а кто-то другой мог там случаем оказаться. Сказывают нечто уже о молодом Иване Ивановиче Шувалове. Поэтому всем досталось от красавицы государыни, лишь великая княгиня оказалась чистой...

А что ежели и впрямь здесь откровенность чувств? Расчет и порядок при том лишь помогают делу. Только как все это придется к русскому двору?

III

Шум да ругательства разбудили подпоручика Ростовцева-Марьиного. Одевшись и пристегнув саблю, он вышел в ночь. Три дома тут стояло и вышка из жердей. Вокруг еще насыпан вал. На тридцать или сорок верст один от другого стояли такие посты.

В неверном свете горящей на палке пакли качались людские и конские тени. Пока что-то выяснилось, пришло утро. Пятеро сидели связанные посредине двора: двое бородатых русских казаков, татарин с бритой головой, одноглазый киргиз и какой-то человек непонятного виду в солдатской куртке. Татарин кричал пронзительно и все ругался по-русски, по-татарски, как-то еще. В стороне, у караульного дома,

жались к стенке девочки в киргизском платье. В черных глазах их стоял испуг.

Оказалось, драгунский пикет на линии перенял жигарей, что возвращались с добычей. Немирные киргизы да хивинцы приходили на эту сторону, уволакивали людишек без разбору и продавали потом дальше в Персию. А к ним тоже ходили на промысел всякие люди. Жигари там тем и занимались: подпаливали киргизское кочевье и тащили что придется. Этих пятерых приметили, когда уже возвращались из степи. Скота или лошадей они с собой не имели, но везли в одеялах четырех девок-киргизок.

Татарин все кричал.

— Чего это он? — спросил у толмача-ногайца бывший с драгунами офицер.

— Говорит: дьявол-мырза разрешил!

— Какой дьявол-мырза? — удивился офицер.

— Тевкелев-генерал. Так его здесь зовут.

— Что же, генерал Тевкелев позволил по степи разбойничать? — вскричал офицер.

Толмач посмотрел на него с недоумением, развел руки:

— Разбойничать не разрешал. Девка разрешал возить — денюга платить!

Пришел старый вахмистр, ведущий тут канцелярию, и все прояснилось. Еще от Анны Иоанновны — царицы — было указано: для того-де, чтобы приспособить к постоянному житью при заводах и рудниках присланных в работы мужиков, разрешено покупать для них в России души женского полу. Также кто из охочих людей найдет и представит девку-сироту из инородцев, чтобы без изъяна была и не меньше пятнадцати лет, то выдать ему от казны пятнадцать рублей серебром.

— Как же узнать, подлинная сирота та девка или имеет кого из родных? — не унимался офицер.

— Трое для того должны свидетельствовать, и чтобы кто-то от инородцев, — равнодушно пояснил вахмистр.

Офицер оглянулся на одноглазого киргиза. Тот сидел неподвижно, вроде бы спал. Казаки тоже спокойно ожидали конца дела. Их развязали, и они теперь ели деревянными ложками муку-толкан, запаренную кипятком.

— Не тревожься, барин, они теперь уж точно сироты! — усмехнувшись, сказал молодой казак со шрамом возле уха, кивнув на киргизок.

— Все бы так, да только как на ту сторону пойдут, то отсюда, глядишь, русских на продажу прихватят! — пробурчал вахмистр.

— Она смешливая, да такая быстрая. Вроде даже бы и не принцесса. Когда в горелки играли, так скорее всех бегала. Схватит и тут же засмеется, отпустит...

Ростовцев-Марьин слушал, лишившись языка. Драгунский офицер ел сушенную на солнце рыбу, отрывая полоски ее крепкими белыми зубами, и рассказывал.

— Нас, братьев Чернышевых, как лейб-компанских детей, назначили к их высочествам. Камер-пажами это называется. Вроде бы слуги, однако больше для забавы. Великий князь, тот без смысла, больше солдатами нас обряжал да командовал по-немецки. У него еще тряпичных солдат — три сундука. А как ухватит, зло так щиплет, даже синяки на том месте делаются. Только великая княгиня и его развеселит. Так бывало пускались, что до самой государыни шум доходил!

— А какие у ней глаза? — тихо спросил Ростовцев-Марьин.

— У кого? — не понял офицер.

— У великой княгини.

— Обыкновенные глаза, как у всех, — офицер с удивлением посмотрел на него.

— Что ж потом случилось?

Тот нахмурился, подергал рыжие волосы над губой, махнул рукой:

— А в один день вдруг нас забрали, и под арест. Все спрашивали, не было ли чего особого от ее высочества к брату двоюродному Андрею. Ничего там и не было, одна игра. Великая княгиня такая, что и тени не позволит на себя упасть, а не то чтобы что. И ко всякому русскому очень привержена: все по-русски с нами училась говорить, и в церкви ни одной службы не пропустит. За то великий князь ее корил: мол, глупость все то одна. Ну, а с нами как получилось, то это противники есть у ее высочества. — Офицер нахло-

нился к нему, заговорил тихо. — Канцлер главный Бестужев-Рюмин не желает ее в принцессах русских видеть. Говорят на нее каждый день всякое государыне. А она верная и дружбу почитает. В слободку, где под арестом мы содержались, сама даже тайно приезжала. Денег дала и еще кое-чем помогла. Гнева государынина не убоялась... А нас после того сюда, в киргизскую Украину!

К обеду драгуны с жигарями вместе отправились дальше. Те уже ехали вольно. Четырех девок киргизских везли в одеялах...

Подпоручик Ростовцев-Марьин стоял на валу и смотрел им вслед, пока не скрылись в горячей мгле. Когда не стало ничего уже видно, он посмотрел с вала вниз. От текущей в полуверсте речки вверх к посту лепились строения: корявые русские избы с озерным камышом вместо соломы на крышах, татарские мазанки, киргизские да башкирские юрты, какие-то шалаша. Некоторые дворы были огорожены, и росло там уже три-четыре деревца. У речки виднелись огороды, желтел хлебный клин. За речкой паслись коровы...

Он сошел тропинкой с вала, пошел к речке. От улицы дома загорожены были плетнями из ивняка, камышом. Во дворах одинаково сушились круги кизяка. Женщины поглядывали на него из-под опущенных на лоб платков, и трудно было увидеть, русские то или какие другие лица. Наверно, и тут мужикам привозили жен по пятнадцати рублей.

Все смешалось у него в голове: принцесса с золотыми глазами, явившаяся в снежном лесу, вдруг бегала в горелки и звонко кричала по-русски. На плывущем корабле за бочками все то же говорили парень с татарской девкой. Свистели в ночи жигари, промышляя людей на обе стороны. Лепились к постам дворы, и не разобрать уже было, какой народ там живет...

Ростовцев-Марьин тронул свой лоб, горячий от солнца, и вспомнил, что забыл надеть шапку. Сухой жесткий ветер трепал волосы, набрасывая их на глаза. Что же, про это самое у вяземского дворянина Астафия Коробова в записках говорится... "И то Руси ис-

торией приказано: быть объединительницей народов, но только муза сия не пасторали сочиняет, а в кровавой росе лик свой являет человечеству. Не напрасно она женского рода. Евино проклятие на ней, и в муках рождает назначенный плод...”

Подпоручик Ростовцев-Марьин задумчиво стоял у берега. К началу лета речка пересохла и сейчас тянулась через степь обособленными мутными озерами. Домашние утки вперемешку с дикими плавали по открытой воде...

ШЕСТАЯ ГЛАВА

I

Опять она мучительно провела ночь. Всякий раз это происходило, когда являлся к ней с вечера великий князь. Он отрывисто говорил что-то, подрагивал ногой. Потом начинал жаться к ней влажным телом, мелко дрожал, всхлипывал. Она делала вид, чтобы ему было удобней, лишь говорить с ним не могла. Потом он сразу вдруг успокаивался, поджимал худые колени под подбородок и засыпал, обмачивая губами край подушки...

Она привыкла к тому, но долго не могла заснуть: опускала ноги к полу, открывалась вся, охлаждая горевшее тело. Сладкая горечь стояла во рту и никак не успокаивалась грудь. Едва впадала она в сон, как подхватывали ее незримые руки, несли между присыпанных снегом ветвей. Даже дыхание чье-то слышала она у своего лица, все ближе было оно... Она просыпалась и беззвучно плакала...

Великий князь, как обыкновенно, убежал среди ночи. Она смотрела через прикрытые веки, как он с виноватой блудливостью оглядывался, шел от нее, высоко поднимая голые ноги. Она лишь так заставляла себя внутри называть его: "Великий князь". В том была ее звезда.

К утру она заснула и пробудилась точно в назначенный час. Волосы ей прибрал Шкурин взамен отнятого у ней Евреинова. То был болезненный удар, когда отстранили от нее верного камердинера. Так делалось всякий раз: как только привыкала она к ко-

му-то, сразу следовала замена. И не императрица, как видно, была причиной, а человек с тонкими губами и портретом великого царя на груди...

Долго ждали к завтраку великого князя, что во-зился со своими собаками. Воротившийся из Вены Чоглоков сидел на месте князя Репнина. Важное, полнокровное лицо его с выкаченными глазами не допускало улыбки. Он поочередно рассматривал фрейлин, а боготворившая мужа мадам Чоглокова млела вся рядом, не отрываясь от него, как от солнца. Камергеры при великом князе — оба Салтыковы да Лев Нарышкин — сидели при его месте справа. Юный Нарышкин скорчил несусветную рожу, и она рассмеялась. Чоглокова оторвалась от мужа и строго посмотрела на нее...

А после завтрака произошла неприятность. Мадам Чоглокова, со значительностью поджав губы, пригласила ее пройти назад в свои комнаты. Муж ее, тайный советник и гофмейстер Чоглоков, в свою очередь, повел к себе великого князя. Неизвестный ей седой человек с белыми ухоженными руками ждал ее прямо в спальнной зале. Тут же находилась и высокая женщина с туго прикрученными буклями на голове.

— Во исполнение высочайшей воли особый врач сделает вам осмотр! — коротко объявила ей мадам Чоглокова.

И в прошлый, и позапрошлый год все был о том разговор. Императрица уже прямо допрашивала ее, как подробно происходит у ней все с великим князем. Блестя глазами, давала ей стыдные советы: "Ты его, лапочку, понуждай... Чтобы кровь у него погорячела!"

— О, вашему высочеству это не причинит особого беспокойства!

Французский врач смотрел ее с ловкой галантностью, занимая разговором. Придворная повитуха молчала, но руки внимательно и бесстыдно ощупывали тело, налитую грудь. Потом улыбнулась ей ободряюще:

— Здорова ты, государыня!

Будто на некий выступ теперь наткнулась она. Такое случилось когда-то: каретные сани задели в полете за край избы. Она впервые ехала тогда с матерью в Москву. Бревна тут же растащили, и сани полетели дальше...

Она приказала себе не терять спокойной ровности. Великий князь, точно пудель, все отряхивался после тайного врачебного осмотра. Взяв его за руку, она стала ходить по комнатам взад и вперед. Тот уже через минуту засиял, стал рассказывать, как в подаренном ему Ораниенбауме построит себе капуцинский монастырь и вместе со всем двором и с ней будут они ходить, как монахи, в сандалиях. Ездить станут на ослах, доить коров, играть на рожке.

Тут он увидел в окно принцессу Курляндскую, взятую ко двору дочь ссыльного Бирона, и, оставив разговор на полуслове, побежал к ней. На прошлой неделе он сказал, что любит принцессу, и советовался, как лучше расставить сети, чтобы заполучить желаемое. Хитрая мышка почуяла, что многое может извлечь от такой дружбы, и своей убогой милливидностью пленяла сего дурачка...

И сразу в другой мир перешла она. В невероятной связи гремели там речи Цицерона, лезли на стены Иерусалима рыцари с пламенными лицами, с насмешливой доказательностью обнажалось несовершенство человеческих обществ. Бесстыдные тайности совершались здесь прямо, с влекущей простотой. К платью был сделан карман для книги, и доставить ее можно было в начале и в середине дня, как придется...

Возвращалась назад из этого призрачного и вместе реального мира, она с хозяйственной внимательностью осматривала комод и раскладной стол с амурами на боках, купленный на мебельном дворе штеттинского немца Шварца. Чтобы не возить по здешнему обычаю из зимнего дворца в летний, а также в Ораниенбаум или Петергоф мебель с зеркалами и посудой, она наметила постепенно обставить там и здесь свои комнаты постоянной мебелью. Так ничего не ломалось от перевозки, и выходило дешевле.

Покупкой она осталась довольна. Стол был сделан на французский манер и хорошо пришелся к их общей с великим князем гостиной зале. Добротный немецкий комод она поставила в спальней.

Затем она рассматривала две прекрасные материи, присланные матерью из Парижа. С ней смотрели фрейлины и весь ее двор. Не было лишь Чогло-

ковой. Налюбовавшись, она объявила, что оба этих куска лично поднесет ее величеству. После чего свернула их и отдала камердинеру со строгим приказом никому не проговориться о том...

В обед все еще не было мадам Чоглоковой, которая утром ушла с врачами к императрице. Она явилась только ко второй перемене блюд, и с ней младший Салтыков, чем-то озабоченный.

Чоглокова сидела с тем же значительным видом. Лев Нарышкин сделал женское лицо без всякой мысли, напустил на него важность, даже лоб как-то немислимо скосил. До того похоже все получилось, что пришлось наклониться к тарелке, чтобы удержать смех. И вдруг она встретила чей-то особенный внимательный взгляд. То был младший Салтыков...

Некая молния пробежала в ней. Смутное ночное томление вернулось на миг, чуть даже закружилась голова. Щеки тоже горели...

Еще раз за обедом она посмотрела в его сторону. Салтыков улыбнулся ей глазами, чуть кивнул. Обычно безразличное, красивое лицо его приглашающе открылось ей навстречу. Она невольно оглянулась на Чоглокову. Та сидела с прежним видом. Великий князь громко ругал за что-то лакея, размахивая локтем...

Будто укрываясь от невидимого ветра, потянула она книгу из кармана. И снова проявился мир в обязательном единстве. История римлян становилась первоосновой. Плотны пригнанные каменные квадраты знаменовали незыблемый порядок. Разум и чувства могли явиться лишь внутри их четких граней. "Всеобщая история Германии" отца Барра подтверждала правило. Варварство послушно укладывалось в уготованные формы. Возникал Штеттин, и Цербст, и Эйтин с прямоугольной похожестью улиц, домов, вытянутых к небу храмов.

Пьянящее солнце согревало камень у некоего маркиза. В ряд шли порочная и прекрасная наваррская королева, поединки, Гизы и герцог Орлеанский. Кавалеры умирали с шуткой на устах, и дамы с той же дерзостью награждали их за храбрость. Тут же явилась спрятанная на самое дно ящика в шкафу книга ночных сновидений. Пастушок Дафнис обни-

мал подругу свою Хлою, не ведая, что есть тому реальное продолжение. Милосердная соседка обучала его сему сладостному искусству, которое на всякой странице было с великим тщанием изображено художником. Также и Селадон не смотрел в сторону трех голых нимф, что каждая в своей позе ждали от него награды. Все тут, даже вера, так или иначе не выходило за грань квадрата, который угадывала она еще в Цербсте, познавая вместе с мадемуазель Кардель благородного Расина...

Наваррский герой из всех влек ее. Париж стоил мессы, и оттого громко стучало у ней сердце. Полнокровность чувства по своему желанию устанавливала общее счастье и справедливость. Сила воли, соединенная с просвещенной властью, устраивала будущее...

Особенный французский словарь подтверждал, что как кометы не предвещают людям несчастья, так и на веру надлежит лишь опереться для достижения благой цели. Также и описавший римлян барон де ла Бред де Секонда, чье имя Монтестье, утверждал материального человека в середине мироздания. А известный господин Вольтер, числившийся почетно в Российской академии, вовсе отвергал бессмертную душу у человека...

Тому противоречили письма к своим детям мадам Савиньи, чье совершенство чувств не могло исчезнуть из мира. И еще... еще некий ветер, о котором ничего не упоминалось у господина Вольтера...

Мадам Чоглокова говорила с доверительностью... О, то от бога драгоценный дар! — порядочность у женщины. Ей самой он в том не отказал и наградил по заслуге, поскольку и муж ее Чоглоков высокими достоинствами отмечен, и от государыни к ней доверие. Святыню брака следует блюсти неукоснительно, однако же не своей только воле подчинен человек. И бывает обязанность, как у Юдифи, идущей в шатер к Олоферну для высшей цели...

Она слушала и думала о том, к чему вдруг такой разговор. От себя Чоглокова не в силах была что-нибудь придумать. Какую-то ловушку снова строят здесь для нее...

Вызванный парикмахер мсье Лакри обычно помогал ей приготовиться к балу, но сегодня она все делала себе сама. Лиф был на ней из белого гродетуру, что яснее выделяло воздушность талии, и юбка из той же материи. Темные густые волосы она зачесала назад и перевязала красной лентой, так что образовался "лисий хвост". На голову приколола большой розан и такой же еще — к корсету. Шею у ней обвивал невесомый газовый шарф, манжеты и передник были из того же газу. Почему-то все делала она сегодня с одухотворенностью...

И свечи сияли в зале ярче обычного.

— Какая простота, боже!.. Но почему нет мушки?

Императрица достала из пояса собственную коробочку с мушками, выбрала одну и прилепила ей повыше губы. Дамы, тесня друг друга, высказывали свое восхищение. По блеску в их глазах можно было видеть, что это правда. Она кружилась в танце, видя при пересмене то одно, то другое лицо, и все искала кого-то взглядом...

Лишь в перерыве она ненадолго вышла из своего необыкновенного состояния. Великий князь, будто потерявшая опору лошадь, стоял, расставив ноги, с посланником от венского двора. Лицо у него еще больше удлинялось, подбородок кривился в капризном недоумении. Так всегда происходило, когда надо было решать нечто серьезное. Она знала, о чем речь...

Еще и прямым государем Гольштейна состоял великий князь после того, как дядя — епископ Любекский — сделался с помощью российской императрицы наследником шведской короны. Только без присмотра там такие совершались дела, что уже и копейки не осталось в казне, чтобы платить сторожу у маяка. Она сама со счетами в руках сидела вместе с прибывшим оттуда министром Пехлином. Тот, маленький, жирный, с умными глазами, молчал при великом князе, ей же говорил всю правду. Императрица дала некую сумму денег, чтобы поправить голштинские дела, но великий князь их пустил на свои какие-то бессмысленные нужды. Четвертый год все длилась негодия: променять Гольштейн на Ольденбург. Великому князю рассыпали приманки, и он уже клонился к обмену.

Да только не просто все было. То справедливо, что

прибыль Ольденбурга даст большую и о долгах не придется думать. Но карта, взятая от академии, стояла у ней перед глазами. Ольденбург там был на другом краю, где-то в середине Ганновера. А Гольштейн лежал проходною дорогою от моря к морю, и в случае нужды Кильская гавань очень будет России к пользе как против шведов, так и в ущерб Дании. Для чего-то как раз Гольштейн из всей Германии избрал великий царь, чтобы отдать туда замуж свою дочь...

Она подошла к австрийскому посланнику и, согнав улыбку с лица, спросила прямо:

— Вы, любезный граф, как близкий друг, сами скажите: есть ли мотив будущему императору российскому к такому обмену?

Посланник тоже сделался серьезным, наклонил седеющую голову:

— Как полномочный посол, я не имею по этому поводу каких-либо предписаний от своего правительства, как граф Бернис скажу откровенно, что вы правы.

Отходя и снова уже улыбаясь, она слышала, как посланник говорил великому князю:

— Вашему высочеству могу одно лишь советовать, слушайтесь своей супруги. Она здраво о том судит...

Вдруг догадавшись, кого весь вечер ищет глазами, она остановилась посредине зала. Все лицо у нее горело. Следовало обдумать происходящее с ней. Она пошла в сторону, остановилась одна возле колонны. К ней шла императрица и еще издали сказала:

— Благодарю вас, милая, за прекрасную материю. Розовая превосходно пойдет мне. Но голубую я отослала вам назад. Жестоко будет лишать моего племянника увидеть свою жену в обворожительном платье, какое может из нее получиться!..

От императрицы пахло анжуйским вином, а она ничего не понимала. Про что бы это могла идти речь? Она присела плавно и вдруг вспомнила. Это же про материи, которые хотела подарить императрице. И камердинера предупредила, чтобы молчал...

С неким яростным спокойствием ждала она конца бала. При разезде только спросила Чоглокову, откуда принесли материю к императрице. Та сказала, что

сделала это сама, поскольку шла к ее величеству. А так как знала от камердинера Шкурина, что материя назначена в подарок императрице, то и взяла ее с собой. Чоглокова благодушно повела рукой:

— Государыня соизволила возвратить вашему высочеству один кусок с самыми добрыми пожеланиями!

Она кивнула в ответ на поклон статс-дамы, твердым шагом прошла в конец коридора, где жили слуги, позвала Шкурина. Тот вышел, остановился с испуганным видом. Изо всей силы она хлопнула его сначала по одной, потом по другой щеке:

— А на следующий раз, коли не выполнишь мой приказ и станешь болтать без разрешения, то велю отодрать тебя на конюшне!..

Сделав это, она прошла к себе, бросила ногой пуфетку, посмотрела в зеркало. Даже рот открылся у нее от неожиданности. Прядь волос выбилась из-под развязавшейся ленты и падала на сторону. В глазах стояло спокойное бешенство...

II

Вчера сделалось известно о разговоре их высочеств с неким послом. Прямо и недвоягласно было подтверждено мнение великой княгини, что к пользе императорской российской не менять Голштинию на какую другую марку. То по его настоятельному совету государыня доверила великому князю распоряжаться родительским наследством без всякого вмешательства императорского двора. Как лакмусовая бумага этот выбор выявляет, какой интерес ближе каждому из их высочеств: русский или другой. Правда, что у каждого вопроса есть и обратная сторона. Вот она где Голштиния, да при том в постоянной ссоре с соседями. Коли разброситься по разным концам Европы да лезть всякий раз для того в войну, то и России может не хватить. А к тому же невозможно быть русской Голштинии, так что и не должно тут видеть державного интересу. То лишь ценно, что прямо примыкает к границам империи, остальное можно и уступить. Но делать такое следует ко времени.

А что великая княгиня с такой ревностью блюдет

российский интерес, это хорошо. Пока если не видит далеко, так научится. Главное — то здание продолжать строить, что заложил великий государь. Сия пербстская отрасль годится, как видно, к русской службе...

Великий канцлер был в хорошем настроении. Макнув перо в чернила, он приступил писать заключение "О состоянии русских дел в прочих державах и по границам империи". Первая срочность была оттого, что умер шведский король. Держава сия, что каменной пробкой затыкала русский выход к прочему миру, была выбита великим государем. Однако же последняя война подтвердила, какова угроза еще может исходить оттуда. Сама шведская прыткость достаточно укорочена теперь в Финляндии, да за спиной у них много всего. Франция так прямо здесь свою партию имеет. Даже называют они себя "шляпы", поскольку французскую моду в одежде блюдут. Упование версальского двора на то, что опять сможет шведский король на манер Карла Двенадцатого не слушать парламента. Куда как опасней станет усиленная единством власти Швеция для российского интересу. Потому следует императрице всеми способами поддержать там парламент. А наипаче его патриотическую часть, кои в противовес "шляпам" числят себя "колпаками" и противятся королевскому самодержавию.

То весьма полезно, что королем шведским сделался теперь связанный прямым родством с русским двором прежний голштинский правитель, который приходится дядей сразу великому князю и княгине. Судя по донесению посланника Никиты Панина, новый король не имеет малейшей склонности к государственным делам, но все удовольствие получает в солдатских обрядах. Забавляется ими всякий день с полудня до вечера. Как видно, это природная голштинская страсть — играть в войну с куклами. Граф Никита Иванович так и пишет: "Я говорю — забавляется — для того, что тут не о распространении науки или искусства командующих генералов, но в единых мушкетных приемах упражняются, в чем уповательно и впредь большая часть его царствования обращаться будет. Так что смело сказать возможно, что сей государь своею персоною не будет страшным соседом"

Все бы хорошо, да только женой у сего монарха сестрица прусского короля. Тот не с куклами играет...

Из стопы документов канцлер взял прошлую еще промеморию к венскому двору, принялся переписывать в доклад: "Никак понять не можно, для чего б король прусский в такое время, когда вся Европа вожделенным покоем паки пользуется и ничего неприятельского опасаться не имеет, такие великие военные приготовления, сильные рекрутские наборы, знатное умножение своей армии предпринимает... Легко понять можно, что ежели бы Швеции с помощью Пруссии введение самодержавства удалось, то бы она тогда с Франциею и Пруссиею в главных делах весьма великую инфлуенцию получила вместо того, что Швеция при нынешней форме правительства всегда связанными руки имеет и за весьма слабое и негодное орудие ее союзников признаваема быть может".

Он всегда так делал: из прошлых бумаг переписывал неизменяемую суть, добавляя новые примеры. А с Пруссией, как и раньше с Францией, вовсе порваны теперь все дела. Король Фридрих не оставил надежду взять себе от шведов Померанию, расплатившись русской Лифляндией да Эстляндией. На другую от себя сторону он прямо грозит Саксонии, чей двор единый с Польским королевством, а слабая Австрия никак не сможет сама противостоять этому умному и нещепетильному королю.

Король же прусский настолько в силе себя почувствовал, что уже после российского Гросса перестал к себе допускать наравне с другими. Дело к тому пришло, что когда приглашенный Петербургскою академиею некий астроном собрался с отъездом, то был взят под арест. В вину ему поставлено, что, отправив часть имущества в Россию, послал туда и карты прусских провинций. Также и господину профессору Эйлеру, знаменитому в целом мире, тайно было сказано не возвращаться в Россию. Запрет на возвращение под угрозой военного суда сделан даже остзейским дворянам на прусской службе — прямым российским подданным. Дело тут может кончиться лишь решительным действием.

Далее шли дела польские... "Государство, устройство которого таково, что добро находит всегда пре-

пятствия, а зло никогда не может быть отвращено, напоследок должно само собой разложиться. На таком гибельном пути находится теперь и Польская республика: ее вольность представляет только способ, которым враги ее пользуются, чтоб препятствовать всему для нее выгодному и полезному". Эти слова особо у него записаны, и в том Брюль, кабинет-министр польско-саксонский, свою правду понимает. Соединенный трон лишь в Саксонии какую-то значимость имеет, а для Польши все заключено в сейме. По вздорности характера поляки к такому абсурду любимую свою вольность привели, что если один пан скажет "нет!", то вся Польша ничего не может сделать. Сей постулат "Liberum veto" никак не даст этому горделивому народу рогов для бодания, что непременно к пользе российской. Не очень давно еще они и в Москву забирались.

Посему надлежит новому посланнику российскому Гроссу, только что передвинутому туда из Пруссии, всеми силами не допускать уничтожения сего "Liberum veto". Король Август, хоть и русской поддержке обязан у себя на троне, тем не менее пусть остается в прежнем своем положении. А что там партии обозначаются, то поддерживать из них "фамилию", как зовут князей Чарторыйских, вместе с родственными ей Понятовскими. Поскольку выбрали себе российскую опору, то всячески обнадеживать их, в том числе и деньгами. Тому же коронному канцлеру Чарторыйскому следует пожаловать один орден святого Андрея, тогда как брату его — канцлеру литовскому — пенсию в несколько тысяч рублей, поскольку обременен многочисленным семейством.

На предстоящем же сейме, коли удастся его собрать, всенепременно домогаться, чтоб признание императорского титула русских государей внесено было в их конституцию. Если будут затруднения относительно слова "всероссийская", то можно предположить, что императрица довольна будет и старым титулом: всея Великие и Малые и Белые России...

И в делах турецких та же обязательная преемственность от Петра Великого. По смерти Адриана Неплюева там — поверенный секунд-майор Обрезков, который десять лет при Неплюеве в помощниках ходил, и все тамошние дела коротко ему известны. От

него сообщение, что имел конференцию с великим визирем. Тот объявил, что миролюбивые чувства султанова величества уже каждому известны: его величество ничего так не желает, как жить в доброй дружбе с императрицею всероссийскою; но, к сожалению, усматривается, что между запорожскими казаками и подданными ему татарами день ото дня распри умножаются и казаки татарам несносные наглости и обиды делают.

Обрезков всеестественно отвечал, что императрица питает те же самые чувства, что и султан, а он как российский поверенный еще прошлой осенью подал блистательной Порте известие о смертоубийствах, пленениях и грабежах, производимых татарами в русской Украине.

Там, в Константинополе, некая пуповина древняя, что связывала еще младенческую Русь с цивилизацией. До срока была перерезана она неверными, и потому так трудны были здесь государственные роды. Все больше и будет перемещаться туда тяжесть российской политики, поскольку в наследство ей досталось соединять Восток с Западом. Серп цареградский на русских крестах.

Посему надлежит указать российскому поверенному, чтобы внушил турецким министрам не чинить войны с грузинцами: пусть все происходит там по своей воле. Также пусть настоятельно советует не мешаться в персидские дела. После смерти Надиршаха там не кончаются раздоры, а Порта все норовит во вред России выйти к Каспийскому морю. К тому же о консуле русском в Крыму надо вести разговор, а от татар пусть присутствует такой человек при кошевой канцелярии у запорожцев. Быстрее от того станут разрешаться споры. Сейчас, в виду столь вредительских действий со стороны прусского короля, никакого нет резону обострять отношения с султаном...

Проходя в присутственную залу к императрице, канцлер Бестужев-Рюмин увидел великую княгиню, что со своими дамами шла от обедни из дворцовой церкви. У нее был торжественно-сосредоточенный вид, но как всегда со спокойной приветливостью ответила на его поклон. И вдруг он почувствовал, как некий мускул сам собой ослабляется в его лице.

— Добрый тебе день, Алексей Петрович! — сказала по-русски великая княгиня.

— И тебе желаю добра и здоровья, ваше высочество! — ответил он с серьезностью.

III

”Муза сия в кровавой росе лик свой являет человечеству...”

Наяву увидел это поручик Ростовцев-Марьин. Рота солдат была прислана к посту из Оренбурга от генерал-губернатора Неплюева. И еще двести ставропольских калмыков от наместника. Дундук-Даши, что смертельно враждовал с киргиз-кайсаками. Подкрепления были выставлены по всей линии, чтобы перенимать мятежных башкирцев. А управлял тут всем генерал Тевкелев, которого звали здесь ”дьявол-мырза”.

Все придумал этот генерал, сам татарского рода. От некоего знатного магометанского лица в Оренбурге было послано письмо к киргиз-кайсацким старшинам, что радостно видеть ему желание умереть за веру, да только башкирцы — народ ненадежный и вероломный. Первою жертвой их как раз и могут сделаться киргиз-кайсаки, если присоединятся к ним в состоявшемся мятеже. К башкирцам же этим лицом было писано, чтобы прекратили бунтовать и молились богу, в чем им не будет чиниться препятствий. Те не послушались, и, пока пришли войска, многие русские, мещерякские да татар-тептярей селения пожгли...

За три дня перед тем по всему северу засветилось зарево. Оно росло, делалось выше, стало видно уже и днем. Горячая пыль, что постоянно висела в здешнем небе, окрасилась в розовый цвет. Горели леса вперемежку со степью. Солдаты ждали на валу, калмыки неподвижно сидели внизу, не отпуская с повода коней.

На четвертый день небо потемнело, стал слышен гром. Раздавался он в одинаковые промежутки времени. Солдаты с заряженными ружьями переступали с ноги на ногу, вздыхали.

— Пушки! — тихо сказал кто-то.

И тут послышался крик: пронзительный, тысячеголосый. Он летел вместе с облаком, быстро приближаясь, нарастая с каждой минутой. Стало возможным уже различать отдельные голоса, стоны, вой, женский плач. И кричали еще лошади: иступленно, совсем как люди.

Все это накатило навстречу залпам с вала, закрутилось на месте и, обтекая пост на обе стороны, понеслось дальше в степь. Бились на земле застреленные лошади, тут и там лежали убитые люди, плакал, не стихая, брошенный ребенок. Башкирцы быстро удалялись вместе со своими табунами, кибитками, семьями. И тогда вдруг пошел дождь: красный от пожара. У поручика Ростовцева-Марьина захватило дух: по высокой траве стекали розовые капли. То и была роса, что сопутствует некой грозной музыке...

”И в том требовании наше состоит, чтобы прогнали от своей орды воров и бунтовщиков из башкирского народа, кои, совершив свои неистовые злодеяния, укрываются ныне подле вас. Помимо милости высочайшей к киргиз-кайсакам, а также следуемой уплаты за поимку бунтовщиков, своей губернаторской властью разрешаю взять себе жен и дочерей и все имение означенных воров и бунтовщиков...”

Генерал Тевкелев, наехавший в пост, самолично рассылал губернаторские грамоты во все концы степи. Всякие люди приезжали к нему. Ростовцев-Марьин узнал одного: то был кривоглазый из пограничных разбойников-жигарей, что воровали киргизских девок для казны по пятнадцати рублей за штуку. Этот тоже повез к киргиз-кайсакам неплюевское письмо...

И снова выстраивались на валу солдаты, только уже на другую сторону. Башкирцы бежали назад не ордой, а кучками и поодиночке. Жен и детей с ними не было, некоторые шли пешком. Генерал Тевкелев, высокий, осанистый, с породным белым лицом, стоял и смотрел, не подавая приказа.

— Дозвольте переловить их, ваше превосходительство! — спросил майор, прибывший с солдатами.

— Пусть идут! — сказал генерал.

На горизонте показались киргиз-кайсацкие отряды. Съезжаясь и разъезжаясь, они догоняли уходив-

ших башкирцев, насакивали на них. Те отбивались и уходили. Дальше поста киргиз-кайсаки не поехали.

Рота ушла в линейную крепость за генералом Тевкелевым, но к концу лета снова вернулась. Майор Прибытков рассказывал за картами с увлечением:

— Сих башкирских мятежников и не ловили. Сами явились толпой в Оренбург к Неплюеву, да еще с ордой родичей. Так, мол, и так: дозвоьте идти на кайсацкую сторону, отнять наших жен и детей. Только Иван Иванович, наблюдая договор с киргиз-кайсаками, сказался больным. Переводчики сами башкирцам все разъяснили: "Нельзя генерал-губернатору давать вам на то позволения, но коли без спросу делаете, то думаем, что не будет с вас взыску".

— Но то же есть прямое подстрекательство! — сказал поручик Ростовцев-Марьин.

Майор, крепкий, черноволосый, с задубелой кожей на лице, с удивлением посмотрел на него. Но не стал спорить, лишь заметил:

— У его превосходительства государственный расчет. От ссоры такой меж башкирцами и кайсаками долгая вражда наступит между ними. Нам же будет спокойствие на линии. То весьма необходимо, когда король прусский придумывает с нами воевать. И часть войск можно будет отобрать отсюда для той войны...

Снова мешалась коварная муза!

Башкирцы теперь что ни день набегали на степь. Там и тут горели кайсацкие кочевья. В том башкирцам помогали и вольные калмыки из-за Волги, давние враги кайсаков. Поступила команда по мере возможности потушить эту междоусобицу. Тем более что меньшая орда кайсацкая могла откочевать от России. С хивинской стороны ее принуждали к этому опять-таки набегам...

Поручик Ростовцев-Марьин с десятком линейных казаков объезжал озера в степи, примечая, нет ли где воюющих башкирцев. Верстах в десяти от поста увидели столб дыма. Поскакали туда, да было уже поздно: сухим бесшумным пламенем горели кайсацкие юрты у самой воды. Пять или шесть их стояло тут раньше. Плотной скатанной шерстью корезилась на

пылающих перекрытиях, испуская черный удушливый дым. Вокруг лежали мертвые люди. Часть их были кайсаки, в том числе женщины, а двое в красных с полоской халатах.

— Хивинцы, — сказал один из казаков. — За людьми на продажу ездят!

Через камыши вели следы. Поскакали по ним. Когда заехали на пригорок, увидели вдали всадников.

— С добычей они, может, и нагоним! — сказал тот же казак.

Пришпорили лошадей. Теперь они неслись по гладкому, как стол, такыру, и расстояние стало сокращаться. Убегавшие повернули к западу, где мутно краснело заходившее солнце.

— Эх, уйдут!

Поручик с тремя казаками отвернул в сторону, поскакал хивинцам наперерез. Быстро начало темнеть. Уже и не видно стало тех, кто ехал впереди, слышно только было тяжелое конское храпение. Так, в полной тьме, и налетел поручик на кого-то, сбил тяжестью своего коня. Тот, взвизгнув, вывернулся, бросил что-то и ускакал. С земли послышался стон. Поручик слез с коня, казак засветил жгут. Завернутая в одеяло и перетянутая ремнями лежала там кайсацкая девка...

Назад ехали шагом. Девку везли отдельно на пойманном коне. Она молчала и только один раз что-то крикнула, когда остановилась у пожарища. Ветер шевелил во тьме догоравшие угли...

Поручик Ростовцев-Марьин разбудил в поселке старуху Макарьевну, что убирала у него, велел присмотреть за девкой. Сам же долго стоял на валу и о чем-то думал...

СЕДЬМАЯ ГЛАВА

I

Некая раздвоенность, присущая ей, в один миг стала зияющей пропастью. И прежде было так. В одной рубашке скакала она по подушкам в Штеттине или Цербсте, одновременно наблюдая себя со стороны. Носивши корсет у искривленного плеча, не

спускала с себя внимательного взгляда. В храме, принимая новую веру, она проверяла себя тысячью глаз, и там явилась ей звезда...

Все было привычно: действие и его оценка, кои разъединялись лишь некой ясно видимой чертой. Теперь по той черте пошла вдруг трещина и быстро делалась шире, пока не стала пропастью...

От того дня все произошло, когда ударила Шкурина, а потом увидела в зеркале выбившуюся из-под ленты прядь волос. В тот вечер она искала Салтыкова...

А он уже не уходил от нее. Живя на островах, к завтраку всегда был здесь. Мужественное, от древних героев лицо его было повернуто исключительно к ней. Он ловил ее взгляд и улыбался солнечно, белыми зубами. Со сладким замиранием ждала она миг, когда садилась на лошадь. Он подставлял под колено ей крепкую теплую ладонь. Обнимая ногами лошадиную спину, она чувствовала все время оставленное от нее тепло и ждала его снова, когда будет слезать с лошади. Стремя в стремя он ехал с ней, рассказывая о том высоком счастье, которое приносит истинная любовь...

Всего остального не существовало. Мадам Чоглокова как-то вдруг перестала смотреть в ее сторону. Происходило это, как видно, от ее поведения с самим Чоглоковым, что тоже принялся подбегать к ней, когда садилась в седло. Только при виде тучного гофмейстера со сливочным блеском в глазах она тут же взлетала на лошадь, а спрыгивала так на другую сторону. Чоглокова оценила это, а сей прекрасный муж перевел очевидное внимание на одну из ее фрейлин.

Салтыков, чтобы отвлечь от них внимательность гофмейстера, твердил во всеуслышанье, что у того великий от бога дар к стихотворчеству, а особо к сочинению музыкальных мадригалов. Чоглоков весьма гордился тем и, уходя в угол, по целым часам пламенно вращал глазами, записывая что-то в тетрадь. Салтыков читал и опять хвалил, поминая Федра с Овидием. Лев Нарышкин уединялся с Чоглоковым и пел с ним во все горло. Второй Салтыков — во всем противность брату — хитро кривил свои порочные губы...

Буря и остров были потом. Пропасть искусно скрывалась ею от себя самой.

— К чему может привести таковая ваша пылкость, Сергей Салтыков? — спросила она у него с твердостью.

— К счастью! — воскликнул он.

— Но у вас есть жена, на которой вы два года тому назад женились по страсти. Про вас говорят, что безумно любите друг друга. Что она скажет об этом?

— Я дорого заплатил за свою слепоту, — ответил он с чувством. — Мрачные думы посещают меня. Лишь вам дано исцелить мою рану!

Тут он упал на колени, и на миг ей показалось, что где-то видела все это. Но впервые не захотелось смотреть на себя со стороны. И руку не отняла у него, когда осыпал ее поцелуями. Он был несчастлив и прекрасен. Томная слабость возникла в ней, разлилась по телу. Во рту сделалось сухо и жарко.

— Но почему вы знаете?.. — прошептала она. — Может быть... мое сердце занято?

И тут стукнула дверь в начале коридора. Она быстро отобрала руку, но он не вставал с колен.

— Скажите хотя бы мне: неужели в вашем сердце занимаю последнее место? — спрашивал он требовательно.

— Нет, нет... — говорила она.

— Значит, есть кто поближе меня?

— Нет...

— Но тогда... тогда будем вместе помнить про то!

Он резко вскочил с колен и пошел от нее к двери.

— Нет... нет! — шептала она.

— Да, да! — уверенно сказал он, прежде чем уйти.

Три дня не являлся он. Они уехали в Ораниенбаум. Она бешено скакала по полям, стреляя бегущих из лесу зайцев, а ночью лежала с открытыми глазами. Его прекрасное лицо стояло перед ней, и все слышалось: "Да, да!.." Чтобы успокоиться, она гладила рукой горячее тело...

Он явился неожиданно, и она даже не посмотрела в его сторону. Готовили собак и лошадей для переправки на остров, где должна была состояться охота. Рваные тучи летели низко над лесом, предвещая

бурю, и все же решили ехать. Всем распоряжался Чоглоков, которому принадлежал остров...

В шлюпке качало, но она сидела прямо, глядя мимо всех. Сойдя на берег, она тут же села на лошадь и поскакала. Он догнал ее уже в лесу, принялся опять говорить о своем чувстве, но она не отвечала. Гнались за оленем, потом сидели в охотничьем доме. Был ветер, и видны были мутно-белые волны в заливе. Плыть обратно не было возможности. Он шептал, что небо благоприятствует его счастью. Что-то болтала княжна Гагарина, фыркала ему в лицо.

Стало совсем темно. Буря ударила в дом, дрогнули бревенчатые стены. Так и не взглянув ни разу на него, она встала, пошла наружу. Деревья гудели где-то сверху, ветер долетал вниз лишь порывами.

Она шла меж краснеющих от невидимого заката стволов, твердо ступая по сухой прошлогодней хвое. Неслышные шаги обозначались следом. У корня огромной сосны она повернулась к нему, протянула руки. Он торопливо бросился вперед, начал расстигать на ней охотничье платье...

Было невозможное. Потеряв себя, она летела в беспредельность. Томительный нескончаемый стон исходил из груди, и ничем уже нельзя было его удержать. Она говорила что-то, захлебываясь, счастливые слезы текли из глаз. И наконец, произошел последний, невероятный вздох... Ах, Каролинхен!.. Снег вдруг покрыл все. Сильные руки несли ее по зимнему лесу, и прядь волос падала на чье-то светлое лицо...

Тяжелые капли дождя косо летели мимо стволов. Он говорил виновато-радостным голосом, а она не могла отыскать булавки, которой пристегивала на груди платье. Потом благодарно сдала ему руку и пошла к дому. Он остался стоять за деревьями.

В доме все было по-прежнему. Лев Нарышкин громко распевал какой-то чоглоковский мадригал. Княжна Гагарина хохотала до упаду. Сам гофмейстер с упоением слушал, кося сладким взором на Кошелеву, что уткнулась неподвижно в окно. Чоглокова сюда не приехала, будучи на сносях. Когда она вошла, только Петр Салтыков посмотрел на нее с тупой хитростью в глазах. Великий князь, сморенный охотой, спал в углу, захватив губами край перчатки...

Загремел гром, и будто море воды сразу обрушилось на крышу. Пришел вымокший Сергей Салтыков, тайно улыбнулся ей от двери. Она опустила глаза...

На другой день из Петергофа приехала императрица, а с ней лишь камергер Иван Иванович Шувалов да близкие дамы. Чоглокову сразу позвали туда, в малый летний дворец. Потом прибежали за ней...

Она шла посыпанной розовым песком аллеей, и все внутри было пусто. Одна мысль не уходила из головы: императрица узнала о том, что произошло на острове. Кто-то донес про то. Скорей всего это мог сделать другой Салтыков. Его подлая улыбка, когда вернулась она из лесу, стояла перед глазами. Значит, звезда, что увидела как-то в ясном дневном небе, ее обманула...

Императрица сидела при открытых стеклянных дверях на морскую сторону. На столе стоял лафитник с вином, апельсины и пирожные. А сбоку, как обычно теперь, еще граненый флакон с французской водкой. Младший Шувалов, великий умник, сопровождавший кругом императрицу, чистил ножиком оранжевый плод. Шкурка, белая изнутри, отслаивалась на все стороны равными лепестками...

— Проходи, матушка! — сказала ей императрица хрипловатым голосом, делая знак, чтобы не употребляла этикету. — Здорова ли?.. Вижу, вижу, что в соку...

Теперь она сидела одна за столом с императрицей. Вставший при входе ее Шувалов куда-то удалился. Бойкие птицы скакали и пели по балюстраде веранды. Синее теплое небо стояло над покойным морем, и где-то там был остров...

Она услышала звон от наливаемого бокала. Императрица подавала его, наполненный вином:

— Знаю, что не пьешь. А ты выпей!

Себе императрица налила водки из флакона, взяла тартинку с рыбой, а ей придвинула очищенный апельсин:

— Ну, бог свят!

Она выпила ровными глотками весь бокал, поставила его на стол. Ее величество проследила за ней, запрокинула голову, занюхала французскую водку рыбой и вдруг деловито спросила:

— Твоя Чоглокова что-то путное говорила тебе?

Она лишь недоуменно свела руки, не понимая о чем речь.

— Ну, так и знала. Женщина умная Марья Симоновна, а тухтя! — Императрица, уже не глядя на нее, снова налила себе водки, выпила залпом, повернулась к ней. — Не дает и тебе бог детей уже который год... Знаю, что не твоя то вина, врачи сказали. Только... только наследник сей державе необходим, вот как!

Ее величество встала, подошла к окну, и она за ней. За окном был лес, уходящий под гору к самому небу

— Слышишь! — Императрица резко повернулась к ней, больно взяла за плечи. — Выбирай... Салтыков или Нарышкин!

Она стояла остолбенелая. От императрицы пахло душистой водкой. Слова доносились будто издали.

— ...Салтыков так лучше, пожалуй. Уж ты, голу-бушка, ему не отказывай. Поумерь-то свою честность...

II

”В Сенате добрых людей всячески мучат и разоряют, сенаторы ворам помогают. Какое в государстве чинится разорение и людям неповинным убийство, воровские сенаторов самовольные власти, чего и в республике не делается! Князь Никита Трубецкой не хранитель — это разоритель наших законов; его мало что написать: генерал — вор, он, генерал-фельдмаршал вор, столп в государстве среди воров... А коли б такое воровство при отце вашего величества, то бы их к казни разве бы принесли, а не привели... Бестужева жена будто бы одна приличилась к воровству — тому нельзя стать, будь муж ее про то не ведал!.. Волынского и убийство и кровопролитие, а не экзекуция, экзекуцею назвать грех. Нам за наши верности подмосковная вотчина Камчатка была пожалована по их изменческим советам... Князь Александр Куракин по вашей государственной милости в голубой ленте сенатор — Авраму Лопухину племянник родной; а ему с чего быть верну? Он воровской лопухинской родни корень. Какая Грюнштейнова вина? За что разоряется?..”

Алексей Петрович Бестужев-Рюмин сидел задумавшись. Свирепой страстностью, будто от древних пророков, веяло от сих слов. Писанные на грубой бумаге, они год плыли да ехали сюда, не теряя жара. Казалось, подуешь на них, и загорятся багрово, сожгут саму бумагу...

Сосланный в Камчатку майор Колачев походя говорил о своей обиде, но прямо обличал все устройство дел в империи. Так выходило, что лишь Петра Великого была правда, а остальное потом делалось вопреки. Но то все буйство чувства, и кристальной правды не присутствует в мире, что и слава богу. Со всем тогда невозможно бы стало жить. Коли истово начинают рваться к правде, то как раз попадают дьяволу в объятия.

И в гневности сего письма есть справедливая основа. Что князь Никита Юрьевич с законами поступает по любой своей прихоти, так и все здесь так норовят, от самого последнего подчаска при въезде в город до того же генерал-прокурора. Каждый самовластвует по собственному чину, ну а коли чин повыше, то и со стороны повидней. Не может кто сверху поступать иначе, если весь народ таково живет. Вовсе бы его тогда презирали и в дураки записали. Тайный умысел еще бы в том нашли, поскольку кому охота видеть кого-то лучше себя. Гнать станут такого, да еще с камнями...

Насчет брата его Михайлы Петровича не знает всего правдолюбивый майор. С женой своей тот и не жил: давно уж сам за границую, и жена у него другая. От того повода и разошелся он с братом окончательно. Опять же и Куракин-сенатор родня Лопухиным, да только все тут Рюриковичи да Гедиминовичи, и не могут быть все кругом виноваты. Здесь же и казнь Волынского, чье место кабинет-министра сам он занял по слову Бирона. Драка шла меж Артемием Петровичем да Бироном: кто кого на плаху раньше представит. Да только был тут Волынский обречен. Не потому, что немцы к тому времени засилие взяли, а потому, что идти России по пути Петра Великого. Волынский же оружием против Бирона выбрал стрелецкий бердыш, которым сегодня разве что дрова колоть. Известное у нас дело: как увидит кто в ряду служебных противников немца, то начинает на себя

в противность тому лапти да армяк пялить. Только хуже всякого немца такие патриоты.

А правда сего письма в том состоит, что чувствование у нас больше над рассуждением преобладает. Оно и у великого государя чувства играли, да только к делу это не мешалось. После того большое испытание посылает бог этой державе, подряд столько лет назначая ей женское правление. Уж как добра да хороша красавица государыня, да только и тут не может обуздать свою природу. В том же лопухинском деле, что спровоцировал посланник Ботта, не остановилась, чтобы на дыбу поднять беременную Наталью Лопухину да язык ей урезать. К чему и приписала собственной ручкой: "плутов и наипаче жалеть не для чего, лучше чтобы и век их не слышать, нежели еще от них плодов ждать". Сказано, что лыбца куда как мстительней царя зверей. А причина лишь в том, что такие находились, кто красоту Натальи Лопухиной выше государыниной понимал. И с Грюнштейном, что на руках ее к власти принес, не по-государски поступила, а лишь в виду постельных достоинств графа Алексея Григорьевича Разумовского. До сих пор гвардию то волнует, с Камчатки о том майор пишет...

В прочем же вовсе по-русски добра душою матушка-государыня. Вон и смертную казнь отменила, за что преестественно сподобилась имени "кроткая Елисавет". Что же, царь Давид прямой был разбойник, а православный человек рта не перекрестит, чтобы не помянуть всю кротость его.

Возможно ли уйти от такого природного своего плена женщине? Об этом следует поразмыслить, взяв во внимание состоявшийся вчера у него разговор с некой особой. Может статья, и еще сколько-то лет суждено России материнское правительство...

Не скрываясь, опустила она глаза на царский портрет с бриллиантами, что когда-то повесил ему на шею великий государь. Потом прямо посмотрела на него, и ничего дальше не надо было объяснять. В том была понятная им обоим определенность.

— Знаю, Алексей Петрович, что был противу меня в выборе жены наследнику. Коли рассудить, моя очередь там была последней...

Нет, нисколько не лукавила она, лишь твердо по-

нимала, в чем их общий интерес. У него даже заморгали ресницы: неужто таково мыслит женщина двадцати трех лет, что только восемь из них прожила здесь? Положив перед собой руки, как при докладе государыне, он принялся объяснять ей, какие предстоят действия правительству в виду грозившей прусской диверсии в Саксонию. Подобна напряженной сети теперь вся Европа: потянешь за одну нитку — и все придет в движение. Родственно привязанная к России Голштиния беспрерывно получит в том свою роль.

И опять, не таясь, улыбнулась она такому знанию об ее позиции в сем вопросе, ответила достойно:

— Таково мнение его высочества, супруга моего Петра Федоровича.

Она старательно говорила по-русски, и больше с французским, нежели с немецким изъясном произносила слова. Только даже и не замечалось того. Вовсе натурально произносила она ему "ты". В нужных местах переходила на французский, и сразу устанавливалась вежливая дальность.

— А как то случилось, Алексей Петрович, что королевские капли изобрел? Когда я маленькой была, сама от кашля ими пользовалась!..

Он вдруг смешался, посмотрел на нее с доверчивостью:

— Да забыл я уж про то, матушка Екатерина Алексеевна!

В первый раз назвал он ее так и увидел, как довольно потеплело у ней лицо. Он принялся вдруг рассказывать, что молодым еще человеком, будучи послан от государя к королевскому двору в Копенгагене, подружился там с одним аптекарем да и занялся фармацевтикой. Желание имел совсем жизнь тому посвятить, да только долг перед государем посчитал выше. Самостоятельно составил эти капли и патент получил. Подспорьем это стало и в деньгах...

Никому раньше такого не говорил он о себе. Она слушала с интересом, и ему было приятно.

— Его высочество Петр Федорович и я станем уповать на твою испытанную мудрость, Алексей Петрович. Дозволь числить тебя в круге наших друзей!..

Прямое лицо в обращении к нему было теперь

другого рода. По царскому правилу так следовало. Он низко склонился, произнес с чувством:

— Во всякое время отыщете во мне всенепременного раба вашего императорского высочества!

III

Поручик Ростовцев-Марьин слез с коня. Отсюда, с возвышенности, был виден подходящий обоз. От самого горизонта тянулись двести телег с лесом да припасами, ехали четыре пушки, полторы роты солдат шли впереди и сзади. Предоставленные кайсаками верблюды с поклажей шли по бокам колонны, связанные веревками. Мерный звон колокольцев слышался из облака пыли. Тут и там маячили кайсацкие отряды. Время от времени какой-то из них приближался к колонне, старшины подъезжали к офицерам, вели разговоры. На привалах выставлялось обязательное угощение...

Здесь было место назначения. Весь год выбирали его, делали измерения. Присягнувшие России кайсаки ездили в Оренбург, просили продвинуть пост дальше в степь, чтобы обезопасить их кочевья от хивинских набегов. Также и немирные киргиз-кайсаки тревожили их. Просили о том и купцы из Бухары, имеющие в Оренбурге свое подворье. Им без охраны трудно было ехать через кайсацкую степь...

Тут тоже была речка и от нее — озера. Солдаты разбивали вешки. Пройдя чуть не двести верст по степи, обоз втягивался на выбранную для форпоста ровную площадь. Дальше в южную сторону шли пески и где-то за ними — Аральское море.

Ростовцев-Марьин терпеливо ожидал, глядя на выплывающих из пыли верблюдов. С ними двигались возы поселенцев, что решили ехать сюда вместе с гарнизоном. Шли привязанные к телегам коровы, гнали коз и овец. А на старом посту, откуда они уехали, строилась теперь крепость, вокруг нее стоял уже целый город.

Показался наконец знакомый воз, крытый от солнца порыжелой кошмой. Кузнец вел лошадей под уздцы, сзади были приторочены горн и прочий приклад. Поручик показал место. Кузнец с Макарьевной и

Маша стали сгружать с воза корыта, горшки, прялку, разный домашний скарб. Он помог кузнецу стащить на землю тяжелый сундук. Потом распрягали лошадей, стали на первый раз устраиваться. До зимы кузнецу предстояло поставить земляной дом, соорудить навес для работы.

Приехавшие с верблюдами кайсаки все поглядывали на Машу. В русском сарафане и с длинной косой ничем не отличалась она от прочих девок, да только больно взлет были темные брови, и глаза на слегка удлинённом смуглом лице излучали некий чудный блеск. С того дня, как отбил он ее у хивинцев, дважды приезжали из степи какие-то дальние ее родичи, хотели увезти с собой. Она выходила к ним, молчала, с тем они и уезжали. Кузнец с Макарьевной не имели детей, и с первого дня вроде свету небесного сделалась для них Маша.

А поручик стал учить ее грамоте, благо книги для того нашлись от вяземского дворянина Коробова, не дождавшегося суда. На старом линейном посту квартировал он с другим офицером, а потому сам приходил к кузнецу в поселок и там учил с ней псалтырь да письмо. По-русски она стала говорить как-то сразу и вовсе без ошибок. Теперь уже и писала изрядно...

Через неделю по четырем сторонам на возвышенности наметился вал. Солдаты набрасывали его с лопатами и носилками, углубляя при том наружный ров. Наемные жатаки из киргизов делали у реки саманный кирпич и волочили сюда с верблюдами для будущей казармы. Из того же кирпича лепили дома поселенцы. Их уже вдвое прибавилось по сравнению с приехавшими со старого поста. Нельзя было сказать, откуда они взялись: беглые русские, туркмены с хивинской стороны, бухарцы, те же лепившие кирпич кайсаки. Паспортов не спрашивали, да все одно ни у кого их тут не было. Уже первая улица обозначилась за валом, да две поперек. Рано поутру звонко кричал петух, мычали коровы.

Ростовцев-Марьин приходил каждый вечер на двор к кузнецу, где ставили дом. Маша, помогавшая Макарьевне месить глину, умывалась к его приходу, надевала сарафан с красными цветами, и они шли гулять к речке...

I

Как при вспышке молнии в грозу увиделось сразу все. Ослепивший ее свет остался, прячась в темных углах, за гардинами у окон, где-то под кроватью. Навсегда уже пребывал он в мире. Первозданная боль рвала на части тело, и как раз тогда пришло озарение. Она не кричала — лишь кусала себе руку...

Теперь ей было холодно, и уже в подробностях оценивала она, что явилось в короткий миг. Лицо его не имело твердого очертания. То вдруг проявлялось в прекрасной своей мужественности, потом будто уходило в воду, размываясь, теряя плотность. Так было всякий раз, когда тошнота начинала подкатываться к горлу.

В первый раз это произошло перед очередным отъездом в Москву, когда почувствовала особенность своего положения. Сразу зашептались о том Чоглокова с приставленною к ней Владиславовой и позвали повитуху. А в его глазах появилась туманность. Он рассеянно смотрел в потолок, не чувствуя ее просительного взгляда. В Москву он тоже приехал тремя неделями позже, объяснивши задержку делами. К тому времени был у ней выкидыш...

И опять стал поворот головы к ней древнего героя. Всякий знак ее был для него приказом, счастливое солнце сияло в небе. Люберцы, что отдала императрица великому князю, сделались их эдемом. Но снова сделался он равнодушным, как только пришло к ней новое положение. Даже зевал с нею тайком. Она кусала платок, чтоб не плакать, но слезы текли сами: горькие, отчаянные. Он говорил, что трудно каждый день ездить к ней с другого края Москвы. К тому же следует притушить разговоры про них. Потом пламя взметнулось к черному небу, осветив кресты с полумесяцем, и она снова выбросила плод...

В третий раз возвращалось к ней счастье. Что только не делала она, чтобы задержать его возле себя: завлекающе смеялась, требовала, просила униженно. И теперь все поняла, что знала давно, с первого их разговору...

Было еще нечто, холодной липкостью оставшееся в ней...

В то счастливое последнее преобразование они вдруг оказались в задних комнатах нового дворца, что после большого пожара в шесть недель был построен императрицей. Никого не было с ними, и сани с тайной полостью ждали у крыльца. Музыка и гром голосов новогоднего бала неслись им вслед. Они мчались через летящий снег, луна показывалась и ныряла в тучи. Потом на его квартире совсем от всего свободная, с холодными от морозу коленями обнимала его и плакала от любви...

Когда она возвратилась, то увидела, что никто и не спрашивал о ней. Бал расходился. Подошел вдруг великий князь, запрыгал вокруг нее, позвал с собой. По дороге рассказывал, что вовсе уж не дружит с курляндской принцессой, а вот Марфа Шафирова не понимает его чувств. Шатнувшись, он прошел за ней в дверь, крикнул человека раздеться...

Она находилась будто в бессильном сне. И когда прижался он к ней, вдруг проснулась... Луна опять неслась, ныряя в тучах, снег залетал в сани. Сама собой уже летела она в беспредельность... Как только закончилось это, будто в некую яму провалилась она. Эйтинский мальчик, смотревший с восторженным удивлением, ничего не понял...

От кого же был тот кричащий комок, что унесли от нее на бархатных подушках, бросив ее одну?.. Начинало темнеть за высокими окнами, и никто не приходил к ней. Влажная сырость стояла в комнате, от плохо прикрытой двери тянула ледяная струя. Даже посмотреть не дали ей сына, и она не хотела сейчас этого...

После того разговору у моря императрица при ней бранила в крик Чоглокову, что плохо напоминает ей о наследнике. Все знали об охлаждении с графом Алексеем Григорьевичем, и везде был теперь молодой Шувалов. Еще и юного пажа-рифмотворца Бекетова с кукольным лицом видели при дворе. Но замечен тот был в любезной связи с другим пажом. Таковой противоестественности императрица не терпела, за что и был тот изгнан полковником в армию.

И Чоглоковой вдруг стало не до чего. Как рыба лишь открывала и закрывала рот, когда открылось все об муже ее и Кошелевой. Сама императрица делала выволочку да мирила их. Кончилось тем, что Кошелеву послали рожать в деревню. А Чоглокова, сама народив седьмого ребенка, без памяти сделалась от Петра Репнина, так что при всей Москве ездила к нему домой. Чоглоков всем жаловался на жену, потом лег и умер...

Словно ладья в бурю, размахивался характер императрицы. То было русское качество. Ее величество молилась и плакала всю ночь до опухлости лица, лишь показалось ей, что они потонули с великим князем на пути в Кронштадт, когда их там и не было. Теперь же, по рождении наследника, вдруг вовсе забыла о ней. И все это с полной естественностью чувства.

Когда пламя на четыре версты по кругу охватило деревянный дворец, императрица безразлично зевала ото сна. Накануне она ругалась и плакала над разбитой чашкой из версальского сервизу, а тут только рукой махнула:

— Все пустое... Считай, лишь платьев сторело моих четыре тыщи!

При том посмотрела по сторонам, чтобы слышали. Платьев да кринолинов и вправду было у ней не меньше двухсот, но дарила их направо и налево. Все камер-фрау и даже прислуга щеголяли в перешитых ее нарядах. А что до четырех тысяч, так было то от широты души хвастовство...

Рядом с пропастью все шло... Канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин прямо вдруг сказал Салтыкову, что он ей крепкий друг. В этом сановнике с портретом великого царя на груди было некое особое упорство. А еще и честность, как от дуба в сравнении со стриженным кустарником, произраставшим в Цербсте...

Великий князь вдруг разгорелся ревностью. Началось это на другой день после разговору ее с канцлером. Входя с ним в дружбу, она принимала на себя и его врагов. Кто они могли быть: Шуваловы, Воронцовы, сохранившиеся креатуры друга матушки маркиза Шетарди?

Великий князь везде ходил и громко намекал, что она с Салтыковым водит вокруг пальца Чоглоковых и саму императрицу, а направление тут политическое. Кто-то научил эйтинского мальчика. Потом он приходил к ней и все хотел добиться чудного полета, что однажды происходил с ней при нем.

Ему тоже был сделан натуральный экзамен. Она знала все от Салтыкова, а тот от Чоглокова. Через камердинера великого князя Брессана отыскалась известная добропорядочным поведением и приятная видом мадам Грот, у которой было двое детей от покойного мужа-живописца. Этой молодой особе объяснили необходимость той жертвы с приложением некой суммы денег и обещанием милости императрицы, на что та и согласилась. Увлечь ей достойного мужа не составило трудности. Великий князь сразу заважничал, стал плести что-то о своей неотразимости да тут же ей все и выболтал. Даже щипки показывал, что вдова ему делала в страсти.

Но минули все сроки, и результата у мадам Грот не было. Неспособен к тому оказался эйтинский мальчик. Тогда и сказала ей императрица о Салтыкове...

Только все не имело значения. В тот неистовый миг, когда отделялась от нее новая жизнь, она сама сдвинула пелену со своих глаз. Все она знала раньше, но не признавалась себе. Салтыкову от императрицы было сказано то же, что и ей. Он вернулся тогда с Чоглоковой и в первый раз посмотрел на нее...

Черные окна от полу до потолка лили холод в комнату. Лишь лампадка продолжала желто гореть на дальнем столике у подаренного императрицей складня. Липкая влага текла по телу, ледяными были подушки. Откуда-то слышались гулкие шумы...

Она встала, цепляясь за полог, завернулась во что-то, брошенное на стуле, и пошла через пустые темные залы. Из двери в дверь дул ветер, скользкая сырость натекала от окон. Где-то впереди стал видеться свет...

Жаркая тяжесть встала стеной, невозможно стало дышать. От трех кафельных печей сразу струились

горячие волны. Посередине стоял золотой короб, черные с серебром лисы устлали его. Там, среди голубой фланели, лежало нечто маленькое, сморщенное. Она не могла рассмотреть отсюда лицо сына...

Никто не видел ее, когда она вошла. Вокруг были старухи, нянюшки, черницы. Императрица сидела и не сводила с младенца глаз. Под рукой у нее стоял граненый флакон...

Холодом обдало ноги, фланель зашевелилась вокруг распаренного ребенка. Она хотела что-то сказать, но перехватило горло. Комната со свечами, императрицею и младенцем качнулась, поплыла куда-то вдаль.

Она не помнила, как пришла назад. Все, что было в шкафе и вокруг, набросала на себя, но все тек холодный пот. Золотой короб стоял перед глазами. С ею рожденным существом, ее сыном...

Накануне, совсем недавно, играла она с только что родившимся ребенком Чоглоковой: тискала, целовала его, поднимала выше головы. И замирала от идущего из невероятной глубины чувства. Сама плоть ее тосковала по тому, что должна была произвести на свет. Почему же теперь она отвернулась и ушла?..

Может быть, этот страшный человек, явившийся после Чоглокова, навел порчу, отвратив ее от сына? Неподвижные, со стылой водой глаза смотрели без всякой жизни, правая часть лица дергалась от века до подбородка. Его-то и приставили к ней, когда в третий раз забеременела. Шептались за спиной, что старший Шувалов любит слушать стоны при своей работе и не спит уже много лет. Но то была ее отговорка. Другое состояло причиной...

Все она знала с первого разу, когда некто стал изъяснять свои чувства прямыми словами французской пьесы. Она читала ее с Бабеттой еще в Цербсте. А здесь сама пожелала их услышать. То вечная игра, и женщина хочет, чтобы ее обманывали. Но тут все делалось по чужой воле. Ее любили по слову императрицы. Звезда, которую увидела в дневном небе, стоила дорого...

В том высокий смысл движения жизни, что сходятся неприятели и делаются необходимы, а прежние соучастники изготавливают на тебя копьё. Если по поводу кавалерства или неподделенной прибыли оно происходит, так обычная это интрига. Когда же причиной того есть умственная и сердечная ревность к делу державному, то называется сие политика. А без такого постоянного движения не может состояться народ и государство. Было бы это как зеленой тиной подернутый пруд, где живут бессловесные и ни к чему не потребные твари.

Однако же интрига всенепременно мешается к политике, и если берет верх, то несчастная та держава. Великая мудрость — поставить интригу на службу политике. В том и состоит роль канцлера в этом государстве...

От первого дня, когда устранила брауншвейгскую правительницу с младенцем-царем, все упование государыни на наследника от отцовой ветви. А вокруг такого державного дела несть числа капризам да себялюбью. Всякий для себя норовит урвать. Коли в одной струе с государственной пользой такое делается, то и слава богу. Купец, что заводы по Уралу ставит, немало в мошну кладет, но еще пушки да плуги льет. Также и поселенец, какого бы роду-племени ни был, в российские закрома нечто прибавляет. А что жить ловчится всякий по способностям, то при правильном устройстве опять-таки к пользе для отечества.

Вредоносны лишь те, кто криком да наглостью норовят прокормиться, поскольку к другому не имеют таланта. Они-то и пугают ежечасно государыню призраком брауншвейгского дома, что подрастает где-то в Беломорье. Сказывают, тот несчастный так говорить и не научился, будучи без людей. А еще подбивают ее лютеранские да католические церкви из столицы убрать да иностранцев перестать всюю сюда пускать. К великой то стало бы радости всех врагов России.

Тому пример в разнице политики и интриги — его метаморфоза с великой княгиней. У ней прямой интерес рядом с мужем сесть на российский престол. А

при таком государе стократно увеличится значение умной жены. Его же канцлерский интерес в том состоит, что после тридцати лет растряски нужна здесь в утверждение дела великого царя твердая и не заушательская рука. В десять лет наблюдения как раз и нашел он в этом месте означенные качества.

К уму и ровности поведения немало значит и управление чувствами. Все, до постельной частности, известно ему о ней с красавцем Салтыковым, поскольку сам был в том деле референтом для государыни. А голубушка великая княгиня в силу ума своего все из того хорошо поняла, только вида никому не подала. Разве что некую холодность явила к родившемуся сыну. Однако единодушно все говорят, что как раз удался тот в великого князя.

Также и с презентом государыни показала свою зрелость великая княгиня. Сто тысяч рублей принесено было ей от императрицы в шестой день от рождения наследника Павла Петровича. Только к вечеру уже прибежал к ней кабинет-секретарь Черкасов и за-ради бога просил одолжить правительству эти деньги, поскольку спрашивает императрица, а нет ни копейки. Великая княгиня лишь молча кивнула головой.

Дело же состояло в том, что великий князь не на шутку обиделся на государыню, что и ему за тот великий подвиг производства наследника не дадено награды. Так он бушевал и кричал, что государыня велела и ему выдать сто тысяч. А деньги были взяты от великой княгини. Так что один Салтыков остался ни при чем, да еще в Швецию услали, чтобы глаза не мозолил.

На страже, как водится, здесь и интрига. На другой день после секретного разговору его с великой княгиней к ней сразу приставили старшего Шувалова. Каково сможет граф Александр Иванович различать свои обязанности по пыточной службе в Тайной канцелярии с должным политесом у императорских высочеств? Но великая княгиня Екатерина Алексеевна и здесь все приняла с неизменной приветливостью: только вполне натурально поинтересовалась, отчего у того физиономия дергается...

III

Кузнец, в вышитой холстяной рубахе и чекмене, стоял молча, опустив руки. Макарьевна, в праздничном салопе и платке, тихо вздыхала. Возок уже стоял готовый, и казак подгробал сено к подушкам для сидения. Вещей было немного: его офицерский сундучок да короб с крышкой, в которой поместились платья для Маши.

Когда в весну Макарьевна сказала, что можно бы на старом посту устроить венчание, поскольку там теперь есть храм с батюшкой, поручик Ростовцев-Марьин не стал того делать.

— Надобно позволение родителей и невесту им следует показать! — твердо сказал он.

— Ну, а коли матушке невеста не приглянется? — спросила Макарьевна.

Поручик посмотрел на нее с удивлением: о таком даже подумать было невозможно. Он писал уже обо всем в Ростовец...

Маша поклонилась в пояс, кузнец с Макарьевной благословили ее. Лошади все стояли. Маша плакала, не отрываясь от названной матери. Вдруг и поручик заслонил глаза рукой, махнул рукой вышедшим провожать его солдатам.

Настоявшиеся лошади рванули с места, легко понесли возок через проезд у вала к речке и дальше — в степь. Конвойные казаки скакали по-кайсацки, опустив поводья. Дул ровный свежий ветер...

Город на старом посту продолжался уже вдоль реки, тут и там стояли каменные дома. На другом берегу шумела конская ярмарка. Кайсаки из степи везли шерсть, кошмы, пригоняли табуны. Здесь скот и лошадей перекупали, гнали в Россию. В лавках продавались сукна да ситцы, посуда, лопаты, сбруйный товар.

Писарь при воинском начальнике написал ему подорожную. Туда же была вписана девица благородного киргиз-кайсацкого рода Марья Найденова. На другой день поехали дальше.

Уже недалеко перед Волгой ночевали в постоялом дворе при соляном городке. В хозяине его поручик

узнал того молодца, что плыл как-то с ним вниз по Волге. Тут же хлопотала хозяйка-пермячка, с которой тот когда-то все говорил за бочками, бегали дети.

Волгу проехали уже в осеннюю грязь, за Симбирском пересели в сани...

Звякнул в последний раз и утих колокольчик. В оконце дома показалось чье-то лицо. Они продолжали стоять у возка. Маша глядела прямо перед собой. Он нашел через варежку Машины пальцы, слегка пожал...

Дверь с крыльца отворилась. Отставной майор Семен Александрович Ростовцев-Марьин, в поспешно надетом старом мундире, и супруга его Анастасия Меркурьевна сходили к ним навстречу. Старик подошел к сыну, пристально посмотрел ему в лицо, удовлетворенно кивнул головой. А жена приоткрыла платок у приехавшей с сыном девицы и даже руками всплеснула:

— Ах, да какая же ты красавица!

ДЕВЯТАЯ ГЛАВА

I

”Когда дикари Луизианы хотят добыть плоды, они под корень рубят дерево, на котором те растут, — это и есть деспотическое правление”. Господин Монте-скье, барон де ла Бред де Секонда, чья недавняя смерть искренне опечалила Европу, по римской классной инженерии строил фигуру логики. Два раза возвращалась она к сему постулату, чью ясность крепил Тацит. Быстро сменявшие друг друга цезари наносили секущие удары по этому дереву, пока даже столь идеальное творение государственности не рухнуло, увлекая с собой театры, храмы, высокоость мыслей и чувств. Неистовый Вольтер, по очереди живший у королей и сбежавший под конец от своего прусского мецената, звал к полному равенству, поскольку оно залог крепости государства и народа. А неравенство талантов, не зависимое от людей, выражалось бы только в имущественном владении. Таковому поло-

жению прямо соответствует просвещенное правление монарха — гаранта исполнения законов.

Все ясно делалось в голове. По временам лишь приходило знакомое видение. Легкие и изящные, это были все те же римские камни, укладываемые в фигуры. А еще у Монтескье бралось во внимание пространство, занимаемое народом. Тут лишь угадывался невидимый ветер, подхвативший двенадцать лет назад каретные сани, в которые она села...

Что же такое этот ветер?.. По римским камням стекала кровь веривших в бессмертные души. Может быть, от той святой крови распались они, сделавшись грудой обломков? Вольтер деловито оставлял веру сапожникам и служанкам, уповая строить все одним разумом. О ветре там и не упоминалось...

Сомнения мелькали и забывались. Римская дисциплина и ясность мысли, еллинское чувство меры и равновесия в союзе с просвещением — вот для чего явилась ей звезда. Послышался колокол к завтраку, и она захлопнула книгу. На английский манер она ввела у себя при малом дворе раннее вставание, гуляние с книгой и колокол...

Ничего не читалось в лице канцлера, но только не для нее. Некая жилка напрягалась там возле глаза, и означало то внутреннее волнение. В Царском Селе при церковной службе императрице сделалось дурно и, выйдя наружу, упала без чувств. При ней доктора: француз Фусадье и грек Кондоиди. Императрица при падении прокусила язык и не говорит...

Канцлер докладывал ей с привратной доверенностью, а не в силу службы. Такого не предусмотрено было делать, но он подчеркнуто это исполнял. Императрица болела уже второй год: харкала кровью, тело сделалось рыхлым и расплывалось, наливалось водой.

Генерал-фельдмаршал Степан Федорович Апраксин, близкий ей с канцлером человек, сокрушив войско прусского короля в Гросс-Егерсдорфской битве, вместо преследования неприятеля вдруг принялся отводить русские полки назад за Неман...

Недавно лишь прискакал в Царское Село с трубящими почтальонами курьер генерал-майор Петр

Иванович Панин с вестью о той великой победе. Взявши Мемель и Тильзит, генерал Фермор шел на соединение с главными русскими силами. Сто один раз гремел по этому поводу в столице пушечный салют. И тут таковая несуразность.

По всем статьям приводил свои резоны главнокомандующий. Пошли осенние дожди. Не имеющий жалости даже к своим подданным, прусский король сжигает все припасы на пути отступления своей армии. Оставшиеся без фуража лошади дохнут тысячами. Плохо приготовленные магазины не в силах обеспечивать ушедшее вперед войско. И не один фельдмаршал, а военный совет единогласно решил о прекращении в этот год кампании.

Однако же о ретираде здесь и слышать не хотят. С прошлой осени все торопили войско с переходом границы, а в замедлении винили одного Апраксина. Зная приближенность того к великокняжескому двору и к самому канцлеру, теперь многие замыслы спешат увидеть в том отступлении враги, также и болезнь императрицы к тому привязывают, что хочет быть сейчас Апраксин с войском ближе к Петербургу...

Она знала о тех разговорах. Еще и к Степану Федоровичу Апраксину писала так, чтобы было всем известно. В тех двух письмах, помимо личных благополучий, настоятельно звала к наступлению и скорой победе над высокомерным врагом. Генерал-фельдмаршал искренне к ней привязан, так же как старый канцлер. То ее личное завоевание.

Теперь же особливая трудность настала для канцлера. Только что добился он субсидного договору для Англии, как рациональный Альбион вдруг заключил прямой договор с Пруссией. Причиной тому война их с французами в американских колониях, вот и решили на континенте оторвать Пруссию от Франции. А французский министр Берни, аббат и поэт, что всем обязан госпоже Помпадур, обратился с дружбой к извечному врагу — австрийскому дому. Впрочем, причина к тому основательная, так как ни к чему Франции взамен слабой Австрии увидеть напротив себя сильную Пруссию в Европе. На том сходятся с версальским двором и интересы России. Да только в прах рушится любимый канцлером союз северных держав,

завещанный Петром Великим. А вместе с ним и канцлеров кредит у императрицы...

Уже уходя, Алексей Петрович Бестужев-Рюмин посмотрел на дверь и на окно, незаметным движением передал ей некую бумагу. Когда, сделавши поклон, он удалился, она спустила ее за корсаж...

Два часа сидела она с голштинским министром Штамбке, поскольку от великого князя ей были доверены тамошние дела. По-прежнему с упорной мелочностью грызлись там друг с другом партии, причастные к датскому и шведскому интересу. Ей знакомо было это мелкозубое добропорядочное пожирательство без какой большой цели, память о котором шла от цербстского детства. Сияние талеров переплеталось с высокомерной надутостью. Некие фон Инкварты претендовали на налоговый сбор с округа Гросслибенталь, поскольку те, кому этот сбор доверен, злобно утаивают крупные суммы. Она вспомнила, что год назад в том же обвиняли самих фон Инквартов...

Елендсгейм!.. Она выпрямилась, увидев это имя среди взятых под стражу в городе Киле. В прошлый раз она сказала великому князю, что нет для того достаточных оснований. На аресте настаивал Брокфорд. Эта личность явилась именно из Килия в продранном камзоле и долго не называла своего настоящего имени. Потом целая толпа голштинских проходимцев набежала следом, и все надели тут офицерские мундиры. А советник Елендсгейм прислал из Гольштейна письмо, что означенный дворянин Брокфорд виновен в шантаже и присвоении казенных денег...

Она решительно встала и пошла на половину великого князя. Дверь оттуда на ее сторону была заперта, пришлось обходить боковыми коридорами. Из внутренних комнат слышался громкий немецкий разговор, звенела посуда. Зайдя в кабинет с задней двери, она остановилась. Такого здесь еще она не видела. Посредине свисал с потолка длинный шнур, и к нему за хвост была привязана мертвая крыса. Рядом в полной форме голштинского войска, с ружьем в руке стоял Франц — привезенный из Килия лакей

великого князя. Она коротко приказала ему позвать мужа. Тот, оставив ружье, дернулся было исполнять, но потом подхватил ружье и побежал с ним вместе.

В комнате было набросано что попало: кивера, перевязи, собачий хлыст, у стены стояли ширмы. Пахло псиной и чем-то кислым. На стене, прямо против двери, висел портрет прусского короля. Три года назад по заданию великого князя его написали с другого портрета в Берлине и привезли сюда. Она смотрела, узнавая. Резкое, словно из камня, лицо поворачивалось к ней. "Вам четырнадцать лет, принцесса, но судьбе угодно положиться на вашу рассудительность. Кто знает, не зависит ли от нее будущее Европы".

Да, и было нечто еще четырнадцать лет назад. Этот король взял ее на руки, когда разодралась с его рыжей сестрой Ульрикой: "Ваши высочества еще не заняли подобающих тронов, чтобы царапать друг друга!" Ульрика пять лет уже на шведском троне рядом со своим мужем. Лишь у нее ничего не сбывается...

Громкий шум раздался уже поблизости. Дверь распахнулась, и вслед за бегущим Францем ворвался великий князь. Он злобно бранился и колотил здорового слугу кулаком по лицу, норовя попасть побольнее. За ним прибежали другие голштинцы, но, увидев ее, остановились в дверях. Впереди стоял Брокфорд, отбросив ногу в высоком сапоге и холодно наблюдая за происходящим.

— Что тут происходит, мой друг? — спросила она по-французски.

Великий князь оставил лакея и принялся с жаром объяснять, что сия крыса пробралась через посты устроенной им крепости, повредила бастионы и объела двоих его солдат, слепленных на крахмале. За такую диверсию, на основе военного устава, она приговорена к повешению. Караульный же солдат при ней оставил пост, за что также подлежит наказанию.

Она слушала со вниманием, рассматривая занявшую письменный стол картонную крепость и двух мундирных кукол с погрызанными боками. Раздвинув ширмы, великий князь показал на другом столе особенным образом устроенный плац, на котором ровными рядами стояли искусно сделанные солдаты.

Все у них было как настоящее, даже маленькие ранцы с ремнями. На офицерах впереди колонны трепетали прусские плюмажи. Великий князь дернул проволоку, резкий неприятный звук повис в воздухе.

— Беглый ружейный огонь! — с восторгом крикнул он.

Она кивнула, повернулась от плаца:

— Я пришла узнать, по чьему приказу арестован Елендсгейм.

Великий князь сразу как-то сжался, забегал глазами.

— Вот... У него спроси! — Он ткнул пальцем на Брокфорда и отбежал в сторону, как будто это его не касалось.

Она повернулась к Брокфорду.

— Этот мещанин осмеливается чернить благородных людей. К тому же он известный в Гольштейне вор и мошенник! — прокричал тот лающим голосом.

— Кто же обвиняет его? — спокойно спросила она.

— Все знают про это!

— Да, да, — мелко закивал головой великий князь. — Мне говорили!

— Но если так поступать, мой друг, то в целом мире не найдется невинного человека. При точном исполнении закона одних слов для обвинения недостаточно. Нужны достоверные свидетельства.

— Будут свидетельства! — вмешался от двери Брокфорд.

— Так делают варвары, мой друг: сначала арестуют, а потом ищут свидетельства вины.

Она говорила с великим князем, нисколько не обращая внимания на Брокфорда. Тот еще больше задрал голову:

— Но позвольте...

— Пошел вон! — сказала она ему по-русски, и тот вдруг понял, стал отступать в глубину коридора. Гольштинцы за его спиной тоже неслышно исчезли, будто и не было их вовсе. Она даже дунула от губы себе на лоб, где показался ей упавший от прически волос...

Великий князь, как ни в чем не бывало, ходил с ней взад и вперед, рассказывая, как сам станет во главе голштинского войска и отберет у Дании Шлезвиг. Мало того, он утопит всех до одного датчан в море и станет великим королем, подобным Фридриху.

— Но ваше высочество ждет более высокий, императорский трон, — заметила она.

Он скривился, как от зубной боли, зашептал с искренним чувством:

— О, это совсем не для меня... Не люблю здесь ничего. Этих попов, не приученных к порядку людей. Бегают, скачут куда хотят, во все стороны...

И тут же сообщил, что Воронцова назвала его дураком. Это принцесса Курляндская рассорила их, так как сама когда-то имела к нему чувство. Но он человек военный, и женщины ему нипочем. А из фрейлин больше всех ему нравится девица Теплова, которая в самое близкое время сделается его добычей...

Она ходила ровно, и он послушно примерял к ней свой прыгающий шаг. Всякий раз приходилось отклоняться и обходить висящую крысу. Из того, что он рассказывал, все было несерьезно. Разве что с Воронцовой достаточно затянулось у него дело. Эта надутая дурочка хотя б научилась белье свое содержать в порядке. А два раза в неделю к нему привозили певицу из театра, которую звали Леонорой. С тех пор, как та ездила, у него открылись всякие постельные прихоти...

— Вы как думаете: если над канопе вывесить накрест венгерскую саблю с прусским палахом, так понравится Тепловой? — спрашивал между тем у нее великий князь, приставляя к стене оружие.

— Думаю, это очарует ее, — ответила она с серьезностью.

Он даже зарозовел от радости.

— Кроме того, ваше высочество, настоятельно советую вам снять отсюда портрет короля Фридриха, — твердо сказала она.

Великий князь вдруг принял убежденный вид:

— Это великий человек, во всем и везде я равняюсь по нему!

— В этой ситуации он бы посоветовал вам то же самое.

— Вы так думаете? — спросил он неуверенно.

— Среди будущих ваших подданных идут разговоры о вашей приверженности к Пруссии. Если дойдет такое до ее императорского величества...

Тут он не на шутку испугался, даже сам потянулся снимать портрет.

— Перевезите его назад в Ораниенбаум, где он находился, — твердо сказала она. — И не держите вокруг себя одних немцев!

Великий князь заморгал ресницами, махнул рукой:

— Бросить бы все и уехать!..

Она с сожалением смотрела на него и думала, что там, в Гольштейне, ему и место. Уходя коридорами, она услышала перекрывавший других голос Брокфорда:

— Эту змею нам надо раздавить!

Шум немецких голосов раздался в поддержку.

Придя к себе, она открыла секретер и поставила перед собой небольшой овальный портрет, что дал для нее списать со своего ордена канцлер Алексей Петрович. Великий государь смотрел с непреходящим бешенством, неукротимое движение было в его лице. Казалось, стоит он против ветра и даже усы чуть шевелятся от полноты жизни...

По просьбе канцлера она взялась писать еще одно — третье — письмо Степану Федоровичу Апраксину. Так надо было сделать, чтобы все повторялось из прежних писем, а добрый друг генерал-фельдмаршал пусть поймет, отчего их беспокойство. Самолучно канцлеру никак нельзя предупредить его об интриге, которая соединяет вместе болезнь императрицы и поспешное отступление армии. Французский и австрийский посланники прямо требуют объяснений, а канцлера и ее заодно открыто связывают с действиями Апраксина...

Закончив с письмом, она теперь только достала из-за корсажа переданную канцлером бумагу, развернула вширь. Прямо без заглавия почерком секретаря Пуговишникова была она исписана до самого низу. Подписи тоже не было. Ей сразу увиделись слова: "и поскольку стоящим у кормила державы мужам надобно предусмотреть всякое, то в случае некоего происшествия с ея величеством все поперву оставить как было и на своих местах. Немедля лишь объявить императором великого князя Петра Федоровича и при нем участницей в управлении великую княгиню

Екатерину Алексеевну, что согласуется и с принятым в государствах законом...”

Что же, таковая озабоченность непредосудительна для канцлера столь обширной державы. К тому же, где-то в неизвестном месте содержится другой претендент на престол, имеющий такие же права. Ее же позиция здесь наблюдательная. Это уже третий список предполагаемого манифеста на случай кончины императрицы, и канцлер считает необходимым представить его не великому князю, а ей. Не исправляя текста, она свернула бумагу, тронула колокольчик. Верный Шкурин, не допуская к ней никого в такое время, неслышно явился рядом. С той стычки, что некогда произошла у них, камердинер знал только ее одну. Она отдала письмо и бумагу для канцлера. Такое она доверяла ему одному...

Никакой пропасти больше не было. Хлоя разгадала своего Дафниса, и пропасть сомкнулась. Начилась лишь твердо очерченная линия, через которую она по необходимости переступала. Лишь по ту сторону черты волновали ее любезные слова. Здесь они повторялись на театре и в жизни, пусть даже и казалось говорившим, что идут от пламенного сердца...

Ровно в семь, когда сделалось темно, раздалось кошачье мяуканье. Уже одетая, она подошла к окну на переулок, чуть стукнула в окно. Потом прошла к задней двери. Там ждала карета без фонарей. Лев Нарышкин, сидевший за кучера, еще раз мяукнул, и они помчались боковыми улицами.

Знакомые стрельчатые ворота были приоткрыты. Она сошла. Карета загрохотала во тьме по каменной мостовой в объезд дома. К ней протянулась рука...

Три свечи горели в высокой подставе. Темной бронзой отливали зеркала. Она лежала, утомленная. Он стоял при ней на коленях и целовал руки, плечи, пальцы на ногах.

— О, светозарна панна... Кохана моя!

Не в силах сдержаться, он положил голову к ней на слегка увеличенный живот, а она гладила его мягкие разбросанные волосы. Пламенная страсть его была искренней, и она улыбалась в бронзовой полутьме...

Кошкин ждал ее при двери. Она прошла к себе, сама привела себя на ночь в порядок, легла. Ей вспомнилось, с какой безыскусной пылкостью ласкали ее некие руки, и она опять улыбнулась. Потом отстранила это от себя и стала думать об Апраксине. Сегодня вечером сделалось известно, что императрица распорядилась отозвать главнокомандующего от армии...

II

Алексей Петрович Бестужев-Рюмин болел. Хворь привязалась еще третьего дня и заставила сидеть дома. Завернутый в старый шлафрок, он пил английский отвар с сухой малиной, что сам придумал от простуды, но дел не оставлял.

Понятовский!.. После того как молодой красавец поляк, бывший здесь как личный секретарь английского посланника Уильямса, все же должен был покинуть Россию, то остался здесь уже как полномочный посол от саксонского и польского двора. Такого никак нельзя было делать. Чарторыйские с Понятовскими, коих прямо именуют там "русской партией", стоят в открытой оппозиции к королю. Но великая княгиня сказала лишь со своей приветливой улыбкой:

— Всем известно, Алексей Петрович, что Брюль в Варшаве хлеба куска не съест, пока не сделает, чего хочет великий российский канцлер. К тому же, не я одна обязана Понятовскому...

Да, по протекции великой княгини Понятовский во всем содействовал российскому интересу в английских делах. Есть даже и его, великого канцлера, тайная обязанность перед ним. Но для политики все должно пренебречь, когда бы не желание великой княгини. Если она так улыбается, то напротив говорить не приходится. А Понятовский для нее лишь предмет чувства, что входит в круг ее интереса. Даже и Салтыков, который сидит теперь в Гамбурге, применяется ею как пересыльщик писем для матери в Париж. Из того урока с ним она вывела правильный результат. Самое это необходимое в науке правления: отделить всякую чувствительность от дела.

А ему-таки пришлось употребить свою волю к польско-саксонскому кабинет-министру, чтобы тот

именно Понятовского назначил в Россию. Только сразу две интриги произошли от того. Поляки кричат, что русского агента послали в Петербург, здесь же Воронцовы да Шуваловы вкупе с французским посланником прямо видят в том английскую игру. Будто бы он с великой княгиней привержены английскому, а следовательно прусскому интересу, да и Апраксина подговорили к тому. Императрица в болезненном своем состоянии всему может поверить...

Канцлер придвинул к себе лист, исписанный круглым почерком Пуговишникова. Ни одной пометки рукой великой княгини не значилось там. Лишь чуть заметно острием ногтя были снизу придавлены слова: "участницей в управлении".

III

Ровный вой слышался еще с ночи. Ни на минуту не затихающий, он раздавался со всех сторон: от леса, от поля, от реки, текущей через Ростовец, от синего, с бегущими тучами неба...

Поручик Ростовцев-Марьин, в дорожном плаще и ботфортах, присел на лавку у стены. Отец, Семен Александрович, и мать, Анастасия Меркурьевна, сели на стулья по обе стороны от стола. И Маша с выдающимся под теплым платком животом села рядом с матерью. Еще на лавке присели домашние: незамужние сестры и тетка Аграфена — единственная их крепостная душа, вскормившая самого Семена Александровича и сына его, поручика. Потом все встали, перекрестились на угол, вышли во двор. У ворот уже стоял возок, где в такой же офицерской форме сидел Федька Шемарыкин. Обоих их вызывали из годового отпуска...

Как и следовало, поручик поцеловался с отцом и матерью, с женой, поцеловал прочих.

— Помни... государыне и отечеству! — сказал отец.

И здесь вдруг Маша метнулась к нему, ухватила за шею, заговорила быстро, стонуще, не по-русски. Она произносила отрывистые слова и вроде бы пела. Все стояли молча: никогда она здесь не говорила по-своему. А поручик гладил ее по разметанным волосам и тоже что-то сказал, будто по-татарски...

Вой приблизился вплотную. Они ехали в возке с Федькой Шемарыкиным, а справа и слева шли рекруты с ростовецкой округи. С ними шли жены и дети. Бабы кричали ровно, безостановочно, ничего не видя перед собой. Дети плакали тонкими голосами, цепляясь за подолаы. А мужики шагали молча, поднимая пыль. С тропинок, с боковых дорог вливались все новые отряды, и не различить уже было отдельных голосов.

Они поехали обочиной, обгоняя нескончаемую рекрутскую колонну. Обоих, его и Федьку, назначили в один полк. Кузьма, человек Шемарыкиных, привстал на облучке, щелкнул вбок кнутом, спросил с недоумением:

- Значит, не под шведа?
- Под пруссака, — сказал Федька.
- Хм, пруссака... В какой же стороне народ такой живет?

ДЕСЯТАЯ ГЛАВА

I

“Вчера вечером арестован граф Бестужев, лишен всех должностей и чинов. Арестован также ваш брильянщик Бернардн, Елагин и Ададунов...”

Не отнимая книгу от глаз, она еще раз прочитала принесенную записку, которую положила между страниц. Рука Понятовского, как видно, дрожала: конец строчки загибался книзу. Она коротко скомкала бумагу... Что может быть поставлено ей в прямую вину? Итальянец ходит во все дома и редко где не получает женских заданий особого свойства. Иван Перфильевич Елагин до конца ей предан и не скажет вредящих ей слов. Также и Ададунов, который лишь знает о ссорах ее с великим князем. Но взяли почти всех близких ей людей...

От Бестужева прежде всего станут искать выход к ней. Письма ее к Апраксину — с ведома канцлера, не таят ничего преступного. Главное, манифест: тот самый, писанный Пуговишниковым. Хоть и нет там ее руки, однако если с должным объяснением пред-

ставлено будет императрице, то возымеет свое действие...

Она закрыла глаза, увидела изнутри храм в золотом свечении. Вдали, меж рядами колонн, были распахнуты ворота. Неисчислимое количество народа стояло в солнечном сиянии, а прямо напротив, в синем небе, светилась звезда...

Она отодвинула книгу и велела все делать по намеченному вчера распорядку. Доложили о карете, приготовленной для выезда в академию.

В коридорах было сыро и полутемно. Господин советник, Шумахер, забегая вперед, отодвигал вывалившееся из печки полено, делал выговор служителю. И, объясняя ведение различных наук, удивительно правильно говорил по-немецки. В холодных комнатах почти не было людей, стояли глобусы, шкафы с колбами, звериные чучела. К концу лишь осмотра услышала она живой шум голосов и поспешила в конец здания. Советник бросился вперед, загораживая проход, но она твердо указала ему пальцем на сторону.

Из комнаты пахло теплом. Войдя в дверь, она сразу увидела младшего Шувалова. Известно было, что тот свое свободное время проводит здесь, к неудовольствию императрицы. По болезни та сделалась ревнивой даже к научному занятию своего любимца.

Граф Иван Иванович при виде ее растерянно опустил тетрадь, которую держал в руке, породное, красивое лицо его зарделось. На стульях возле большого стола сидели еще люди. Огромный человек подкладывал дрова в раскрытую голландскую печь. Посмотрев мимо нее и увидев сзади советника Шумахера, он выпрямился во весь рост и громоподобно прокричал трехсловное русское ругательство.

Все застыли. Бывшая с ней фрейлина Измайлова отступила назад. Но она, будто ни в чем не бывало, шагнула в комнату. Как ей показалось, другой, такой же большой человек с гривой белых волос и в потертой немецкой куртке, спрятал в этот момент под стол бутылку...

Она сразу определила их. Тот, у печки, был великий русский, о котором сам Эйлер писал, что нет сейчас в Европе столь сильного ума к распростра-

нению истинного естествоведения, не говоря уже о даре слова. Немец же — его антипод, с которым ведет постоянную войну. Тот тоже знаменит пользой от исследования Сибири. Говорят, что и побоища случаются между ними, но всякий раз первый пишет похвальную оду императрице, и все прощается. Зато оба ненавидят ведущего канцелярии академии советника Шумахера, донимающего их службистской ревностью и тупоумием, за что и объединяются против него...

Все склонились. Русский профессор смотрел на нее с виноватой хмуростью. Тут могло быть и мнение меценатствующего при нем младшего Шувалова. Она улыбнулась и стала говорить стихи:

Расти, расти, крепися,
С великим прадедом сравнися,
С желаньем нашим восходи.
Велики суть дела Петровы,
Но многие еще готовы
Тебе остались впереди.
Когда взираем мы к востоку,
Когда посмотрим мы на юг,
О коль пространность зрим широку,
Где может загрометь твой слух.
Там вокруг облег дракон ужасный
Места святы, места прекрасны
И к облакам сто глав вознес!
Весь свет чудовища страшится,
Един лишь смело устремиться
Российский может Геркулес.
Един сто острых жал притупит
И множеством низвержет ран.
Един на сто голов наступит,
Восставит вольность многих стран...¹

Читала на память она вовсе чисто по-русски. И выбрала не недавнюю оду к рождению дочери, а ту, согласную с ее мыслью, на рождение сына-наследника. Все глядевший исподлобья русский великан как бы первый раз слушал свои собственные стихи.

Она вдруг вспомнила о главном предмете спора у того с немецким собратом: чего больше в корне русском — норманского или славянского. Некий злослов утверждает, что названная битва с немцами от того набирает ярость, что у самого профессора жена-немка. Только у Петра Великого оно не сказывалось. А ученый немец за столом, с львиным волосом и глазами

¹ М. В. Ломоносов. Ода на рождение великого князя Павла Петровича.

сатира, как-то не со своим — с заезжим германцем — до дуэли разодрался, когда коснулся тот чести России...

Опять все склонились на ее угод.

— Ваше высочество! — у советника Шумахера мелко дрожали губы, и все оглядывался на оставленную комнату. — Непочтение и грубость их ни с чем не сравнимы...

Не взглянув на него, она села в карету.

Ей передали в руки младенца, и что-то горькое и теплое поднялось из неведомой глубины, затуманило глаза. Она держала этот живой комок плоти и ощущала стук маленького сердца.

...Крестные матери Екатерины Алексеевны... нареченного раба божия Бориса...

Иерей Измайловского полка — отец Алексей Михайлов — со строгостью выполнял обряд. Вода в купели была чистая и чуть синеватая. Солдат Савельев с восторженной преданностью смотрел на нее. Потом, по обычаю, сидели за столом в его доме, в Калининской деревне при полку, ели пироги с рыбой. Чуть ли не третью часть комнаты занимала огромная печь, раскрашенная в желтые и голубые тона, знаменующие солнце и небо. В этом году она уже четвертого ребенка крестила у измайловцев...

Ей сказали, что великий князь, безмерно испуганный, бегал к императрице. Говорил, что Бестужев и жена всякому его учили, а он лишь виновен, что голштинских офицеров к себе выписал. Только ее величество слушала немилостиво, а по уходу племянника сказала: "И в кого только удался этот урод!"

Она дотронулась до вспухшей груди. Молоко горело в ней. Ей вдруг до боли захотелось побежать, взять на руки родившуюся недавно дочь, прижать к сердцу, губам, к лицу. Даже сделалось жарко от такого желанья. Лишь два раза увидела она ее за месяц. Ей, а также и великому князю, было дарено за то высочайше по шестьдесят тысяч рублей, а дочь нарекли в память любимой сестры императрицы Анной...

Был исход масленицы, и она пошла к обедне.

Вечером она танцевала в бале, поскольку сразу три фрейлины императрицы шли замуж: Анна Воронцова — за графа Строганова, Закревская — за Льва Нарышкина и Мария Воронцова — за графа Бутурлина. За спиной ее у колонны громогласно спорили на английский манер граф Кирила Григорьевич Разумовский и датский посланник Остен, кто из трех женихов раньше других сделается рогат.

Она отделилась от своих фрейлин и подошла к посаженному отцу свадьбы, Никите Трубецкому, будто бы посмотреть ленты на маршальском жезле.

— Что все это значит? Чего больше вы отыскиали: преступников или преступлений? — спросила она прямо.

— Мы сделали, что было приказано, а преступлений еще ищут! — ответил он.

— Бестужев арестован, но доказательств нет! — сказал ей, не таясь, фельдмаршал Бутурлин.

Оба были следователями по делу Бестужева.

Уже ночью, после бала, Шкурин неслышно впустил к ней голштинского министра Штамбке. Тот прошептал, что получил от арестованного канцлера Бестужева записку. Для нее там были слова: "пусть не беспокоится великая княгиня о чем ей известно... Было время все бросить в огонь". Она послала тут же камер-фрау Владиславу к секретарю Пуговишникову: "Вам не надо опасаться — успели все сжечь..."

Наутро арестовали Владиславу. Постоянный надзор поставили за Понятовским. К кому она ни подходила, с кем бы ни заговорила, брались под подозрение. Ее стали сторониться, и она решила никуда не ходить из своих комнат.

На другой половине великий князь устраивал музыкальные концерты. Ей говорили, что фрейлина Елизавета Воронцова по своему вкусу передвинула там мебель и держит себя хозяйкой. К ней заходил лишь старший Шувалов и молчал, дергаясь лицом. Она смотрела на его руки — беспокойные, с синеватыми пальцами, думала, как распоряжается он пыткой у себя в Тайной канцелярии.

Потерялся счет дням. Даже когда на другой половине было тихо, ей все слышался музыкальный шум.

Дважды она писала императрице с просьбой объяснить. Шувалов брал и уносил письма.

Все спокойно обдумав, она написала третье письмо... "Нижайше и дочерне благодарю Ваше императорское Величество за все милости и благодеяния, оказанные мне от дня моего приезда в Россию. По несчастью, оказалось, что я не заслужила этих милостей, поскольку навлекла на себя только ненависть супруга моего, великого князя, и явную немилость Вашего Величества. Видя свое несчастье и оставаясь одна в целом свете, лишенная друзей и самых невинных развлечений, умоляю Ваше Величество прекратить мои невзгоды, отправив меня к моим родителям под тем предлогом, какой признается более приличным. Что же касается детей моих, то хотя я и живу с ними под одною кровлею, но вовсе не вижу их, и поэтому мне все равно, быть ли в том месте, где и они, или в нескольких сотнях верст от них. Я знаю, что Ваше Величество печется о них несравненно более, нежели сколько позволяли бы мне мои малые способности. Дерзаю просить о продолжении этих попечений и, убежденная в этом, проведу остаток дней у своих родных, моля Бога за Ваше Величество, за великого князя, за моих детей и за всех, сделавших мне добро или зло..."

Она отдала письмо в синие пальцы Шувалова и сказала, чтобы тот прочитал. Отвернувшись, прижала платок к глазам. Слезы опять лились помимо воли...

За спиной послышался какой-то звук. Она обернулась и увидела, что Шувалов плачет вместе с ней. Лицо его страшно подергивалось, слезы стекали на служебный мундир. Это было до того неожиданно, что она взяла его за руку, успокаивая. Такого не могло быть ни в Германии, ни во Франции, ни в Англии — нигде, кроме России...

Императрица при чтении письма тоже плакала. О том ей рассказал сам Шувалов. Только никакого ответа не было и ничего не менялось.

В вербное воскресенье, когда она, по установленному для себя правилу, двести раз проходила из угла в угол комнаты, к ней вошла новая камер-фрау Екатерина Ивановна Шаргородская, упала на колени:

— Ваше высочество, все мы боимся, что вы умрете с горя. Дозвольте переговорить с дядей моим, который ваш и государыни духовник!

Она дала согласие. В третьем часу ночи, как было договорено, она объявила себя больной и послала за духовником. Обычно осторожный и неговорливый, отец Федор Дубянский со вниманием слушал ее, потом твердо сказал, что все сегодня поведает ее величеству. Прямо от нее он пошел в покои императрицы и сидел там до утра...

Ее предупредили, чтобы ждала, и она прилегла на кушетку одетая. Во втором часу ночи пришел за ней Шувалов и объявил, что ее величество ждет ее к себе...

В передних комнатах у императрицы никого не было. Вдруг она увидела, как из дальней двери вышел и побежал впереди их великий князь. Они вошли следом.

То был малый приемный зал с тремя окнами и ширмой у внутренней двери. По стенам жарко горели свечи. С гневом и сожалением смотрела на нее императрица. Она прошла и упала на колени, заливаясь слезами.

— Как мне отпустить тебя?.. Тут же твои дети! — спросила императрица.

Подняв голову, она увидела, что та сама плачет, ладонью утирая слезы.

— Дети мои в ваших руках, и нигде им не может быть лучше, — твердо сказала она.

Императрица потянула ее с пола, но она не вставала.

— Какой же причиной объявить твой отъезд?

— Коль найдете приличным, то объявите всему свету, что же навлекло на меня вашу немилость и ненависть супруга моего.

Императрица вздохнула:

— Чем будешь жить у своих родных? Отец твой умер, а мать в бегах в Париже.

— Тем, чем жила до того, как вы призвали меня к себе.

— Хорошо, встань! — уже новым голосом сказала императрица, и она послушалась.

В комнате находились четверо: она с императри-

пей, великий князь и Александр Иванович Шувалов. На минуту ей показалось, что пошевелилась материя у ширмы. Там еще кто-то стоял. А на туалетном столике лежали свернутые листы. Она узнала свою руку: то были письма ее к Апраксину...

Императрица в задумчивости стояла перед окном. Высокая фигура ее болезненно расплылась, заметно дрожала голова. Великий князь на другом конце комнаты шептался о чем-то с Шуваловым. Ширма чуть сдвинулась с места, и она увидела край французского кафтана, в каком ходил здесь только один человек. Шуваловы со всех сторон окружили ее императорское величество...

— Твоя непомерная гордость всему причина. Даже мне едва кланяешься!

Теперь императрица громко обвиняла ее.

— Боже мой, осмелюсь ли я, ваше величество! — тихо сказала она.

— Воображаешь, что нет человека умнее тебя, — оборвала ее императрица. — Ты мешаешься во многие дела, которые до тебя не касаются. Как смела посылать приказы Апраксину?

— То были одни дружественные письма.

Императрица показала рукой на туалетный стол

— Вон они: все здесь лежат!

— Значит, ваше величество могут убедиться в моей невинности. Ошибка моя лишь в том, что кому-то писала, несмотря на запрет для меня всякой переписки.

— Бестужев говорит, что было много других писем.

— Если Бестужев говорит это, он лжет!

— Хорошо же, прикажу пытать его.

В голосе императрицы была усталость. И тут подскочил великий князь:

— Видите... видите, как она зла. Я говорил вам. Все напротив делает. И с Бестужевым вместе!

Императрица покривилась, словно от зубной боли, махнула ему рукой, чтобы отошел в сторону. Потом оглянулась на ширму, тихо сказала:

— Ты, голубушка, не дури... А сказать тебе больше сейчас не могу, чтобы все вы вконец тут не передрались. В другой раз, без людей...

— Я буду ждать того, матушка, чтобы открыть вам свою душу и сердце! — прошептала она.

— Давай... ломи, гвардионцы!

Сенявина и Измайлова рядом с ней кричали вместе с народом. Тысячи празднично одетых людей стояли на этой и на той стороне реки. А на крепком припорошенном снегом льду стенка на стенку сошлись бойцы; с той стороны мещане и корабелы, с этой разный служивый люд. Впереди в белых нательных рубахах бились пятеро братьев-гвардейцев. Они клином вошли в противный ряд, тесня его к другому берегу. Когда кого-то сбивали с ног, тот, по правилу, вставал и уходил в сторону. С синего неба сыпалась сверкающая на солнце крупа. Ровный сильный ветер дул в сторону залива. Гудели колокола...

С того берега сбежали новые бойцы. Громадный мужик с черной бородой и еще двое с ним заменили упавших. Братья-гвардейцы остановились, стали пятиться назад. Один из них, подросток, пошатнулся. Толпа на этом берегу зашумела, заволновалась:

— Гляди-тко, сдают гвардионцы...

— Теснят мещанишки!

Она вдруг вскочила на приступку чужой кареты, звонко закричала:

— Вперед, Орловы!..

Первый из братьев обернулся к ней, улыбнулся слепяще, алая кровь стекала с белых зубов. Ветер трепал между глаз у него витую прядь волос. Потом, чуть присев, он с крутого маху ударил чернобородого мужика. Тот зашатался и рухнул.

— Ур-ра!.. Вперед! — подхватили в толпе. Противная стенка дрогнула, стала отступать к тому берегу.

Она вдруг вспомнила, что нашла слово, какого нет ни в каком другом языке. От древнего, исконно русского корня оно, означавшего мужскую природность. Много понятий от него: удача, удивление, удовольствие. И еще — удаль...

II

”Ее императорское Величество твоими накануне того учиненными ответами так недовольна, что повелевает еще, да и в последнее спросить с таким точным объявлением, что ежели малейшая скрытность и

непрямое совести и долга очищение окажется, то тотчас повелит в крепость взять и поступить как с крайним злодеем!..”

Секретарь тайный Дмитрий Волков читал высоким строгим голосом. Самый опасный и есть он из четырех, поскольку умен и к сорока годам чина и места, достойного своего таланту, не приобрел. Также и Александр Иванович Шувалов опасный, да лишь с боку своей наторелости в розыске. Двое остальных: князь Никита Юрьевич Трубецкой да Бутурлин, сидя на стороне, только хмурили брови.

Волков еще больше возвысил голос:

— Для чего ты предпочтительно искал милости у великой княгини, а не так много князя?.. Для чего скрыл ее переписку с Апраксиным?..

Алексей Петрович Бестужев-Рюмин смотрел в поперечную балку потолка допросной комнаты и отвечал, как на заседании, ровным тихим голосом:

— У великой княгини милости не искал, паче же старался с веления ее императорского величества открывать ее письма... Только ее высочество переменяла совсем свое мнение и возненавидела короля прусского, также и шведского, коего любит лишь по родственному правилу токмо как дядю. Я же старание имел не только утвердить в том ее высочество, но и побуждал, чтобы и великого князя к тому привела. О чем и трудилась великая княгиня, да только труды те разрушались от природного пруссака Броуна, оберкамергера их двора Брокдорфа и прочих около великого князя находящихся людей. Там бы и искать следует, отчего королю Фридриху, что тут решается, все быстро известно становится...

— Есть захваченная от тебя уже из-под ареста записка к великой княгине, коей совет даешь держать себя твердо, поступать смело и с бодростью, присовокупляя, что подозрениями доказать ничего невозможно. Так не прямо ли означают сии слова, что и скрывать было что?

Волков даже привстал от усердия. Кому-то желается все на великую княгиню переложить, да только дальше своего носа не видят. При царе-дураке, конечно, вольготней будет житься, да как бы сама Россия от того не кончилась...

Он, по своему правилу, переждал минуту и другую,

выводя из равновесия допросчика, и опять спокойно ответил:

— Великой княгине поступать смело и с твердостью советовал, но только для того, что письма ее к фельдмаршалу Апраксину ничего предосудительного в себе не содержат.

Секретарь тайный Волков вдруг расслабился, невинно повел глазами в сторону:

— При получении графом Понятовским отзыва от нас зачем через саксонского и польского кабинет-министра Брюля удерживал его здесь?

Так и есть, прямо на великую княгиню предлагают ему указать, тогда и вина его будет наполовину снята. Только не этому рыбарю ловить его в сеть. Когда государственный ты человек, надобно вперед уметь видеть, что произойдет в державе. И не кильский инфант, а рисуется там некое иное правительство. Так что и всю вину для того он примет на себя.

Опять переждал он, пока покраснеет шея у Волкова, и заговорил тем же голосом:

— Подлинно, что сам и без чьей-то просьбы старался задержать тут посланника Понятовского. А для того так делал, что, видя на себя гонение перед государыней со стороны полномочного министра австрийского Эстергази и французского Лопиталья, хотел хоть одного дружественного к себе человека среди иностранных послов сохранить.

Волков даже позеленел с досады, пальцы его выбивали бесшумную дробь по столу. И вдруг, схватив лежащий в стороне лист бумаги, стал громко читать:

— Известно тебе, что сентября 8-го числа в прошлом годе имела ее величество некоторый припадок болезни. Памятно также тебе, что Апраксин, стоя под Тильзитом, вдруг 14-го и 15-го числа, все бросая, начал с поспешением назад уходить. Дает это справедливую причину подозревать, что об упомянутом припадке уведомлен был. И потому имеешь показать, не ты ли его о сем уведомил, или хотя не ведаешь, что кто-либо другой такое сделал?..

Секретарь Тайной канцелярии не закончил еще читать, как вместе встали со своих мест князь Никита Юрьевич Трубецкой и граф Александр Борисович Бутурлин. Даже и Шувалов тяжко дернулся лицом, замахал руками.

— Нет, то не пойдет! — сказал Трубецкой.

— Таков вопрос не может быть поставлен. — Бутурлин потряс головой. — Всем известно, что еще заранее происходил военный совет, и генералы сообщая подтвердили отступление. Там и Фермор был, что сейчас командование на себя взял...

— Что же ты, Александр Иванович, допустил такой подлый вопрос сановнику и дворянину поставить? — недовольно спросил Трубецкой.

Шувалов молча подошел, выдернул из руки секретаря лист, положил назад на сторону. Все молчали, не зная, что дальше говорить. Арестованный канцлер Бестужев-Рюмин холодно смотрел мимо них...

III

Армия с ночи строилась на позиции. Передавали слова главнокомандующего: "Вершинки, вершинки кругом занимайте, бугорки. Сверху-то идти на врага сподручней!" Роте капитана Ростовцева-Марьина отведено было место у ручья. Здесь кончались лесистые холмы, а по ту сторону ручья виделась ровная пашня. Это был левый фланг армии, а правый, скрытый лесом, доходил до реки Одера.

Все же и здесь нашли возвышенное место, а сзади недалеко виднелась деревня Кунесдорф. Среди редких сосенок встали ростовецкая рота и рота капитана Шемарыкина. Полковник фон Визин, трижды объезжавший позицию, лишь подергал серые усы и ничего не сказал. Солдатам разрешили отдохнуть, и они так и сидели при ранцах колонной на посыпанной хвоей земле. Съехавшиеся к ручью офицеры сошли с лошадей и говорили, что, может быть, ничего и не произойдет: король Фридрих до сих пор все трепал австрийцев, так, может быть, и теперь бросится в сторону корпуса генерала Дауна. Тот сам не исполнил обговоренный в Петербурге план и не пришел в назначенное место к Одери, чтобы соединиться с русской армией. Пусть теперь и пеняет на себя...

Послышалась труба. Офицеры попрыгали на коней и поскакали к своим ротам. Солдаты по команде встали, выровняли колонны. От большого леса, где стоял авангард, ехали генералы. Издали узнавали

высокую фигуру генерал-поручика князя Голицына. Только потом увидели рядом с ним на маленькой лошадке главнокомандующего, и сразу все заулыбались: и офицеры, и солдаты.

Сейчас граф Петр Семенович Салтыков хотя бы мундир правильный генеральский на себя надел, а то к армии приехал вовсе в каком-то белом ландмилицком кафтане, что носил в пограничной с Крымом Украине. Однако же и генеральская одежда на нем была как бы домашняя. И сам он — маленький, седенький, с предобрými глазами и стеснительными движениями никак не походил на настоящего генерала. Поддерживаемый едущим рядом полковником, главнокомандующий слез с лошадки, вроде бы приехал в гости, замахал руками, чтобы не давали никакой команды, покивал головой солдатам.

— Это хорошо, что на вершинки встали. Сверху оно и виднее, и идти легче! — похвалил он. Потом посмотрел направо и налево, оглядел поле впереди и задумался.

— Вот что, батюшка Александр Михайлович, кабы батарею туда поставить, — он показал князю Голицыну на лощинку между двумя возвышенностями. — Как ты думаешь, хорошо ли будет? Пруссаки, он прямо ходит...

В лощину повезли пушки. Главнокомандующий опять всем покивал, сел на лошадку и поехал к авангарду.

Скоропостижный король и впрямь появился внезапно. Будто из-под земли выросли ровные колонны, быстро катились пушки, стремительно двигались по полю значки и штандарты. Казалось, со всех сторон готовится он атаковать русскую армию. Ростовцеву-Марьину было видно, как прямо напротив пруссаки устанавливают двойную батарею. Но колонны прусские беглым шагом все маршировали направо, строились там в ордер-баталии. Будто бы знал хорошо король, что у Одера слабейший фланг русской армии. Как вдруг столб черного дыма поднялся высоко за лесом. Прискакавшие адъютанты сообщили, что по приказу главнокомандующего генерал Тотлебен поджег там мост через болото, затруднив тем атаку противнику. И тогда сразу вся прусская армия повернулась сюда, стала маршировать к левому флангу. Не

успели здесь разобраться в пыли и грохоте барабанов, как ударили с поля пушки. Где-то сзади упало ядро, послышался долгий крик боли...

Совсем уже близко видны стали идущие плотно прусские колонны. Они выходили где-то из продолжавшего лощину оврага и шли прямо на русскую линию. Капитан Ростовцев-Марьин различал уже черные стрелки усов у прусских офицеров и приказал изготовиться для стрельбы.

И тут загрели пушки из лощины. Будто уперлись в невидимую стенку неприятельские колонны, замедлили движение и встали. Роты Ростовцева-Марьина и Шемарыкина стреляли залпами, меняя шеренги. Однако то длилось недолго. Послышались свистки, заиграли трубы, и колонны, повернувшись влево, беглым шагом пошли на замыкающий русский фланг гренадерский полк. Туда же повернули стрельбу и прусские батареи. Было видно, как атакованные сбоку гренадеры дрогнули, стали отступать. Передовая неприятельская колонна прошла глубоко уже в русскую линию.

Выехавший открыто на холм генерал-поручик Голицын строил из двух мушкетерских полков новую линию, за ней другую такую же. Все медленнее шли пруссаки. И опять неприятель начал перестраиваться: из другого фланга и центра, от дальнего тыла стали беглым шагом маршировать сюда его отряды, все вливаясь в раздвинутую русскую позицию. Потом уже и земли стало невидно от плотно стоявших прусских полков. Русские выстраивали сзади уже третью линию.

Ростовцев-Марьин от своей возвышенности с интересом наблюдал за сражением. Как внезапно заиграли трубы, вся прусская армия повернулась вдруг направо и одной общей колонной пошла прямо на него...

Он стоял и смотрел, не в силах отвести глаз от ровного огромного ромба, от одного края горизонта до другого занявшего все поле. Будто единое существо двигался он: страшно, неумолимо. Черно-красный штандарт чуть покачивался посредине. Там шагом ехала кавалерская группа с рослым человеком впереди. Белый конь играл ногами, и султан подрагивал на треугольной шляпе...

Кто-то дернул его за рукав. То был Шемарькин. Они закричали команду, и солдаты побежали строгиться на другой край холма. Артиллеристы в лоцинке поворачивали пушки...

Что было дальше, он не помнил. Все пролетело как бы в единый миг. Весь огромный ромб, воняя потом, кровью, полыхая огнем, прошел мимо, ломая с угла русские линии центра и другого фланга. Но, как и здесь, на вершинках, кругом оставались батальоны и роты, из низин вразнобой стреляли пушки. А когда единая прусская колонна, окровавив себе бока и потеряв силы, дошла почти к Одеру, по ней раз за разом стали ударять спрятанные назади свежие корпуса и полки генерала Фермора, генерал-поручиков Румянцева и Вильбуа, генерала Панина, бригадира Брюса, австрийский корпус генерала Лаудона, союзные императорские германские полки генерала Компителли. Ромб все таял. В последнюю помощь ему скакали черные королевские гусары. Но вперерез им бросились чугуевские казаки. Когда в действие была приведена русская и австрийская кавалерия, ромб начал распадаться...

Капитан Ростовцев-Марьин вдруг заметил, что уже заходит солнце. Когда проходил рядом прусский клин, ротная колонна распалась. Солдаты припали к земле и продолжали стрелять, передавая вперед заряженные ружья. Он с удивлением подумал, что, может быть, оттого многие и остались живы. Соседние колонны, стоявшие в рост, были полностью выбиты...

Пушки больше не стреляли, лишь где-то за лесом глухо ухали особые "шуваловские" гаубицы, бросая тяжелые ядра на одерскую переправу. Вдалеке по полю кучками убегали пруссаки. Неожиданно раздался крик. Совсем близко по паханому полю за ручьем мчались всадники. Штандарта и шляпы с султаном больше не было, но Ростовцев-Марьин узнал крупную белую лошадь.

— Фе-едька... король! — закричал он что было силы и побежал к коню. Он скакал без шапки и без оружия, с одним палашом в руке. Волосы трепались на ветру и падали на глаза, мешая смотреть. Рядом скакал Федька Шемарькин и свистел, вроде на зайцев. Еще трое или четверо увязались за ними. Кони у пруссаков стали приставать. Король убегал, пригнув

спину и не поворачивая головы. С ним скакали черные гусары. Пятеро из них придержали коней, поворотили их и шагом поехали к ним навстречу. Ростовцев-Марьин, изготовив палаш, уже примерился к одному. Слепящий луч ударил ему в голову, и он увидел угасающее, клонящееся к земле солнце...

Пахло ростовецким сеном, что складывали для коровы при дворе. От того двора, наверно, он и дворянин. Рядом слышался чей-то разговор. Он открыл глаза и увидел главнокомандующего. Они лежали в ряд при каком-то сарае на сене, в повязках и корпии, а тот шел с другими генералами, останавливался всякий раз. И возле него остановился и вздохнул:

— Молочка... тепленького молочка им достаньте. Тут обязательно есть...

ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВА

I

Когда она вошла с траурным крепом на глухо закрытом платье, лицо императора собралось в комок: подбородок сблизился с носом, а влажные губы со злой капризностью растянулись до ушей. В первый раз она это увидела у мальчика в Эйтине двадцать два года назад, когда суровый и злобный воспитатель потащил его за ворот к углу и велел смотреть оттуда, как другие едят его любимое кушанье. Теперь этот мальчик — император. Шесть месяцев назад она сама стояла в числе прочих, когда в день смерти императрицы Елизаветы гвардия, сенат и сановники давали ему присягу. Ни слова не говорилось о ней и о сыне, а право наследования утверждалось словом государя. Лишь потом вписали их в манифест, лишь как супругу-императрицу и великого князя. Дочери Анны — великой княжны с тонким польским профилем к тому времени уже не было. К двум годам девочка не перенесла фланелевого кутанья и безудержно жарких дворцовых печек, лицетворивших невосполнимую императрицыню тоску по детям. Не значилось там и другого ребенка, который бился и стучал в ней, скры-

тый траурным платьем, в час присяги новому императору всероссийскому...

То был уже впитанный в ее плоть и кровь русский способ жизни. Начался он тогда, когда вместо нудных логических объяснений по поводу своих долгов она тихо сказала: "Виновата, матушка!" Дочь Петра Великого даже испугалась такого ее проникновения в характер. Теперь она покорно слушалась богом определенного ей супруга, и все делала по-своему. Креп, надетый ею, знаменовал дочернюю и верноподданную любовь к почившей шесть месяцев назад императрице, но означал он и другое. Большой портрет родового врага России висел сейчас, украшенный золотой рамой при входе сюда. Умное, словно бы точенное из камня лицо было знакомо ей. И за столом на четыреста персон начиналось здесь трехдневное празднество по случаю трактата вечного мира и дружбы с Пруссией. Все тут были в светлых, сверкающих бриллиантами платьях...

Все продолжало оставаться по-прежнему, когда она вошла, однако находившиеся тут сделали некий к ней поворот. Так было, когда являлся в бал прежний канцлер. Он так и оставался в изгнании. Всепрощение происходило при каждом новом воцарении, но по поводу Бестужева-Рюмина его императорское величество сказал: "Я подозреваю этого человека в тайном соумышленничестве с моей женой. И тетушка строго наказывала не освобождать Бестужева из ссылки". То было фантазией, и никогда так не говорила покойная императрица...

Прусский мир был объявлен императором при еще не остывшем трупе государыни. Эйтинский мальчик кричал, что готов быть полковником у великого прусского короля. Он сшил себе прусский мундир и надевал перед гвардией и двором. А потом русскую армию, которая только что заходила в Берлин, отдал под команду этому королю. Крахмальные куклы маршировали по проволоке...

Она вела свой, внутренний, счет. Когда он бегал по церкви, стуча сапогами, вся в черном, она молилась у гроба. Рассудок тут сливался с чувством, и печаль в лице не была поддельной. Императрица перед концом все чаще звала ее к себе и подолгу молчала, будто пытаясь разглядеть что-то за смутным пологом.

Пять недель ее прошли у гроба, даже когда пахло уже нестерпимо. От того запаху мутилась голова, но она взяла из рук побледнелого мужа и надела корону на голову покойной императрице. В храме она слушала службу, не вставая с колен, и при выходе ее люди в лаптях снимали шапки. А в заметенный снегом вечер, когда в безмолвии кусала руки, от нее навсегда унесли тайно рожденного сына. Ей хотели показать его, но она плотно закрыла глаза...

Император широко и неровно размахивался во все стороны. Граф Шверин, взятый русскими в плен и вдруг ставший полномочным министром прусского короля, осторожно следил за его рукой, которая уже один раз попала ему в лицо. Присланный в помощь ему барон Гольц с холодным вниманием наблюдал происходящее. Эйтинский мальчик кричал им по-немецки, что сотрет в порошок Данию и вернет принадлежавший его предкам Шлезвиг. Датчане еще будут лизать им зады, а великий Гольштейн покроется новой славой. Уже сделана команда графу Румянцеву для русской армии поскорее выступить и утвердиться в Мекленбурге. Даже верховые лошади его туда отправлены. А отпраздновав тезоименитство, он выступит на датчан еще и с русской гвардией...

В ряд сидящие на правую сторону от императора голштинские офицеры троекратно прокричали "хох!". Русские за столом посматривали в ее сторону. Она улыбалась с усталой приветливостью...

Покойная императрица еще лежала в церкви, когда к ней явилась юная княгиня Дашкова. Бледная, с горящими глазами, она больно стиснула ей руку... "Против вас замышляется подлость. Моя родная сестра Елизавета Воронцова готова, по тупости своей, опозорить всех нас. И отвратительный муж ваш не стесняется строить по отношению к вам преступные планы. Всем это известно. Необходимо спасти вас, наследника и Россию!"

Никаких сомнений не было у нее в отношении молодой графини. Та открыто выражала неприязнь к ее супругу, а к ней была привязана со всей русской пылкостью. Но она только опустила глаза: "У меня нет никаких планов. Мне остается одно: мужество несчастной женщины и упование на Всевышнего!"

Еще и еще раз приезжала графиня, звала к действию. Император говорил ей: "Будьте к нам хоть чуть любезнее. Придет время, когда будете жалеть, что столь пренебрежительно обращались со своей сестрой!" — "Но есть же у вас супруга!" — прямо возражала та. "Супруге моей нравится молиться, так что монастырь ей станет впору!" — отвечал император. Все при дворе знали о таком его мнении. Графиня рассказывала о том, не выпуская ее руки: "Верные чести и отечеству люди не будут сидеть сложа руки!"

Она слушала со вниманием и знала больше юной графини...

Не все вопреки правильному смыслу делал эйтинский мальчик. Замышляя против нее, он, по устоялой привычке, исполнял, о чем говорилось, когда еще прибежал к ней и ходил вместе по комнате. В один вечер объявил он вольность дворянству. Получая от государства для содержания и прокорма ленные поместья, эти люди кровью обязаны платить за то. Только одни имеют много, другие — мало, а большое число уже никаких прибылей не имеет, кроме как от службы. Так что имеющим открывается воля бежать от нее, а неимущим — за них служить и воевать.

С великой тщательностью должно было такое готовиться, поскольку дворянство выражает тут смысл и дух. Чтобы родиться ему, проникнуться честью, научиться грамоте и обиходу, многие века прошли в бедствиях и крови. И нельзя транжирить такого богатства, решать с учетом оборотной стороны дела...

Также и с церковью. В надобности возможно колокола на пушки переливать, только зачем иконы из храмов выносить или не ко времени требовать укорочения одежды у священнослужителей. Великолепие православной службы суть политика, знаменующая чувства этого народа.

С Тайной же канцелярией его императорское величество прямо сделал, что ею с опальным канцлером намечалось. В нынешнее цивилизованное время "слово и дело" стало позором перед целой Европой. Да только ничем дельным не заменена необходимая в государстве розыскная служба. Как в персидском серале, на нашептывании и клевете все строится...

Знакомый скоросый голос один звучал в наставшей тишине. Его императорское величество провозглашал здоровье императорской семьи, и сразу затем короля Фридриха. В первый раз она отпила из бокала, а в оба других лишь приблизила вино к губам. Эйтинский мальчик смотрел на нее в упор со злобной плаксивостью. Все притихли. Он оглядел стол, нашел глазами Елизавету Воронцову. Та отвела круглые локти от стола, высокомерно надула губы. Император схватил за руку стоявшего за ним адъютанта Гудовича, зашептал что-то ему в ухо...

Она не смотрела, как идет к ней длинный Гудович, сгибается в поклоне:

— Его величество спрашивает у вас: почему не изволили встать, когда был сделан тост за императорскую фамилию?

— Но императорская фамилия — это его величество, я и наш сын! — отвечала она тихо, так и не взглянув на адъютанта.

Тот пошел назад. Но не дошел до места, как император закричал:

— Скажи этой дуре, что к императорской фамилии принадлежат также голштинские принцы, которые тоже здесь!

Она сидела, не поворачивая головы. Тогда эйтинский мальчик наклонился, сбивая бокалы, уперся руками в стол и закричал пронзительно:

— Дура... дура!..

Она могла бы сдержатъ слезы, но не стала этого делать. Лишь повернулась к графу Александру Сергеевичу Строганову и попросила развлечь ее. Все покрыло голштинское "ура"...

Из-за стола она встала, когда император закричал, чтобы все выходили на двор. Елизавета Воронцова, окатив ее торжествующим взглядом, первая поплыла за ним. Круглое и белое, с короткой шеей лицо ее выражало тупую важность. Сановники, молодые и старые, бросились следом. Тогда она повернулась и ушла в другую дверь.

— Арестовать ее... В крепость!

Голос эйтинского мальчика будто сверлил уши. Она посмотрела из коридора в приоткрытое окно. Император на дворе размахивал руками, а голштинский дядя Георг в чем-то тихо убеждал его.

Император нехотя махнул рукой Гудовичу, отменяя свое решение, потом вдруг захохотал, запрыгал на одной ноге, толкнув огромного генерала с лентой через плечо. Тот упал на землю, но быстро поднялся, тонко захихикал и, встав на одну ногу, поскакал за государем. Через минуту уже все, бывшие во дворе, скакали на одной ноге, сталкивая других на пути. Император схватил с подноса у лакея бутылку и обливал мужчин и женщин английским пивом. Некоторые утирались, отходили в сторону. Голштинцы хохотали во все горло. Иностранцы стояли неуверенной группой на лестнице и переглядывались друг с другом...

- Урод опять от Лизьки Воронцовой убежал...
- Видать, с Куракиной?.. Тогда новых указов жди!
- А Куракина что ж... от Гришки да к уроду?
- Ну, Гришка с ним за то в полном расчете!

Она лежала свободно, как хотела. Голоса, даже малейший звук стаканов шли снизу беспрепятственно. А отсюда ничего не было слышно. Так здесь строилось на русский лад, чтобы в светелке обособлена была спальня...

А уродом они называли ее супруга. Когда от своей страсти убежал он на целую ночь с Куракиной, то оправдывался потом, что с секретарем Волковым указ о дворянской вольности сочинял. Потому и был объявлен этот указ столь скоропалительно...

Ровное, сильное дыхание чувствовалось рядом. Протянув в полутьме руку, она отвела у него со лба мягкую прядь волос, тихо позвала:

— Криша.

Он задвигался, с ленивой силой потянулся, так что скрипнул пол возле кровати. Потом, не глядя на нее, сел, спустив голые ноги, и волосы снова рассыпались ему на лоб.

— Чего это у тебя: язык подрезан? — Он хмыкнул снисходительно. — Гриша... Разве же трудно?

Пройдя к буфетничку, он налил в кружку черного ревельского пива, долго пил, запрокинув голову. То был не нарисованный воображением, а чуть пахнувший потом живой могучий бог из плоти и крови. Красавица Куракина недаром гонялась за ним по всем

домам и трактирам. А в расстройстве уступила вниманию эйтинского мальчика...

Она с чувством повторила:

— Криша...

Он возвратился, без всяких разговоров передвинул ее удобней. Не прикрывая своих желаний, обращался он с ней. Она подчинялась с расчетливой готовностью, бурно приближаясь к мигу, когда открывается небо и вся жизнь вдруг заключается в одном мучительно-радостном и необъяснимом вздохе. Потом уже спокойно она слушала его нараставшее дыхание. Это большое тело защищало ее от окружающей угрозы...

Все он делал естественно, никак не скрывая временной пресыщенности от нее. Помнился другой, с благородным сарматским профилем, который сразу после всего заставлял себя ласкать ее с преувеличенной пылкостью. Подобная воспитанность чувств свидетельствовала о слабости...

Она заговорила о том, что невидимой нитью связало их навеки. Тайно рожденный сын, в котором не было сомнения, был назван его отчеством. На лице его не виделось волнения. И одевался он, не стесняясь того, с удобством натягивал исподнее, выправлял рубаху. В движениях была надежность.

Потом он с ожиданием посмотрел на нее. Она достала из висящего при кровати платья свернутый пакет, отдала ему. Пока этой части из взятого у некоего лица стотысячного займа было достаточно. Английский посланник на ее просьбу так не дал ничего. Деньги назначались для дела, а коль прокутит что-то с товарищами, то тоже на пользу...

Перед уходом вниз он оглянулся. И вдруг улыбнулся ей с открытостью, как когда-то мужик в лаптях через решетку сада. Она любила эту его улыбку.

— Кришка!

Он не пошел назад, лишь светло сверкнул глазами. В первый раз на речном льду засмеялся он так, перед тем как ударить противника своим особым, орловским ударом...

Внизу уже громче сделались голоса. Раньше там разговаривали Алексей Орлов и Пассек. Сейчас прибавились другие. Она различала их без ошибки: старший Рославлев, Бредихин, Хитрово, Баскаков. Молодой сильный голос кричал:

— Видишь, какой сей герой: нашими руками воюет Данию...

Ему с насмешливым спокойствием отвечал Алексей Орлов:

— А что же, и выступишь, коли повелел.

— Как бы не просчитался!

Она не знала этого голоса: дерзкого, напористого, но совсем мальчишеского. В детстве она старалась представить себе человека по голосу. Ей было интересно угадывать.

— Ты не бунтуй, Потемкин. В срок надо делать...

Гришка говорил ей про этого Потемкина из гвардии, которому вовсе немного лет. Зато за ним унтер-офицерство пишется.

— Фридриху-королю до Немана все вернул!..

— Фельдмаршалом русским своего дядю-немца...

— В прусские мундиры гвардию одеть...

Из общего мужского шума она выделяла только отдельные фразы. Юная графиня говорила ей про умного Панина, про расчетливого Волконского, даже что архиепископ Новгородский в числе соумышленников, да только все это не выходит за форму римского квадрата. Есть некая другая сила, с самого начала угаданная ею. Она уже знала: русские скачут на одной ноге, они терпеливы, как первые христиане, льстят безоглядно и сгибаются в поясе, но только все это неправда. Есть еще некий ровный, неослабевающий ветер. А ей уже тридцать три года, и это услышанное из сказок древнее русское число...

Раздался стук подъехавшей с задней стороны дома кареты, тихий двойной удар в дверь. Одетая все в то же темное платье, что на похоронах императрицы Елизаветы Петровны, она спустилась по другой лестнице в ночную тьму.

II

Алексей Петрович Бестужев-Рюмин смотрел в окно. Несмотря на лето, черная вековая грязь простиралась во всю улицу, прерываемая омутами стоячей воды. Телеги ехали не посередине, а жались к домам, забирая и пешеходные мостки. Люди прыгали там с доски на доску, проваливаясь выше сапог в прогнившие тротуарные дыры. Каждый день он ви-

дел с самой пасхи, когда от нового императора ему дозволено было для лечения переехать из Горетова сюда, в уезд. Один лишь он не был вызван в Петербург после кончины государыни...

Третий день уже на той стороне улицы мужики-артельщики мостили тротуар. Старые плахи сгнили и ушли под грязь, и новые доски настилали прямо на них. Так тут делали из года в год, и коли усердно копать, то обнаружится настил еще князя Рюрика.

А проще всего было бы прокопать от улицы дренажную канаву. Он специально ходил и смотрел за домами овраг, куда бы и стекала вода. Летом и зимой тут было бы сухо. Но только думать здесь не приучены. Еще царь Иоанн Васильевич за самовольное умствование головы снимал. От пуганого народа не жди подвижности ума. Петр Великий подтолкнул к рассудку, да только наследие его, наподобие этих досок, под грязь уходит. К тому прибавить, что и городничему на пользу всякий год заново улицу мостить...

Ничего, кроме здравого смысла, не нужно России. Всего в ней достаточно, лишь бы отваги у начальства поубавилось. А то все наслаивают да наслаивают на вековое болото тротуары, а вместо жилищ монументы ставят. Лишь канавы, чтобы отвести то болото, не хотят выкопать. Рожденному здесь так и представляется, что нету другого способа жизни...

Отошедши от окна, он достал из-за печки сложенное письмо, что привезли ему утром, начал вторично его читать. Все происходило, как предвиделось с самого начала. Кильский ребенок по общему немецкому образцу в высокий пример ставит себе прусского короля, а вместе и Россию принуждает к службе природному врагу. Такого никак не может долго происходить. А со здравым смыслом возле него лишь один человек. И того не может быть, что только молится она да ждет ссылки в монастырь. Сей характер он достаточно изучил. Даже и конец может угадать...

III

Корпус генерала Чернышева в пятнадцать тысяч человек с тысячью приданных казаков скорым маршем шел на соединение с прусской армией, приго-

товленной атаковать австрийцев. К концу дня был объявлен общий привал. Роте капитана Ростовцева-Марьяна определен был бивак между дорогой и лесом. Пока составлялись ружья в козлы и устраивался ночлег, он не смотрел по сторонам. Потом вдруг увидел лес, за ним поле, пошел между деревьев...

Да, на том самом месте он стоял. Даже куст рябины был прежний, только разросся в стороны. Тогда, погнавшись за зайцем, он обирал с веток промерзшие ягоды. Сейчас рябина начинала цвести.

У него вдруг забилося сердце. Почудилось: лишь обернется, и все возвратится назад. Снега станет по колено, и молодой, без шапки, будет нести он на руках принцессу с золотыми глазами. А может быть, и не было ничего того, и только услышал сказку...

Он резко повернулся. Там, где располагалась его рота, слышались громкие голоса. Отводя рукой ветви, чтобы не задела голову, где рубанул его пруссак, капитан Ростовцев-Марьян поспешил из леса.

Посредине дороги стоял их полковник Фонвизин и молча пучил глаза. Ему что-то кричал, не слезая с лошади, прусский майор с аксельбантами. Плотной группой теснились королевские гусары на крупнозадых немецких лошадях.

— Чего он хочет? — спросил полковник у едущего с пруссаками русского штабного офицера. Тот с недоумением посмотрел на полковника, сказал коротко:

— Говорит, что это русское лентяйство — по сорок верст в день идти. Хочет, чтобы скорей...

Пруссак продолжал что-то выкрикивать отрывисто, будто отдавая команду. Съехавшиеся к дороге русские офицеры хмуро приглядывались к гусарам. Фонвизин послушал еще немного, повернулся и пошел дальше по лагерю. Майор осекся на полуслове, помянул тойфеля¹, и пруссаки поскакали назад к реке, откуда приехали.

— Что же это, Петр Иванович немца не понял? — удивился Ростовцев-Марьян. — То ему все: фон Визин да фон Визин!

Шемарыкин подумал, подмигнул лукаво:

— А может, и не хочет вовсе понимать его Петр Иванович...

¹ Черта (нем.).

ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА

I

Стена вспыхнула золотом и пурпуром. Раннее, прямо от короткой летней ночи, солнце било в венецианское стекло, преломляясь в два цвета на светлых шпалерах. Она одна была в Монплезире...

Так теперь совершалось часто. Двор с его величием и дамами шумно проезжал в Ораниенбаум, а ее оставляли здесь, в Петергофе. Император отложил на неделю войну с Данией, чтобы отпраздновать в день Петра и Павла свое тезоименитство.

Какая-то особенная, первозданная тишина стояла в мире. Но она знала, что это не так. Неслышный ветер продолжал дуть с неослабеваемой силой. И когда застучали колеса по гранитной брусчатке, она не удивилась. Протяжно и гулко заржали кони...

Вошла запыхавшаяся Шаргородская, и сразу за ней — гвардеец со спокойным лицом. То был Алексей Орлов. Он посмотрел на приготовленное ею парадное платье, на другое — траурное, висящее при ширме, потом на расписанный амурами потолок:

— Все готово к началу... матушка-государыня!

Он говорил с серьезностью, даже тени двусмысленности не было у него на лице:

— Что же случилось? — спросила она спокойно.

— Пассек арестован...

Через четверть часа она уже мчалась в дорожной карете. Рядом сидела немая от волнения Шаргородская. Алексей Орлов с кучером нахлестывали лошадей, а на запятках стояли Шкурин и камер-юнкер Бибилов. Ей казалось, что один только миг прошел с тех пор, как ветер понес ее в неопределенную даль...

Уже сияли лучистые при солнце шпили, когда увидели встречную коляску. Юный Федор Бястинский осадил свежих лошадей, выпрыгнувший Гришка Орлов взял за руку, перевел ее к себе. Коляска сделала полукруг и покатила впереди кареты. Люди бежали навстречу: мужики, бабы. Первое лицо, что разобрала она, был широконосый солдат Савельев, чьего младенца она крестила. И сразу пришла уверенность...

Они скакали солдатской слободой Измайловского полка. Народ бежал с ними. Едва галопом влетели на

квадратный мощный камнем двор, барабаны ударили тревогу. С неба отзывался усиленный камнем гром.

— Ур-ра-а!.. Матушка-государыня...

Коляска будто вкопанная стала на песчаном плацу посредине двора. Сразу несколько рук подняли ее, поставили на землю. В запыленном траурном платье она улыбалась солдатам, всем видом свидетельствуя о своей правоте. Им, излюбленным полкам великого царя, отдавалась она под защиту.

— Матушка-государыня... Присягу!

Она оглянулась. Гришку оттерли от нее. Одни измайловские мундиры были вокруг. Ей целовали руки, крестились, плакали.

— Присягу!..

Широкое пространство освободилось впереди. Мелкими шажками, в чуть набок надетой епитрахили и с просветленным лицом к ней спешил отец Алексей Михайлов, иерей Измайловского полка.

...В верности... Екатерине Второй, императрице и самодержице всероссийской, и прочая...

Ветер лишь сделался слышнее. Она не удивлялась. Полковник измайловцев и гетман малороссийский Кирила Разумовский, опоздавший к сбору, твердо подошел, преклонил колена, поцеловал ей руку. "С богом... к семеновцам!"

Теперь вся в черном, одна стояла она в старой истертой коляске. Впереди с крестами шли отец Алексей и отец Андрей из слободской церкви. Рядом ехал граф Кирила Григорьевич с офицерами, по бокам и сзади коляски плотной толпой шли солдаты. "Ура" слышалось в каждом квартале, набирая все новую силу. По Сарскому мосту навстречу, не выпуская ружей, бежали ликующие семеновцы. Не переходя уже Фонтанки, они вместе повернули по Садовой улице к Неве. Сзади догоняли преображенцы.

— Майор Воейков, матушка, задержал нас, так мы его в речку затолкали! — крикнул ей какой-то солдат.

И опять катилось "ура". Елизаветинские лейб-компанцы, которых раскассировали и подменили голштинцами, явились в полной своей форме. Подковный гром нарастал, синим пламенем пылал во всю ширину улицы гранит. Конная гвардия, подойдя на рысях, приняла эскорт и в парадном строю двигалась

к Невской перспективе. Все лица были повернуты к ней.

— Всем нам любезной императрице и государыне — ура! — крикнул красавец вахмистр, и она узнала голос. То был Потемкин, которого слышала у Орловых.

— Благословение... благословение божье! — слышалось по рядам. Оберегаемая с боков и сзади, прошла она в золотую тьму храма. Лишенный плоти, непреклонный в своей правоте лик Божьей Матери проступал из-за кадильного дыма.

...Государыне императрице и самодержице Екатерине Второй и государю великому князю и наследнику-цесаревичу Павлу Петровичу многая лета!...

Небо из глубины храма казалось сине-розовым. Звезду нельзя было увидеть дважды...

Воздух дрожал от колокольного гула. Измайловский и Семеновский полки беглым шагом распределялись вокруг Зимнего дворца, преображенцы занимали внутренние караулы. Вдоль улиц строились роты Ямбургского, Невского, Копорского полков. Она знала всех их по значкам и командирам. С грохотом катилась артиллерия. Подходили и становились сзади дворца полки Астраханский и Ингерманландский.

От дальних улиц нарастало "ура". Теперь она ехала шагом. Справа на подножке коляски стоял Гришка Орлов, слева — генерал-поручик Вильбуа, прибывший прямо от армии. Сзади ехали граф Кирила Разумовский, князь Волконский, граф Брюс...

Коляска встала перед дворцом. Она не произнесла еще ни одного слова. Все совершалось чьей-то одной волей.

...Божьим промыслом... императрице и самодержице Екатерине Второй...

Преосвященный Вениамин, архиепископ Санкт-петербургский, в шитых золотом ризах и с полным клиром обходил по площади войска для присяги. В крепости из-за реки били пушки. Голуби беспорядочно носились в теплом воздухе...

Она всходила по пустым ступеням. В новый дворец не завезли еще и мебели. В нишах темнели провалы. Снизу догонял ее граф Никита Иванович Панин. Он вел за руку восьмилетнего мальчика в белых рейтузах и голубых башмаках. Мальчик дернулся,

давая ей руку, нос сморщился в кружок, и некая брезгливость пробежала в ней. Всякий раз происходило узнавание, когда видела сына. Она вывела его на балкон, подняла рядом с собой. Стонущий звук прошел по толпе. Внизу кто-то громко плакал. Она посмотрела туда и чуть не уронила наследника от удивления. То был Алексей Орлов...

Посредине белого зала теперь сидела она, и чуть сзади, на стульчике, ее сын. Преосвященный Вениамин со светлым лицом принимал присягу у сената и синода, у членов коллегий, сановников, служителей дворца, всех случившихся тут людей. Они шли затем к ней, и она кивала, как научила себя тому много лет назад: всем вместе и как бы всякому отдельно.

...Божиею милостию мы Екатерина Вторая, императрица и самодержица всероссийская, и прочая, и прочая, и прочая... Всем прямым сынам Отечества российского явно оказалось, какая опасность всему российскому государству начиналась... Церковь наша греческая крайне уже подвержена оставалась последней своей опасности... Слава российская, возведенная на высокую степень своим победоносным оружием, чрез многое свое кровопролитие, заключением нового мира с самым ея злодеем отдана уже действительно в совершенное рабощение... Принуждены были, приняв Бога и его правосудие себе в помощь, а особливо видя к тому желание всех наших верноподданных ясное и нелицемерное, вступили на престол наш всероссийской самодержавной...

Раз за разом читался манифест от ее лица. Печатанные листы его, привозимые из подвала академии, раздавались народу. От Калинин моста прибыл стоявший за городом личный лейб-кирасирский полк императора, арестовавший своих немцев-офицеров с командиром Будбергом, и в строю принял присягу...

Все!.. Она встала с трона и твердо пошла к выходу. Граф Панин вел за ней наследника. Войска делали дислокацию к старому Елизаветинскому дворцу на Мойке. Когда она явилась туда, служители и лакеи еще несли с той стороны Полицейского моста мебель и посуду от графа Строганова. Она прошла в комнату, где жила великой княгиней, сама показала, куда поставить письменный стол. Ей сказали, что отправле-

ны адъютанты в Лифляндию к графу Чернышеву и к Румянцеву с присяжными листами и приказом к русской армии закрыть заставы и не пускать никого, невзирая на чье-то достоинство.

— А Кронштадт? — спросила она.

Сановники и генералы переглянулись. Она подошла к столу, взяла четверть бумаги и с твердостью написала: "Господин адмирал Талызин от нас уполномочен в Кронштадт, и что он прикажет, то исполнять. Екатерина". Потом прошла к окну и остановилась, не сразу все понимая. Полки на улицах расстроились. Тысячи людей в подштанниках окружили военные повозки-фуры. Каптенармусы принимали новую императорскую — на прусский манер — форму, и взамен давали старую, петровскую. Прусские каски катили ногами, сбрасывая в речку. Она одобрительно кивнула.

Через солдатскую толпу, провожаемая конногвардейцами, ехала сюда карета с императорским вензелем. Из нее вышли канцлер Михайла Ларионович Воронцов, Александр Иванович Шувалов и князь Трубецкой.

Она стояла и ждала их у стола. Михайла Ларионович отдышался, выставил вперед ногу и заговорил, словно бы читая с невидимого листа:

— Препоручено мне помазанным государем нашим, самодержцем и императором всероссийским Петром Федоровичем...

По ее знаку он послушно замолчал, пошел за ней к окну.

— Видишь, граф, не моя на то воля, — сказала она ему, показав на улицу. — Иди, присягай!

Граф поцеловал ей руку и чуть не бегом заспешил в залу к преосвященному Вениамину.

— Ну, а тебе так сказано убить меня? — спросила она у Шувалова. Лицо у того исказилось по шраму и снова сделалось мертвым.

— Ладно, идите, присягайте! — разрешила она.

Когда проходила она к наспех устроенному обеду, то увидела в коридоре бледного человека. Тот был чем-то знаком ей.

— О моя госпожа, — зашептал он по-немецки, — там солдаты вашего дядю Георга убивают!

Теперь она вспомнила. Это был лакей того самого

принца Георга-Людвига, назначенного вдруг главнокомандующим русской армией. Она целовалась с ним когда-то и обещала стать женой. Как видно, проклятие лежало на всем мужском роде голштинского дома. Особую страсть имели там к игральным солдатам. Только солдаты вдруг сделались живые. Пройдя в залу, она повернулась к стоящему здесь офицеру:

— Нарядить караул к домам нерусских немцев. Пусть едут, кто захочет, к себе. Чтобы не сказали в Европе, что тут случился варварский бунт!..

”Господа сенаторы! Я теперь выхожу с войском, чтобы утвердить и обнадежить престол, оставляя вам, яко верховному моему правительству, с полною доверенностью, под стражу: отечество, народ и сына моего”.

Она четко подписалась: Екатерина. Потом проверилась в трюмо: семеновский мундир, наспех подшитый на ней Шкуриным, сидел не морщась. Вспомнив что-то, она улыбнулась и прошла в камердинерскую. Там, закутанный в голландскую скатерть, сидел корнет Александр Талызин, совсем еще мальчик.

— Вам принесут одежду, шевалье, — сказала она по-французски. — А эту, когда верну вам, будете хранить. Она становится историей!..

На белом коне, с лентой Андрея Первозванного через грудь и саблей в руке, она делала смотр гвардии. Рядом, также на коне и в гвардейском мундире, сидела юная графиня Дашкова. Той до сих пор представлялось, что это пылкие разговоры привели к революции. Гвардия проходила повзводно, двойными шеренгами, и она улыбалась всем и каждому. Два часа назад уже ушел к Петергофу Александр Орлов с гусарами и казаками. Следом выступила артиллерия под командой князя Мещерского. Объявив себя, по примеру великого царя, полковником, она сама вела гвардию. Стояла белая ночь все того же первого дня, но фланговые роты и эскадроны зажгли факелы. Казалось, дымные звезды движутся по земле...

Теперь она снова была в той самой комнате Монплезира, куда приехал за ней вчера утром Алексей Орлов. На какую-то минуту перестал дуть ветер. Солнце прошло на другую сторону, горевшая нака-

нуне пурпуром и золотом стена сделалась одноцветной шпалерой...

Никто здесь ничего не в силах сделать, кроме самой власти. К такому абсурду должна она прийти, чтобы уже ничего не оставалось, как сразу всем выйти на улицы. Столь же легко построить тут новый абсурд, поскольку другого не знали. Любой охотник может объявить себя избранником судьбы, и сразу два императора будут к его услугам: один в Шлиссельбурге, а другой скоро к нему прибавится.

Письмо за письмом слал ей эйтинский мальчик. Она правильно сделала, вспомнив о Кронштадте. На яхте императорской и с голштинской галерой приплыл он туда, да только прогнали его, пригрозив пушкой. Еще через Курляндию хотел он бежать, пользуясь подставами лошадей, но и к этому необходима решительность. Все он делал, как ходил, с нелепостью движений. Грозным и неистовым российским ветром сдуло его на сторону...

С первого шага здесь услышала она этот ветер. Связанный с общей природой мира, дул он ровно и неотвратимо. То лишь приспособляясь к нему, когда учила язык и меняла веру. И что в полках давали чарку водки от нее солдатам, было той же детской игрой, что разговоры юной графини. Некий высший смысл имеет сей ветер, и абсурды скатываются и отлетают от него, как мертвые листья с дерева...

Она видела черную, глухо закрытую карету, что проехала полчаса назад к кордегардии. Зашел Алексей Орлов, как и вчера утром посмотрел на потолок. Красивое, как у брата, лицо его было у него, только некая ироничность таилась у губ. И еще светлые глаза были холодней. Он не ждал от нее приказаний.

— Так что, матушка-государыня, со мною там будут Пассек, да Баскаков, да князь Барятинский. Ну и гренадеры. Укараулим, в случае чего...

Во рту и возле глаз у нее стало сухо. Ей показалось, что Алексей Орлов усмехнулся. Но тот смотрел прямо и словно бы глуповато.

— Он, правда, в Ропшу хочет? — спросила она.

— Сам выбрал. Скрипку туда просит привезти.

Она с трудом вспомнила заросшую лесом мызу, каменный дом с квадратными окнами. Один только раз была она там, когда покойная императрица пода-

рила его великому князю. Эйтинский мальчик хотел быть у себя...

Опять ей почудилась усмешка в глазах Алексея Орлова. Она громко сказала:

— Пусть едет в Ропшу, пока готовят место в Шлиссельбурге. И чтобы солдаты не являли грубости!

— Все будет исполнено по твоему желанию, матушка-государыня...

Холодная прозрачность была у него в глазах. Она прошла к окну и смотрела, как от кордегардии отъехала все та же закрытая карета. Впереди и с боков скакали гвардейцы. Шум колес удалился и быстро затих, так что снова стал слышен дующий с залива ветер...

На восьмой день в тот же час прискакавший офицер потребовал немедля пропустить себя к ней. Она была в старом дворце, в своей рабочей комнате. Офицер вошел, и она тотчас узнала его. То был поручик Баскаков из Ропши. Он подал ей пакет. Она разорвала его и нашла в середине помятую бумагу с пятнами разводов. Наискось по ней неровными буквами было написано: "Матушка милосердная государыня! Как мне изъяснить, описать, что случилось: не поверишь верному своему рабу; но как перед Богом скажу истину. Матушка! Готов идти на смерть; но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка — его нет на свете. Но никто сего не думал, и как нам задумать поднять руку на Государя! Но, Государыня, свершилась беда. Он заспорил за столом с князем Федором; не успели мы разнять, а его уже не стало. Сами не помним, что делали; но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня хоть для брата. Повинную тебе принес, и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить. Свет не мил: прогневали тебя и погубили души навек..."

Ей почему-то сейчас вспомнилось, как плакал недавно Алексей Орлов. Она сложила бумагу назад в пакет и положила на самый низ в шкатулку. Потом постояла и широко перекрестилась — точно так, как делала это Елизавета Петровна.

II

Граф Бестужев-Рюмин ясно нам открыл, каким коварством и подлогом недоброжелательных дове-

ден он был до сего злополучия и тем возбудил в нас самих не токмо о нем достойное сожаление, но и крайнее удовольствие...

Он смотрел перед собой, а видел все по сторонам. Таковое качество вырабатывается при долгой службе государственной, и когда нет этого таланта, ни к чему все остальное. Явственно представлялось движение лица у Михайлы Воронцова, бывшего первым источником его опалы и ареста. Одновременно видел он, как Александр Иванович Шувалов, главный по нему следователь, внутренним усилием держит щеку, чтобы не дернулась ненароком. Также и Трубецкой с Бутурлиным являют радостную одобрительность, понимая, что не их теперь время.

Он же, вторично в жизни приговоренный к смерти, стоит первым к престолу и слушает читаемый двору и сенату высочайший манифест о своем оправдании. Шесть недель назад прискакал в Горетово измайловец Колышкин и закричал с порога: "Ваше сиятельство... с именным повелением, не теряя часа!..."

Высокая политика в том, что оставлены при троне Воронцов и Шуваловы, хотя первые неприятели были государыне. В такие минуты следует объединить все — прежнее и новое для одного державного интереса. С тем большим старанием будут служить, что понимают свою ущербность. А там с почетом пойдут в отставку, когда минует надобность в их внешнем присутствии. В таком шаге очевидна государственная зрелость, чтобы без болезни менять румб корабля. Лишь слабый и нерассудительный ум стал бы с места врагам головы рубить.

Также и чувствам не позволяет новая государыня явиться в политике. Известное лицо, будучи награждено за услуги при воцарении, строго знает свое место. А что о женитбе будущей говорят, так это завистники стараются. Тут скорее чувственность используется для дела, и такое для мужчины-государя великая редкость. Кто знает, не подходит ли более для России материнское правление...

Все высочайшие милости знал он уже наперед...
...За долг христианский и монарший мы приняли: его, графа Бестужева-Рюмина, всенародно показать паче прежнего достойным покойной тетки

нашей, бывшей его государыни, доверенности... возвращая ему с прежним старшинством чины генерал-фельдмаршала, действительного тайного советника, сенатора и обоих российских орденов кавалера с пенсией по 20 000 рублей в год...

Что же, и ему правильно обозначено место. Тут фельдмаршалство — пустая высота. Великим ядом власти навечно отравляется человек в службе. Хоть и от себя скрывал, все помыслы были к возврату в великие канцлеры. Даже и силу он чувствует в себе для прежнего дела, однако призрачно это. Не потому, что на семидесятом году медлительней делается ум, а только лица вокруг уже все почти новые. Будто в некоем другом мире живешь.

Впрочем, эта государыня такова, что великому канцлеру быть лишь секретарем при ней. А что дипломатии она обучена, так своевременная кончина супруга-императора в том удостоверяет. Приказу никому не давалось, и все сделалось само собой...

То его произведение — сия монархия на троне. Правда, что и материал соответствовал. Обуглить сердце в первом чувстве и потерять двух детей стало необходимым, чтобы закалить алмаз. А то уж сама Россия так устроена, что все преобразует в свой образ, и стократно истовой природных апостолов становятся ее прозелиты...

III

Донеслись из ночи выстрелы. Кто-то скакал от мельницы, кричал:

— Пруссак... пруссаки!

В лагере простучали тревогу, потом отменили...

Утром узнали, что было нападение на казачий пикет у мельницы: не то пруссаки, не то какой неизвестный отряд. Увели четырех отпущенных пастись лошадей...

Ростовцев-Марьин с Шемарыкиным шли к мельнице, где разместились маркитантская лавка, когда увидели толпу солдат.

— Что тут? — спросил Шемарыкин.

— Да вот казачка наказывают, а он не кричит.

— Как так не кричит?

— Не хочет, значит, прощенья просить. Казак вольный...

Ростовцев-Марьин шагнул на мельничный двор. Там на вкопанной в землю скамье лежал человек с задранной рубахой. Вытянутые вперед руки были прихвачены ремнем так, что нельзя было отвернуть головы. Здоровенный солдат с добродушным лицом раз за разом отводил руку с ногайской плетью и с маху опускал ее на голую спину лежавшего. Багровые следы вспухали и тут же пропадали после каждого удара: спина была как подушка. Напротив на принесенном из дома табурете сидел полковник Илья Денисов, командовавший казаками, и смотрел в одну точку.

Непонятной была тишина, при которой все происходило. Молчали стоявшие во дворе казаки, молчали солдаты, молчал полковник. И человек под плетью молчал, только смотрел от скамьи темными, без зрачков глазами.

— Третью сотню уже принимает! — тихо рассказывали возле ворот. — Ординарцем он, только коня у полковника не укараулил.

— Так парень лихой, головастый...

Светило солнце. Кони у забора мотали головами. Время от времени где-то кричал петух. Немец, хозяин мельницы, на крыльце как вынул трубку изо рта, так и стоял неподвижно. Плеть взлетала и опускалась беззвучно.

— Забьет он его, если голоса не подаст!

— Не-е, молчать будет. Вольный...

Полковник Денисов вдруг встал с табурета, ни на кого не глядя пошел в дом. Солдат растерянно посмотрел ему вслед, нерешительно опустил руку с плетью. Хорунжий, стоявший у скамьи, подождал еще немного и стал развязывать ремни. Казак поднялся, пошатнулся, оправил рубаху и пошел к воротам...

Ростовцев-Марьин удивился, что казак оказался совсем молодой: даже борода еще не росла на лице. Только плечи были широкие, и черные густые брови круто разбегались от носа по широкому выпуклому лбу. Он шел прямо на них и смотрел все такими же, без зрачков, глазами. Они с Шемарыкиным расступились, пропуская его. Хорунжий из двора окликнул казака:

— Емельян... Слышишь, Пугачев?



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПЕРВАЯ ГЛАВА

I

Пурпурно-золотое свечение вдруг пропало из глаз. Она остановилась, подняла голову, медленным взглядом обвела все вокруг. Невидимое небо сливалось с землей. Бурые глинистые холмы неясно выделялись на одинаково серой размокшей земле, и трудно было узнать, пашня это или продолжение леса. Настойчиво каркала невидимая ворона. Набухшие сыростью деревья жались меж холмов, уходя в перелески, за которыми угадывался уже вечный лес...

Такое случалось с ней в другой жизни, когда девочкой в панталончиках с оборками носила железный корсет для уравнивания искривленного плеча. Люди и вещи оборачивались тогда другой стороной, и становилась пронзительно ясно видна их скрытая суть. Она начинала смотреть на все как бы со стороны, отделяя от происходящего свои желанья и чувства...

Вдоль черной расплывшейся дороги стояли ветхие плетеные заборы. Где-то они были повалены, и впереди поставлены новые, из зеленого еще хвороста, закрывавшие грязные обочины. Она знала, что это делалось наскоро к ее походу. За плетнями тут и там стояли мужчины и женщины, но больше было женщин. Они кланялись ей до самой земли. Она сразу выделила ту, одну, стоявшую как бы в стороне от других. На ней тоже был сдвинут на глаза платок и запашная кофта из грубой материи напущена на холщовую юбку. Только глаза смотрели со спокойным

интересом, и даже в статности фигуры не было подобострастия. Кстати, что означает это русское слово: "подобно страсти"?

Она вспомнила, у кого видела этот прямой, открытый взгляд. Прядь волос выбивалась из общего порядка у первого встреченного ею русского. Можно ли навеки привыкнуть к такому сокрытию сути? Прямо, упрямо...

Крестьянка поклонилась ей в пояс, но и это было сделано иначе. В серых, чуть навывкате глазах оставалось то же выражение некой уверенности. Высокая грудь виднелась под полукружьем запаски. Ребенок со светлым, мягко разбросанным волосом свободно держался у ее ноги. Женщина не была красивой, а была в ней лишь законченность, не допускающая бьющей в глаза яркости...

Она поклонилась в ответ народу, как и следовало русской царице, идущей в богомолье. Но смотрела на эту крестьянку. Ничто не изменилось у той в лице, словно так и должно было быть. Все уходило в какое-то неведомое прошлое. Поклоны до земли, заискивающие взгляды, варварская лесть — только атрибуты, привнесенные историей...

Бабы продолжали истово кланяться. Неизвестно почему, она не приняла этого слова и употребляла другие: крестьянка, простолюдинка. Крестьяне — в этом слове был сокровенный смысл...

Дорога разъезжалась на многие колеи, огибая бугры и выбоины, снова сходилась, подобно речке, текущей своевольно, без вмешательства человека. Посредине был насыпан песок, а в топких местах специально к ее походу положены бревна. Она вышла в понедельник 12 мая 1763 года и шла от Москвы к Ростову Великому по десять верст в день. Затем садилась в карету и ехала назад, к месту ночлега. На следующий день она приезжала на оставленное вчера место и продолжала путь. Так делала Елизавета и до нее — все русские цари. Покойная императрица заказала новую серебряную раку для мощей святого угодника Димитрия Ростовского, но не успела освятить. Завет тетки выполняется ныне ею, и это первое ее действие после коронации. С полной честностью

называла она так усопшую дочь Петра Великого. Когда природный племянник веселился со своими голштинцами, одна она стояла дни и ночи при ее гробе. Слезы ее вовсе не были актерскими...

Пошел мелкий холодный дождь, и все вокруг еще больше потемнело. Только церковь на холме светилась белизной стен и сверху золотились кресты. На миг смутно явилось ведение кирхи, тянущей из узких каменных переулков к небу тонкие шпили...

Да, она знала, что это должно было произойти, хоть даже про себя не произнесла рокового слова. В льдистых глазах Алексиса была написана судьба эйтинского мальчика. На чистом, с металлическим отливом лице бескровно белел след от вырванного в драке куска мяса. В основании шрама виднелась сухая кость, и лицо от этого почему-то казалось еще больше красивым. Лишь она одна называла так Гришкиного брата — Алексис, и тот смотрел с некой высокомерной пронией. Так же бесстрастен он был, когда она предупредила, чтобы солдаты не являли грубости к Карлу-Питеру Ульриху, который звался здесь Петром Третьим. Алексей Орлов и не думал перекладывать на нее вину за то, что обязано было случиться. Даже некая глуповатость показалась ей в нем тогда. И пьяно-умоляющее письмо его о несчастном событии дышало простодушием. Она тогда вслух прочла измятую записку при трех людях. Приказав забыть о ней, спрятала то оправдывающее ее письмо в тайную шкатулку, для истории.

— Все будет исполнено по твоему желанию, матушка-государыня! — сказал ей перед отъездом в Ропшу Алексис, и холодная прозрачность стояла в его глазах. Он давал ей возможность не мучиться совестью даже перед собой. Но ей того не требовалось. Несмотря на заботу сената о ее чувствах, она все же тайно приехала в ту церковь. Эйтинский мальчик лежал в гробу, несуразно вытянувшись, и острые локти от насильно сложенных на груди рук торчали в стороны. Глухой шарф закрывал у мужа шею. Голубой мундир голштинских гусар был на нем и непо-

мерно большие кожаные краги. Она постояла несколько минут, повернулась и ушла.

В Европе писали нелепости, меньше всего осуждая усмотренное цареубийство. Недоумение вызывала лишь логическая сторона случившегося. Свергается прямой наследник, внук государя, а императрицей объявляет себя вовсе чужая династии и народу некая ангальтинка из средней Германии. А притом единодушно утверждают, что главная причина переворота — природная русская ксенофобия, и рассказывают об избитых на улицах русской столицы немцах.

К тому же всей Европе известно, что когда в России царь, то он вправе воевать с кем захочет, резать саванникам бороды и даже менять народу платье. Только пример великого деда был тут не к месту. С внуком все происходило в карикатуре, вопреки смыслу. Для России же сей непонятный другим смысл имеет тем большее значение, и она угадала это с самого начала.

Это нестерпимая в претензии молодая Дашкова считает, что поднесла ей корону. Так же, как всякий измайловец или преображенец в отдельности мыслит себя счастливым виновником. Никита Панин да Кирилла Разумовский с Волконскими — все числят себя в голове революции. И любой пивший на радости вино мещанин не держит себя в стороне от совершенного дела. А все правда, поскольку в нарушение некоего исторического рока, назначенного сей державе, поступалось до тех пор. Отдельно от восторженной княгини знала она, отчего явится гвардия, а помимо гвардии, про что думает Панин, воображает Разумовский и размышляет сенат. На нее смотрели с ожиданием на улицах и в полках, куда ездила крестить детей, вне зависимости от ее природного или династического родства. Такова была назначена ей роль, и исполняла ее с твердостью.

Еще за два дня до всего Кирилла Разумовский отдал манифест на печатание в академию, а когда печатник испугался, спросил: "Так ты, братец, того не ведаешь, что никак нельзя больше быть такому царю?" "Все про то ведают", — отвечал печатник. "Ну, вот видишь!" И тот пошел в свой подвал к станку. Не зная вовсе о том, свое делала гвардия. Также и молодая княгиня отражала общий дух, поэтому не надо ей третировать.

других и являть из себя орлеанскую девицу. Лишь неглубоко думающие люди представляют так, что собрались пять или шесть человек, сговорились меж собой и совершили революцию...

Но и не просто это было. За всем таилось главное, открывшееся некогда ей в заснеженном лесу. Прядь волос падала со лба, не принимая искусственного зачеса. Тут и там замечались вдруг признаки этой первозданной сути: в Гришкином размахе, льдистых глазах Алексиса, упорстве старого Бестужева или спокойном взгляде крестьянки, даже у той княгини с ее идеальностями. Сквозь исторические нагромождения тем истовой взыскует правды этот народ. И потому на целых полгода надела на себя скорбное платье, полностью отдаваясь ему на суд. Всегда проиграет тот, кто хоть на миг помыслит себе, что тут нет мнения общества. В десять раз опаснее оно, чем там, где обо всем говорят свободно.

Ей, подхваченной ветром со стороны, все было видней. Тот ветер дул с портрета, который всегда находился при ней. Великий государь смотрел с гневной требовательностью. "Отец своего Отечества, блаженный и вечно незабвенный памяти Государь Император Петр Великий, Наш вселюбнейший Дед", — написала она в манифесте своим твердым почерком.

Величайший ум Европы писал ей, что философы призваны управлять народами. Только они в состоянии, отрешившись одинаково от злых и добрых страстей, содержать мир в разумном равновесии. Как искусный инженер строит по чертежу, так и просвещенный государь вооружается философией для строительства счастливого эдема своим подданным. Шведский граф называл ее философом в юбке. Пятнадцати лет она писала для него свои наблюдения жизни и сожгла их с другими бумагами, когда взяли под арест Бестужева...

Некогда читала она, что общества и народы живут по тем же законам, как звезды и планеты. У каждой своя орбита, и всякая играет свою роль в мироздании, являя общую стройность. Также и люди имеют свою судьбу. И сколь ни причудлива может быть она, но подвластна некоему высшему порядку. Ее звезда показалась ей как-то в полуденном небе.

Но больше чту сию заслугу,
Что ты, усердствуя к нему,
Достойную дала супругу
Любезну отчеству всему¹.

То Петр Великий говорит из гроба Елизавете, именно ее приискавшей племяннику в жены. Писано это, когда и мысли не случилось, что меньше чем через год сама она сделается русской императрицей. Что же тут: подлинное чувство или точный расчет планетных систем?

Тоже и к ее воцарению написал этот автор торжественную оду, не преминув здесь же поколоть своих врагов-немцев по академии. И уж в русских чувствах великана-ученого сомневаться не приходится. Но как только подумала она наградить, так поднялся на дыбы граф Кирила Разумовский, коему сей ученый всегда пенял на плохое управление академией. Она промолчала тогда, но собственной рукой написала на представлении ученого, чтобы дать находящемуся при мозаичной фабрике мастеровому гамбургцу Цильху чин коллежского регистратора. То было непонятное для мастерового отличие. Она же помнила, что этот Цильх приходится братом жене российского великана.

Стихи она заучивала наизусть, так как при том без акцента выговаривала русские слова:

Слышал ли кто из в свет рожденных,
Чтоб торжествующий народ
Предался в руки побежденных?
О стыд, о странный оборот!..²

Все тут было справедливо. Противный русскому интересу мир с поверженной Пруссией, в которой чувствовали длительного врага, стал приговором ее супругу.

Услышьте, судии земные
И все державные главы:
Законы нарушать святые
От буйности блюдитесь вы
И подданных не презирайте...³

¹ Ломоносов М.В. Ода к восшествию на престол Петра III.

² Ломоносов М.В. Ода к восшествию на престол Екатерины II.

³ Там же.

Природная готовность была в ней к тому. И если назначено ей место в планетном строе, то будет исполнять его с непреклонной радивостью. Та твердость в службе, как видно, в ней от отца. Заботливое наставление "Pro memoria" в клеенчатом переплете до сих пор лежит среди старых бумаг. И еще запах сукна в памяти, не уходивший, даже когда тот надевал домашнюю куртку. Христиан-Август, князь Ангальт-Цербстский и фельдмаршал, умер много лет назад. Покойная императрица запретила ей плакать больше трех дней, поскольку был тот не прямого королевского рода.

Что же у нее от матери, что под именем княгини Ольденбургской умерла в Париже, оставив четыреста тысяч ливров долгу? Ей приписывали даже шпионство в пользу Фридриха. Только была это живая и вздорная женщина, к которой и в долголетней разлуке относилась она с обязательной дочерней почтительностью. В неосязаемом где-то пространстве остался сожженный войной Цербст и живущий вдали некий владетельный князь Фридрих-Август, ее брат. То уже прошлые имена и термины...

Дочь Петра Великого по смерти простила ее мать и спасла ее честь, приказав посланнику выкупить из заклада фамильные драгоценности, которые и отдала ей. То было чисто русское свойство характера, и никогда такого бы не сделал в остальной Европе.

Когда еще при жизни императрицы хлопотала она перед французским правительством по устройству дел нынешнего цербстского князя, герцог Шуазель написал своему посланнику Бретелю: "Можете уверить великую княгиню, что я всегда буду внимателен к делам, интересующим ее брата. Хотя великая княгиня и не имеет теперь большого значения, все-таки ее нужно беречь, но делать это следует с большой осторожностью, чтобы не возбудить ревности в императрице и ее министрах". Граф Бретель показал ей это письмо, вместе со своим правительством провидя нечто в будущем...

Дождь не переставал, не по-весеннему мелкий, нескончаемый. Дорога теперь шла по полю, но лесные дали проступали сквозь туманную пелену. Там виде-

лась еще деревня: те же разбросанные по склону избы и белый каменный храм с золотом крестов. Звон, близкий и дальний, слышался отовсюду...

Верный Шкурин, уехавший вперед, ждал с каретой точно на том месте, где было указано. Она запретила кому-нибудь идти рядом с ней или ехать с караваном следом. Лишь шестерка конногвардейцев в отдалении провожала карету — столько же было, когда только приехала в Россию. Обтерев сама дорожные полусапоги, она села в карету и поехала назад...

В попутном дворянском доме после постного обеда и часа отдыха она сидела с бумагами от сената, от иностранной коллегии и с частными письмами. То был нерушимый распорядок, установленный ею для себя во всякий день, хоть и в богомолье. Десять месяцев назад на белом коне впереди гвардии она въехала в Петербург, и от первого часа правления пришлось с твердостью устанавливать равновесие. Уже в первый день орлеанская девица учинила скандал с Гришкой, увидев того разлегшимся на диване в приемной комнате и надрывающим конверты с сенатскими печатями. Когда же было всенародно объявлено о скорой кончине императора по причине геморроидальных коллик, то все с молчаливым пониманием приняли известие. Только эта юная фурия при всем дворе громко заявила, что отныне не знает с Алексисом, поскольку святое дело не должно иметь на себе хоть одного пятна. Пришлось тогда с твердым тактом дать узнать ей, что есть границы для ее тщеславия. Трудней всего, что и при том Катрин Дашкова продолжает видеть в ней свой составленный для себя идеал. С Орловым было проще. Гришке точно было отведено место для куражу, а Алексис все понимает без слов.

Затем Панин, а больше Кирила Разумовский с Волконским, а тут же и прочие, вздыбились на Воронцовых с Шуваловыми, прямо желая отсекания голов. Только она вела себя со спокойствием, будто ничего в государстве не произошло. Лишь улыбку свою не отдавала своим прежним недругам да сделала так, что великому канцлеру Михайле Воронцову ес-

тественно пришло в ум отъезжать на лечение за границу. Даже и вальяжного Ивана Ивановича Шувалова, кого не терпела до чесотки в пальцах, демонстрационно выделила своим вниманием. Предстояло навсегда кончать варварский обычай по личному чувству поступать с людьми, пригодными для государственного виду. Она и тайного секретаря Волкова, с псовой послушностью служившего мужу, определила губернатором в Оренбург, и враг его — старый Бестужев — принял то с понятливостью. Также Гудовича, мужнина адъютанта, с которым эйтинский мальчик думал убежать в Голштинию, безо всяких оглядок использовала в службе. Противовес в государственном круговращении столь же обязателен, как в планетном.

А сподвижникам она самолично определила награждение, формулярно разнеся на четыре группы. В первую были вписаны лишь трое: Кирила Разумовский, Панин и сенатор князь Михаил Никитич Волконский, которым и пожалованы пожизненные пенсии в пять тысяч рублей. Вторая группа — из семнадцати лиц гвардии, всякому дано по 800 душ крестьян, что, исходя из цены по 30 рублей за душу, составило по 24 тысячи рублей. Одиннадцать лиц получили по 600 душ, или по 18 тысяч в денежном переводе, и девять лиц — каждый от 300 до 500 душ. Все же вместе составило в деньгах 1 066 000 рублей. В манифесте было особо указано, что пенсии определены из ее личной комнатной суммы.

На четвертый день по восшествии на престол явилась она в сенат, заседания которого для быстрого ведения дел перевела к себе в летний дворец. Ей было сделано представление, что восемь месяцев армия в Пруссии не получает жалованья, а цена на хлеб в столице выросла вдвое. У нее были оставленные еще Елизаветою те собственные царские деньги, и, выслушав все, она негромко сказала: "Принадлежа сама государству, числю принадлежащим к нему даже и то, что надето на мне!" У сенаторов тогда на глазах показались слезы.

Таково сразу вернулась она к методу Петра Великого, не имевшего комнатной суммы. С того же царского миллиона снизила она цену на соль, кредитовала торгующее с Европой купечество, что впало

в убыток от портового пожара, улучшила стол в полковых дежурствах. И потом с полной честностью обратилась к обергофмаршалу с письмом, что девушки ее с голоду умирают: три дня ничего не ели. В карманах ее было пусто.

Тем делался лишь пример. Как Петр Великий брал топор в руки, так всякий день сидела она с сенатом, выявляя, где и как найти можно ресурс для решительного пополнения бюджета. Не глядя на близкие и дальние к себе лица, напрочь отменила убыточные казне монополии на торговлю смолою, холстом, тюленьим жиром, упразднила таможенные, рыбные, табачные и прочие откупа, позволила свободно торговать хлебом. Дома со счетами в руках проверяла итоги.

”Не снискание высокого имени Обладательницы Российской, не приобретение сокровищ, которыми паче всех земных Нам можно обогатиться, не властолюбие и не какая иная корысть, но истинная любовь к отечеству и всего народа, как мы видели, желание понудили нас принять сие бремя правительства”. С теми словами она требовала решительного конца взяткам и лихоимству...

Она сидела неподвижно, глядя мимо свечи, и думала про то, о чем ни с кем еще не говорила. Даже в письмах к властителю европейских умов, коего зачислила себе в наставники, не открывала прямо широты своих замыслов. Пока лишь начало — не позволять фабрикантам и заводчикам покупать людей от поместий, а чтобы пользовались вольными наемными по пашпортам людьми за договорную плату. И еще от монастырской крепости надо забрать людей. Про то читала и обдумывала, что вольный труд пятикратно выше труда раба...

Аккуратной стопой по левую руку, как учила секретарей, лежали распечатанные дела с сенатским вензелем, доставленные сегодня поутру. Она взяла сверху и положила перед собой первое из них. Сообщалось, что повеление о панихиде и публичном поминовении о муже ее, бывшем императоре Петре Федоровиче, было исполнено в Архангельском соборе. Только архиепископ Амвросий высказал сомнение,

как бы в народе об том иначе не стали толковать, да и церковь святая от раскольников не без поношения останется. Она твердо надписала наверху доклада: "И об злодее бог приказал молиться, наипаче о заблужденной душе; а о непоименовании в народе толки были б, что он жив".

Отложив дело направо, она открыла другое. Купцы приносили жалобу на статского советника Яковлева, что долгими ревизиями задерживает дело. Сама она указала проверять купцов, чтобы не обходили закон, а по всему выходило, что с тайной целью затягивается решение дел для взятки. Она приняла на заметку имя чиновника, а к докладу приписала: "Коммерция есть дело по натуре своей такое, что одного часа непорядочным учреждением кредит ее повреждается, который многими годами трудно напоследок бывает восстановить. Сего ради извольте сие дело в конторе Сенатской немедленно рассмотреть".

От Канцелярии опекунства иностранных поселенцев шел доклад об их числе на текущую неделю. То начатое Петром Великим дело она исполняла с упорством. Нужны были не искатели легкого хлеба, а умелые люди, чтобы селились среди всех колониями да местечками на свободных землях. Со своим породным скотом ехали они и везли семена и рассаду в кованых железом фурах. Вчетверо больше молока дает ганноверская и датская корова, так что станут питомниками и примером в хозяйстве. В том очевидная державная польза. И русскими быстро сделаются, только бы не шпыняли их в подлой зависти да силком бы к тому не волокли. Она улыбнулась, увидев старательную роспись внизу доклада. Стояло там: Президент Канцелярии, генерал-адъютант и действительный камергер граф Григорий Орлов...

Шли дела о войне мценского воеводы с мещанами, при которой с пушечным снарядом осаживали магистрат и до смерти били воинского начальника, об мздоимстве регистратора новгородской губернской канцелярии Ренбера. Этот настолько тут освоился, что сумел брать деньги даже за присягу ей в верности. Еще говорилось про сражения усмирительных команд с работными людьми на уральских горных заводах; о заведении корабельной верфи в Камчатке,

о необходимости караулов на охрану иностранных послов от разбоев на улицах.

В Комиссии о дворянстве опять не было ясности. Еще в феврале передала она им собственноручный указ, заставив делопроизводителя Теплова зачитать вслух перед ее членами: фельдмаршалом и графом Бестужевым-Рюминым, канцлером графом Воронцовым, сенаторами князем Шаховским и Никитой Паниным, генерал-адъютантом и графом Григорием Орловым. А было там сказано: "Бывший император Петр III дал свободу благородному российскому дворянству. А чтоб благоразумная политика была всему основанием, то надлежит при распоряжении прав свободы дворянской учредить такие статьи, которые бы навяще поощряли их честолюбие к пользе и службе нашей и нашего любезного отечества". Они же, с льстивым лукавством обходя ее мысль о необходимости выборной службы для дворян, предлагали поставить ту службу в зависимость только от доброй воли да честолюбия. Но коли на одну голую совесть полагаться, то недолго сему саду цвести. Дворянская на сегодня эта держава, и должны выполнять назначенный им историей подвиг.

Тут сразу видно, что о своей лишь прихоти думают. Чтобы вольно было с отеческой службы в заграницу сбежать, пишут: "Ничто так не приводит военнотружущего в совершенное знание его должности, ничто так не вкореняет в него храбрость и честолюбие, как многие добрые от заграницы примеры". По выучке Бестужева, который сейчас во главе сей комиссии, она и приписала: "А ничто так, как в Париже, по спектаклям и в вольных домах шататься".

"Беспрекословно все согласуют, что дворянин, во многих армиях служа, почитается за генерала искусного", — не унимаются они. "Есть бродяга!" — прибавила она и резко отложила дело. Пусть по Петру Великому всякой службе и искусству у Европы учатся, да и только никак не должен российский офицер чужому королю служить.

Последнее дело было особое, и недавно еще занималась им. Все об ученом великане шла речь. Придвинув ближе, она снова взялась читать его мемурандум к ней: "В службе вашего императорского величества состоя тридцать один год, обращался я в

науках со всяким возможным рачением и в них приобрел толь великое знание, что, по свидетельству разных академий и великих людей ученых, принес я ими знатную славу отечеству во всем ученом свете, чему показать могу подлинныя свидетельства. И таковым учением, одами, публичными речями и диссертациями пользовал и украшал я вашу Академию пред всем светом двадцать лет... Благоволено было бы сие мое прошение принять и меня для вышеупомянутой болезни уволить от службы вашего императорского величества вовсе: а за понесенные мною сверх моей профессии труды и для того, что я многократно многими в произвождении младшими без всякой моей прослуги обойден, наградить меня произведением в статские действительные советники с ежегодною пенсиею в 1800 рублей по мою смерть”.

Когда осенью было подано ей это, начальствующий над академией Кирила Разумовский со своей креатурой Тепловым как раз теснил Ивана Ивановича Шувалова, который был высокий покровитель великана. Она же негласно отстаивала Шувалова еще и потому, что тот был корреспондентом господину Вольтеру, державшему в своей власти мнение всей Европы. Поэтому избегала тогда решения, лишь произведя в государственный чин мастерового Цильха.

Тут ясно было, что не по болезни ищет русский великан ухода от науки. Такие умирают у дела. А что просит себе чина, так лишь высокая наивность в том, свойственная увлеченным душам. Генеральства хочет как способа жизни, ибо всякий дворник прогонит здесь без чина хоть бы и Сократа.

В Академии, как слышно ей стало, продолжалась война, и даже младшего библиотекаря Тауберта, зятя Шумахера, возвысили над великаном. А у того Разумовский взялся отнимать географический департамент, оставляя в смотрение лишь университет с гимназией. Для своих мелких дел пускали даже слух, будто вместе с Шуваловым задумала его креатура привести на трон несчастного безумца, что без имени проживает в Шлиссельбурге. Только не в Академии таковые дела делаются. Перед богомольем писала она записку к кабинетскому советнику Олсуфьеву: ”Я чаю, Ломоносов беден; сговоритесь с гетманом, не-

можно ли ему пенсион дать, и скажи мне ответ". Кирилла Разумовский с радостью пошел на то, и 2 мая дала она именным указ о вечной отставке великана с оставлением по смерти половинного жалованья и производством в статские советники. Но в первый день пути к Ростову потребовала тот указ назад из сената.

Вспомнились опять стихи, коими пикировались российские барды со всей присущей им размахистостью. Будто в праздник на невском льду это было, когда дерутся стенками:

Чтоб обманством век прожить,
Общество чтоб обольстить
Либо мозаиком ложным
Или бисером подложным...
Ты преподло быв рожден.
Хоть чинами и почтен;
Но безмерное пьянство,
Бешенство, обман и чванство
Всех когда лишат чинов,
Будешь пьяный рыболов¹.

То тамошний профессор элоквенции обличал своего великого собрата. Этот возвращал сторицей:

Безбожник и ханжа, подметных писем враль!
Твой мерзкий склад давно и смех нам, и печаль:
Печаль, что ты язык российский развращаешь,
А смех, что ты тем злом затмить достойных чаешь.
Но плюем мы на срам твоих поганых враг;
Уже за тридцать лет ты записной дурак...²

Тоже и более способные кидались на великана. Российский Корнель не удерживался от едкости, пародируя у того планетное видение мира:

Гром, молнии и вечны льдины,
Моря и озера шумят,
Везувий мечет из середины
В полсолнечну горящий ад.
С востока вечно дым восходит,
Ужасны облака возводит
И тьмою кроет горизонт.
Ефес горит, Дамаск пылает,
Тремя цербер гортаньми лает,
Средьземный возжигает понт...³

¹ Тредиаковский В.К. Эпиграмма на М.В. Ломоносова.

² Ломоносов М.В. Эпиграмма на В.К. Тредиаковского.

³ Сумароков А.П. Пародия на стихи М.В. Ломоносова.

Бедный Иван Иванович, что также и Корнелю друг, пытался их помирить, да только на скалу налетел. Шувалов и показал ей ответ великана: "Не токмо у стола знатных господ или у каких земных владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого господ бога, который мне дал смысл, пока разве отнимет... Ваше высокопревосходительство, имея ныне случай служить отечеству спомоществованием в науках, можете лучшие дела производить, нежели меня мирить с Сумароковым".

Да то ведь и хорошо, что ссорятся между собой барды, хоть на первый взгляд и по пустякам. В государстве необходима полемика. Лишь Надир-шаху приличествует одно рабское воспевание. Может быть, и ей включиться в то ристалище, и чтобы не знали имени...

Нет, не второстепенное дело даже и стихотворные упражнения великана, хоть сам, как видно, так считает их в сравнении с науками. Следует показать твердый знак своего внимания и по возвращении в Петербург с двором и сенатом посетить принадлежащую к нему фабрику стекла и мозаики. А с делом надо кончать, и не может быть речи о той отставке. Проверив перо, стекли ли чернида, она четко вывела: "Невозможно быть Ломоносову без Академии, а русской Академии без Ломоносова".

В вечер еще она написала два письма во Францию: господину Вольтеру и женщине, чей салон влек к себе знаменитые имена Европы, письмо в Польшу к своему давнему и нежному другу и пять писем приближенным людям. Потом коротко записала в дневник обо всем, что происходило в восьмой день пути.

Постелено ей было в горнице на русской кровати. Отослав девушку, она вынула из-за лифа записку. Рисованными буквами там значилось: "Душа моя, Катенька, государыня-матушка! Дозволь хотя бы на час приблизиться, никто, ей-богу, не увидит. Очень уж стосковалось во мне все. Ждать буду твоего знака от спосыльщика. Раб твой и Купидон верный..."

Она улыбнулась себе в зеркало и порвала записку. В виду имелся, как видно, Адонис, а Купидоном она звала его, когда гладила кудри: шелковыми и волнис-

тыми были они у Гришки. Только богомолье она, как и все, делает с серьезностью, так что пусть потерпит до его конца.

Пошла снежная крупа, что к концу мая и вовсе было сюрпризом. Совсем близко вдруг проступали перелески и все так же рассыпанные по оврагам избы. Деревья совсем сделались черными, даже листья на них не имели цвета. Потом все уплывало в холодный туман, и только звон доносился откуда-то из глубины этой земли: мерный, тяжелый и, обгоняя его, легкий, радостный, на различные голоса. Будто свой характер был тут у каждого города или селения.

Насыпанный на дороге песок расплывался ледяной кашицей, стали мерзнуть ноги. В какую-то минуту захотелось обернуться, махнуть рукой, сесть в карету и проехать оставшиеся на сегодня версты. Вокруг было пустынно, и все равно никто бы не увидел. Но она не стала откликаться на минутную слабость и продолжала мерно ступать в мокром снегу, заслоняясь рукой от ветра. Следовало все делать честно. С падавшим снегом приходило другое видение...

Рассыпались в морозном небе фейерверки, зажигая синий, красный и зеленый огонь в сугробах. Снег валили в реку, и он высился горами чуть не вровень с кремлевскими стенами. Оттуда катились вниз на чем попало, падая и хохоча в простодушной радости. Кресты на башнях горели тяжелым византийским золотом. Оно было в храмах, на одеждах священнослужителей, в платьях и на кирасах гвардии. Из золота была невероятной величины медаль. На лицевой стороне чеканился ее бюст, а спасенные Православие и Российское отечество возносили украшенный дубовыми листьями щит с ее именем. Провидение божие спускало с небес императорскую корону, а на жертвенник лился фимиам во изъявление всенародных молитв и благодарностей. "За спасение веры и отечества" — значилось сверху, на обороте же стояло: "Коронована в Москве, сентября 22 дня 1762 года".

Даже и памятник ей хотели учредить золотой. Эйтинский мальчик когда-то со смехом отказался от такого, она же молчала. Помпезная обильность была здесь только внешним знаком. Этот народ жаждал идеала во всем, и в ней тоже. Эта нелепая жажда

вскормлена тремястами лет татарского плена и усугублена тридцатью годами сумбурного метания, воровства и скверного лакомства, что прошли от кончины великого государя. Она же все знала и сама согласилась на эту роль.

Только к чему же ведет столь неоглядное стремление к идеалу? Всякая девушка в свое время обманывается так, и неизвестно еще, что от того родится. Путь к идеалу — прямая линия и не движутся так планеты. Идеал есть конец, и, сказывают, у индусов весь смысл жизни направлен к тому. По дороге в Москву, где-то за Тверью, она услышала, лихой голос пел: "Коль любить, то не на шутку!"

Нечто завершалось в ней. Совсем естественно стала она переходить черту, когда все видится с оборотной стороны. Раньше это делалось как бы по наитию, теперь она сама легко уходила от себя в некое чуждое состояние. Здесь она была сама собой: твердо и православно верующей Екатериной Второй, русской императрицей. Там же вдруг обнажалось прошлое, и девочка Фике с искривленным боком сумрачно и серьезно давала оценку всему, что происходило. Даже и самой себе в нынешнем ее преображении. С самого далекого детства в ней эта роковая раздвоенность...

С осени до весны шло громозвучное торжество коронации, а вершина его сделалась масленица. Посередине комнаты стоял высокий человек с сияющими озерными глазами, и никак не могла вспомнить она, где же еще видела это лицо. Она самолично участвовала в сценариуме народного действия, коим задумано было охватить всю Москву с ближними и дальними посадами. По Мясницкой, Покровке и обеим Басманным улицам проходили греческие боги и герои, громко провозглашая гнусность пороков и славу добродетели. Торжествующая Минерва ехала в колеснице во главе. А еще прямо под небом играли театры, танцевали куклы, неслись тройки в лентах и колокольцах, искусники в персидских одеждах выдували огонь изо рта. Как дети, наперебой придумывали они, чтобы рядом с Диогеном выступали природные московские знакомцы Взятколюб да Кривосуд, из короба выскакивал разнузданный Враль, злбно шурясь от света наук, уползало Невежество...

Из приватного дома при выходе на Лубянку наблюдала она маскарад. Открыв в изумлении рты, смотрели на Минерву, и никакого смысла не было в лицах. Но вдруг все засветилось. Громко ударял в литавры человек на быке, пронзительно трубили в трубы скоморохи на верблюдах. Едкий пронзительный голос объяснял живые картины:

В карете сидя, он не смотрит на людей,
Сам будучи своих глупее лошадей,
Иль баба подлая, природу утая,
Нарядом госпожа, поступками свинья...

Спотыкаясь, с красным носом из тыквы, брел совсем русский Бахус в лаптях и шубе. Другой колотил его бутылкой по голове. Вприсядку плясали сатиры:

Шум блистает,
Шаль мотает,
Дурь летает,
Хмель шатает,
Разум тает,
Зло хватает,
Наглы враки,
Сплетни, драки,
И грызутся, как собаки.

Примиритесь!

Рыла жалейте и груди!
Пьяныя, пьяныя люди!
Пьяныя люди,
Не деритесь!

То пиита Хераскова были вирши. А человек с сиянием в глазах, который представил Мольера на российской сцене, все бегал, не замечая еды и постели, до надрыва в голосе изображая топчущимся мужикам, какво рыкает громовержец Зевс и как надобно метать Посейдонов трезубец. Аллегория Нечестия и Лизоблюдства в собачьем виде испуганно заслонялась лапами.

Никак не могла оторвать она глаз от светлого страдающего лица с вьющимся русым волосом по краям и вдруг поцеловала у него руку. Он посмотрел на нее с растерянностью, но тут увидел в окно, что в репетиции что-то не так. В одной рубашке побежал на холодную улицу исправлять дело. Вдруг вспомнила, что он тоже был в Ропше, с Алексеем Орловым, когда случилось неизбежное с эйтинским мальчиком...

Она стояла потом в церкви, а он лежал в гробу, все такой же светлый и недоступный тлению раб божий и артист Федор Волков, что бросил свое доходное купечество ради идеала. Простудившись в дни торжества, умер он возле своей мечты. Она подняла глаза и вдруг увидела его в углу храма, только что снятого с креста. То же озерное сияние было там, и русый волос вился вдоль худых щек...

Теперь она шла в прямом лесу, и деревья с двух сторон приступали к дороге. Снег мокрыми наледями окружал каждую ветку, тянул тяжело вниз потускневшие скрученные листья. Было мокро и тихо...

Не к тому ли идеалу сбивает ее от дела Панин, когда придумывает в соправители некий совет? То от долгого посольского сидения в Швеции оторвался он от здешней реальности. Этот совет уже был при первой Екатерине и втором Петре, а сенат от того сделан уже не "правительствующим", как задумано при великом государе, а только "высоким". Опять же в ущерб сенату явился он при Анне Иоанновне в форме Кабинета, а у покойной императрицы назывался Конференцией по внешним делам. Однако в прежнем виде вершила все управление, внутреннее и внешнее, та Конференция по желанию и к выгоде своих сиятельных членов. Государыне-тетушке ох как скучалось заниматься государственным делом. И до того довела, что при Шуваловых свое истинное слово даже сама вслух боялась сказать. А те и с другими сочленами свое воровство на полной воле вершили, так что и самодержавность на том кончилась.

Теперь же Никита Панин, насмотревшись шведского порядку, возмечтал на тот же манер ограничить ее царскую и императорскую власть. С чувством и примером говорил ей все эти годы о пользе такого устройства для нее и отечества, и она соглашалась. А сразу после переворота представил проект об императорском совете не меньше шести членов, чтобы правили с нею вместе...

Та же природная русская жажда правды присутствовала тут. Согласись она, так кого в тот императорский совет определять? Чистый помыслами Панин и других таких мыслит. Но будет там совсем один,

разве что орлеанская девица станет ему в помощь. А еще тот же своенравный Кирила Разумовский, мерзавец Теплов, Орловы — Гришка с Алексисом да прочие не хуже и не лучше. Эти и станут лакомиться у пирога во весь русский размах, как было уже и будет. И когда даже бы пятеро их было таких, как Панин, то непременно найдется шестой, который, ухватившись за тот их идеал, в некий час ссечет им головы и установит себя на пьедестал Иоанна Грозного. А тем самым и державу свернет с ее назначенного пути, нарушив вселенское равновесие...

Того нельзя допустить, и не для себя охраняет самодержавие. В нем только исполнит Россия свою провиденциальную судьбу, и рано еще быть другому. У нее нечто намечено. Великой княгиней еще она думала о том, и ближе это ведет к цели. А чтобы воспитались люди к будущему, вовсе молодые будут назначены для выучки к службе: камер-юнкер Федор Орлов пусть сидит в сенате рядом с генерал-прокурором, а другой — Григорий Потемкин — навьикает делам в синоде, благо грамоте подучен. Оба они — ее младшие сподвижники и награждены с щедростью, так что всегда будут чувствовать к ней признательность. Тот юный красавец Потемкин, когда благодарил за четыреста душ, столь выразительно смотрел на нее, что она ощутила волнение...

Лес кончился сразу, и с опушки начался город. Деревянные кружева вились от ступеней и до гребней крыш. Тут тоже кланялись, и опять двое или трое смотрели с достоинством...

”А в доме было у княгини Хилковой. Тот конногвардейский секунд-ротмистр и камер-юнкер Хитрово спросил у меня: ”Слышал ты новый марьяж?” На что я ответил, что не слышал. Он же наступал: ”Как тебе не слышать! Я с тобою политичесествовать не стану: за Орлова государыня идет”. ”Слышал и я этот слух, а правда ли или нет, того не знаю”, — говорил я. ”Что ты против этого думаешь делать?” — спрашивал он, а я сказал: ”Больше делать нечего, как нам собраться и идтить просить Ея Величество, чтобы она изволила отменить, рассказав резоны, какие нам можно будет...”

Со спокойным вниманием перечитала она допросные листы вплоть до подписи: "Я обещаюсь самим Богом и святою присягою, что спрошенного от меня никому не скажу. Сие писал и подписал своею рукой Михайла Ласунской". Ничего она не чувствовала сейчас, кроме холодной уверенности. Так с ней бывало, когда с тузами на руках наблюдала расклад на карточном столе.

Она откинулась в кресле, обвела горницу глазами. За высоким французским буфетом и хрустальными стеклами бежал таракан. Из Амстердама привезли ей порошок, чтобы вытравить их из дворца. Пора бы уже и тут это делать, чтобы хоть в воеводском доме по воле не скакали...

Этой осенью, назавтра после коронации, она необходимо должна была показать, что не будет допущено малейшее посягательство на назначенную ей власть. По великому пьянству офицеров гвардии говорены были речи об возможности посадить на трон кого-то другого, хотя бы и бессмысленного Иоанна Антоновича, что с детских лет обитает в Шлиссельбурге. Следственная комиссия так и определила: сумбурно кричали за водкою что на язык попадет. Только все было в напряжении тогда: Панин приступал, как с кандалами, с императорским советом, Гришка откровенно бахвалился, что может кого захочет русским царем сделать. Великое колебание происходило в ней, и когда новый английский посланник Букингем спросил на куртаге о причине ее задумчивости, она прямо ответила: "Ах, граф, вполне счастливы только те, кто не имеет власти быть жестоким помимо собственных чувств!" Французскому послу Бретелю же сказала, что от этого дня прибавит к своему возрасту десять лет. Они не знали, что и думать. В тот самый день она приказала пытать болтливых застольщиков, а потом из тех же чернил своими руками написала указ, что "тайных розыскных дел канцелярия уничтожается от ныне и навсегда".

Сенат приговорил главным виновникам — Хрущеву и Гурьеву — отсечь головы, других же в каторгу. От себя она вынесла помилование и сослала их в Камчатку. Все, мешающее исполнению, к чему призвана, не должно иметь цены. Таково поступал Петр Великий и не смотрел на сантименты...

Однако в этот раз она сама сделала встречный шаг, чтобы вызвать те толки. Гришка в самом деле уверился, что может сделаться ей мужем, и стал держать себя так, будто и дело уже решено. То правда, что лежал с ногами на диване в ее личной комнате и сенатские конверты распечатывал, когда вошла Дашкова. Оттого и поругалась с ним орлеанская девица, что один идеал наскочил на другой, тоже не знающий границы. Ума в нем небольшая палата, и с товарищами в гвардии так же нетерпимо стал обращаться. Алексис молчал, и в льдистых глазах его таилась опасность.

Только Гименеевы узы не имели для нее ценности. Навсегда шагнула она через роковую женскую слабость много лет назад, когда первозданная боль рвала на части тело и отделялась от нее новая жизнь. В тот миг пришло озарение, и поворот головы к ней древнего героя был подделкой. Ее любили по слову покойной императрицы, чтобы дать державе наследника. Такого она себе не простила...

Но другое, куда более материальное, не совпадало с тем марьяжем. Вовсе правдивыми были ее слова, что принадлежит государству. Гришкино присутствие так близко к ней будет мешать назначенной цели, о которой никому еще не сказала.

А Гришка уже прямо требовал, чтоб венчалась с ним, хотя бы и тайно, как покойная императрица с Алексеем Григорьевичем Разумовским. Она сделала удивленное лицо и предложила послать к старому графу кого надежней, чтобы узнать, каково все происходило. Тогда и пошел с поручением сам канцлер Михайла Ларионович Воронцов. Когда тот приехал, граф Алексей Григорьевич сидел у камина и читал святое писание. Услышав вопрос, он отложил божественную книгу, посмотрел направленный ему по этому поводу указ и пошел к комоду. Все то он делал молча. Достав ларец черного дерева, выложенный перламутром, отпер его и взял оттуда завернутые в розовый атлас бумаги. Атлас положил в сторону, а бумаги принялся читать, словно бы и не было никого в комнате. Слеза скатилась при том по его лицу. Прочитав и поцеловав те бумаги, он перекрестился на икону и бросил их в горящий камин. Потом сел назад в кресло и сказал: "Я не был ничем более, как верным рабом ея величества, покойной императрицы Елизаветы Пет-

ровны, осыпавшей меня благодеяниями выше заслуг моих. Пусть люди говорят, что им угодно; пусть дерзновенные простирают надежды к мнимым величиям, но мы не должны быть причиною их толков”.

Без всякой от нее подсказки была сыграна та роль. Когда Михайла Ларионович подробно все ей пересказал, она с чувством подала ему руку и сказала: “Мы понимаем друг друга: тайного брака не существовало, хотя бы то и для усыпления боязливой совести. Шепот о сем всегда был для меня противен. Почтенный старик предупредил в этом меня, но я того ожидала от свойственного малороссам самоотвержения!”

Гришка все слышал за ширмой и в досаде изломал золотую табакерку — ее подарок. А когда на неделе обедали у гетмана Кирилы Григорьевича, то вдруг ослепительно улыбнулся: “А что, матушка-государыня, захотел бы я, то через месяц тебя бы снес с престола!” Кирила Григорьевич с хитроватой, как у брата, ленивостью посмотрел на него и сказал добродушно: “Быть может, и так... Но, друг мой, не дожидаясь месяца, мы через две же недели повесили бы тебя”.

А все же Гришка не унимался, и не в одной гвардии стали с неудовольствием говорить об возможности их брака. Тогда и призвала она в помощь Бестужева. Умудренный жизнью старик понял ее без слов. Даже и имени ее не приплетая, сговорился он с Гришкой и принялся от себя обходить сенат, духовенство и генералитет с всеподданнейшим прошением к ней от всех сословий, чтобы вступила во второй брак. Только с самого начала не имело успеха такое дело. Каждый сенатор ссылался, что не достоин ставить свою фамилию прежде других достойнейших особ. Зато по обеим столицам и в провинцию покатилося эхо, да все на Орловых. Как видно из допроса, конногвардеец Хитрово и не таится нисколько, что в случае угрозы такого марьяжа готов с другими в гвардии еще до возвращения ее из богомолья убить Орловых.

В продолжение дела уже самому действительному камергеру Григорию Орлову пришел донос об неуспехе той подписки на марьяж. Якобы Панин собрал вместе Кирилу Разумовского и Захара Чернышева, и втроем решили то бестужевское прошение уничто-

жить. Потом будто бы позвали Репнина, Рославлева, Ласунского, Пассека, Барятинских, Хованских, Апраксина, Ржевского и многих еще, которым сообщили, что Орловы придумали завладеть императрицей, но дело это нехорошее и отечеству вредно. Всякий патриот должен вступить, искоренить и опровергнуть такое намерение. Для убедительности там говорилось, что в заговоре на Орловых состоит и княгиня Дашкова...

Она прочитала этот донос, старательно переписанный Гришкиной рукой и поспешно к ней посланный. При некоторых словах улыбнулась. Там походя говорилось: "Григорий глуп, а больше все делает Алексей, и что он великий плут и всему оному делу причиной". Потом нахмурилась. Предлагалось у них, что если хочет второй раз замуж, так пусть за романовский корень. Хотя бы за братьев Иоанна Антоновича, который в Шлиссельбурге. Дело переходило установленную границу.

Что же, Гришка теперь не от нее получил необходимое предупреждение. Не зная о том, все они работали на нее: оба Разумовских, Михайла Воронцов и прочие. Знал только Бестужев. А Орловы пусть и будут на своем месте. Теперь же надо установить всему конец.

Никакого здесь законного суда не следует делать. Хитрово выслать пока в свою деревню, а еще Рославлева, что предлагал для нее разных мужей, в службу при крепости святой Елизаветы. Взяв из стопы отдельный лист, она написала сверху: "Генерал-поручику и сенатору Суворову... Василий Иванович. Все сие служит вам во известие... Трактуйте дело секретно, а естли найдете за нужно Хитрово арестовать, то конная гвардия караула не приставьте к нему, но с другога полку". Писала она такие бумаги только по-русски и от других требовала...

Положив обе руки на стол, десять минут она отдыхала. Тараканы все бегали за буфетом. С внутренней усмешкой подумала она, что русское название им прусаки. То не лишенное наблюдательности сравнение. Твари эти рыжеватого колера, поджарые и с весьма большими аппетитами. Прозвища общие и приватные, тут даются навеки. Любопытно, как ее когда-нибудь назовут...

Следующее по порядку дело было представление о Петербургском генеральном гошпитале. Больных там находится 671 человек, из коих более двух третей одержимы франц-венерией, полученной от непотребных женщин. Предлагалось ко всем воинским командам послать указы: которые из воинских чинов в этой болезни найдутся, таких допрашивать, от кого ее получили. Тех женщин велеть сыскивать и, если найдутся одержимы той болезнью, лечить их на казенный счет. По излечении же отсылать в Нерчинск на поселение или в другое место. Солдатских жен отдавать мужьям с расписками и подтверждением, чтоб их содержали и до непотребства не допускали, а помещичьих и прочих посылать к их владельцам... Она подумала и написала сенатору об особом смотре, чтобы женщины при том не были по-пустому оклеветаны. А кто сделает это, пусть посекут.

Еще 6 февраля был от нее направлен именной указ: "Известно нам, что во всей Сибирской губернии и Иркутской области положенный ясак с тамошних жителей с крайним отягощением и беспорядком собирают или, справедливее сказать, посылаемые для сбора ясака сибирские дворяне, козаки и дети боярские не настоящие положенные ясаки в казну нашу собирают, но бессовестным образом всех таковых безгласных и беззаступных ясачных, как-то: якутов, тунгусов, чукч, братских козаков и прочих народов грабят и до конца разоряют..." Все они суть россияне — бесчисленные эти народы, только рознятся по языку. Раньше или позже придут к единству, и держава сия от Петра Великого призвана обезопасить их в своем отечестве наперекор тому, что делалось диким образом в прошлые веки. Не может тут быть ни одного народа гадкого или поганого. Гвардейский капитан Щербаков, которого повелела отправить в Сибирь для суровой ревизии и отвращения всех тех вредностей, до места еще не доехал. "Всемерно ускорить и держать в постоянном нашем внимании", — написала она.

С Киргизской Украины двое яицких козаков явились к канцлеру и привезли письмо почему-то от султана Младшей киргиз-кайсацкой орды, который просит за них, что, мол, "козаки за великую себе обиду и поругание будут считать, если их отдадут в команду

Могутову, да и брат мой, и я, и весь киргиз-кайсацкий народ будут этим недовольны". Вон как уже близки сделались украинные козаки с ордынцами, что общий интерес в чем-то имеют. Она направила дело на разбор к президенту Военной коллегии, приписав: "Только сумнительно весьма, что киргисцы об них просят".

Еще вдова калмыцкого хана Дундука-Омбы, что при покойной императрице вместе с тремя сыновьями приняла крещение и назвалась Верою, живет теперь в Енотаевске, где знается с калмыцкими попами. Хотя при первой неделе великого поста она и говела, но бригадир Бехтеев, коему доверено надзирать за калмыками, сомневается, что не ела скоромное и не отступит ли от православия. Дело тут было сложнее, чем понимает бригадир. Она подробно разъяснила на полях: "Когда княгиня Дондукова жила в Кадетском корпусе, с сыновьями, она всегда ела мясо, и доктора того корпуса знают, что рыбы есть не может. Итак, надлежит весьма осторожно быть, чтоб не конфондировать закон с тою политикою, которую они, может быть, употребляют для приласкания калмык".

С южной Украины пришло известие, что не пустому приезжал в Киев старший канцелярист генеральной войсковой канцелярии Туманский. Подтвердилось, что не только с митрополитом и с архимандритом шла у него речь об утверждении нового гетмана из сыновей Кирилы Разумовского. Получилось вроде наследственного королевского правления в этой Украине, что в самой глубине противоречит историческому смыслу. Держава эта едина, и тем паче родственные малороссы не должны выделяться из общего порядку. А что Разумовские — ближайши к ней люди, так и примером пусть станут для других. От постели заработанное гетманство и доживает с ними свой век.

Тем более это важно, что в той Украине предстоит первейшее дело. В Новую Сербию, что образовалась там при покойной императрице, бегут с турецкой стороны болгары, валахи, молдаване, сербы и греки, даже армяне с понтийского берега. Также и раскольники возвращаются из польских пределов, услышав об обстановке к ним гонительства. Все теснятся возле крепости святой Елизаветы. Тут же и Сечь топчется

с ними. А к морю на тыщи верст в обе стороны пустая земля, на которой лишь татарам разбег. Расклад во времени такой, что обязательно идти России к тому морю...

Долго еще сидела она с фискальными бумагами. Коли все будет исполняться, как ею повернуто, то вместо восьми прежних миллионов бюджет российский в текущем году уйдет миллионов за пятнадцать. То лишь начало...

Прочитав также прибывшие сегодня письма, она принялась писать ответы. "Ветры, холод и непрерывные дожди с происходящей от того грязью", — сообщала она Панину. К генерал-прокурору Глебову доверительно приписала: "Я получила все ваши посылки и надеюсь последние доклады скоро к вам возвращать. Ненастье и скука в Переяславле равны; дом, в котором живу, очень велик и хорош и наполнен тараканами..."

Помогающей раздеться и привести себя в ночной порядок девушке она, как водится, сказала: "Спасибо тебе, голубушка!" Много лет назад ударила она Василия Григорьевича Шкурина. И однажды еще было, что такую же девушку обругала. Через час она позвала ее и попросила извинения за расстройство в чувствах. С тех пор лишь тихим голосом говорила с кем бы то ни было, а главное всего, с прислугой...

Уже в постели она подумала о Гришке. Потянулась и снова улыбнулась...

Там вокруг облег дракон ужасный
Места святы, места прекрасны...

Един лишь смело устремиться
Российский может Геркулес.

Звезду сего народа ясно обозначил великан. То священный завет Петра Великого, и в этом направлении движется цивилизация. Так расчислен исторический ход, что в Европе только оборонительную войну назначено вести России, и в сохранении там равновесия ее задача. Главное же приложение ее потенции — на юг и восток, и никакому другому народу не дано совершить тот подвиг. Тамерланова угроза во всякий век оттуда миру не должна продолжаться.

Восставит вольность многих стран...

Да, Малая или Белая Русь, Казань, те же калмыки или кайсаки всякий в отдельности не смогут противостоять тому многообразному дракону. Дело тут не в том или ином народе, а в идее вселенского истребления и убийства цивилизации, таящейся в первобытном инстинкте. И греки с валахами и болгарами, прочие бесчисленные народы в Морее и в Кавказе не в силах сами сорвать удушающее ярмо, набрасываемое всякий раз на них еще со времен персов. Македонский герой так и не исполнил до конца назначенную ему роль. Обезопасить и обжить эту великую равнину для мирного хлебопашества, чтобы негде и прорасти было драконовым зубам, составляет русскую державную политику на века...

Так же, как все прошлые дни, шел дождь. Водяная пыль наполняла небо и землю, серым покрывалом кутая деревья с темными нераскрытыми листьями. И редкая трава была бесцветной и холодной. Белели сквозь туман церкви на холмах. Дорога становилась ровнее и шире...

А Европе надлежит не мешать такому тысячелетнему подвигу. Поэтому и не сделала возобновление войны с Пруссией, что многие неудобства виделись от того в будущем. Хотя бы, что от прусского упадка Австрия отточила бы зубы не в ту сторону. Пускать на Европу калмыков с козаками — противоестественно высшей российской задаче. К великой пользе и желанию надир-шахов был бы только такой поворот, чтобы принять России на себя драконово дело. И аннексии в улежавшейся после гуннов Европе всегда прорастут в истории ядовитыми плодами. Опрокинув разбойную Швецию, Петр Великий от того удерживался.

Только для Пруссии всегда должен находиться крепкий намордник. Потому, подтвердив с королем Фридрихом мир и сделав вслух сентенцию, что то по ошибке русская армия вдруг вошла в прусские пределы, она с тем же курьером послала старому фельдмаршалу Салтыкову тайную записку: "Вы увидите из присланной при сем депеши, что я для света декларировала. Однако ж будьте уверены, что и я и все

верные сыны отечества весьма довольны вашим поступком, что велели занимать королевство Прусское... Не спешите, да будьте осторожны: если король Прусской графа Чернышева не отпустит, чтобы нам плацдарм верно в руках досталось". А корпусу Чернышева, что по глупости ее мужа воевал вдруг на стороне Пруссии с Австрией, приказала маршировать в Россию. Не будет отныне такого, чтобы русский солдат не свое историческое дело исполнял.

В этой части она все природно знает. И то умнокаменное королевское лицо хорошо помнит, когда, будучи кронпринцем, брал ее на руки и со своей сестрой мирил. А потом, уже королем, объяснял ей таинство европейского равновесия на взгляд из Берлина. Этот, как сталь отточенный, незаурядный человек тогда уже провидел ее звезду. Не знал он только того, что же такое русские, и никогда не могла она остаться некой Софией-Фредерикой. Только крошечная девочка Фике затаилась где-то в складках судьбы...

Две главные угрозы назначенному историей подвигу ясно выделились с этой стороны: Швеция и Польша. Теперь посередине возникла третья — Пруссия. Другие находились дальше и только через эти три ложемента могли действовать к русскому имперальному убытку.

Пруссия сейчас на какое-то время выведена из расчета. Но и на тех двух имеется узда. В Стокгольме есть король, но только парламент при нем, без которого даже повернуться на другой бок не может. В парламенте шляпы и колпаки воюют между собой. Шляпы дворянские да военные, больше французского образца, настроены против России и хотят сильного короля. А колпаки из свободных землепашцев всегда воевали с королем за собственные вольности и не желают того допустить. Патриотизм этот в пользу России, поскольку не дает королю усилиться, и следует всяко подпитывать отсюда такое шведское свободолюбие. Пока имеется оно, не в силах Швеция приступить к России за балтийский берег и Финляндию. К тому же и благородное то дело — поддержка народоправства, с чем согласны лучшие умы Европы. Никите Ивановичу Панину, что промышляет таковую вольность, было к месту сидеть там.

Король нынешний шведский, дядя эйтинскому мальчику и ей самой, большой опасности не содержит. По роковой голштинской тупости лишь в живые солдатские куклы играет, к тому же и на престол посажен из Петербурга. Зато из Берлина к нему приставлена вовсе противоположного роду особа: та самая рыжая Ульрика, которую она в драке когда-то, несмотря на свой вдвое младший возраст, повалила на пол. До сих пор возле глаза виден след от ее ногтей. Того не может быть, чтобы не тянула эта королева все в прусскую сторону и против России.

Не меньше и Польша в сплыве с Литвой мешала историческому ходу. Поляки в Москве совсем недавно были, стремясь перетянуть обратно к себе центр тяжести. Той же уздой для них стал сам заносчивый характер этого народа, воплощенный в "liberum veto". До такого уж бессмыслия дошло тут стремление к вольности, что один пьяный шляхтич может своим голосом зачеркнуть мнение пятисот других, а король и вовсе делается манекен. Так что там и здесь короли будут стремиться ограничить те вольности, а России надлежит громко защищать у них демократию.

Тут еще есть сюжет, что курфюрст саксонский и король польский Август Третий, исчерпав в амурных битвах свои, как сказывают, богатые возможности, со дня на день ожидает кончины. Так не предложить ли им не чужого человека, а из природного корня древних польских королей — Пястов. Еще великой княгиней думала она о нем. Кажется, единственная в ее судьбе была тут же расчетливая и чистая к ней любовь. Никому больше в письмах не пишет она с такой доверительностью. Даже приехать он рвется к ней, только мешать это будет делу, да и как же с Гришкой?..

К тому же вопросу принадлежит и судьба Курляндии. Особой заботой Петра Великого было, чтобы сидел при начале Балтийского моря родственник герцога Нечего к тому месту прилаживать саксонского принца, чего желает Август. Хоть и русской военной силой, но станет опять там герцогом старый Эрнст-Иоганн Бирон. Этот никогда теперь уже с Россией не развяжется. А что бессильный польский двор грозитя у себя всю "русскую партию" судить, всех Чарторыйских, Огинских, Масальских и ее Понятовского, то весной уже написала в Варшаву послу Кейзерлингу:

”Разгласите, что если осмелятся схватить и отвезти в Кенигштейн кого-нибудь из друзей России, то я на-селою Сибирь моими врагами и спущу запорожских козаков, которые хотят прислать ко мне депутацию с просьбою позволить им отомстить за оскорбления, наносимые мне королем польским”. Для того и с Пруссией сейчас удобней иметь мир, чтобы остуживать поляков...

Еще по английским, датским и турецким делам предстоит ей сегодня писать к Панину. Что, не дав канцелярской власти, приспособила его к иностранным делам, то правильно. Твердости и направления он бестужевского, но современной в суждениях...

Уйдя за черту, не поняла она сразу, что же происходит. Чьим-то мановением сдвинулось облако, распалась завеса тумана, сияюще-золотой луч солнца вспыхнул из-за туч. И сразу все переменялось: нежным цветом зазеленела трава, невыносимо заблестели омытые дождем деревья, стеной встала густая зеленая плотность листьев. А за ними, там, где падал солнечный луч, расширялись дали, гряда за грядой открывались синие, голубые, лиловые леса, матово-жемчужные равнины стелились между ними. И в некой природной симфонии, достигая чудной и немыслимой высоты, тут и там ослепительно белели храмы. Веселое, легкое золото сыпалось с крестов...

Никогда не бывалый с нею восторг стал подниматься из глубины, наполнил все тело. Совсем птичью легкость ощутила она и даже руки чуть развела, глядя в манящий лазурит неба. Синие молнии ласточек расчерчивали его свободно, во всех направлениях. Она опустила глаза, посмотрела вокруг. Открытые, светлые, праздничные лица смотрели на нее со всех сторон: мужские, женские, детские. Никто не кланялся, и было в них ожидание чуда...

Гром колоколов ударил навстречу. Впереди, на возвышении, среди зеленой рамы лесов и долин, стоял белый и золотой город. Будто невесомый сказочный пряник он был, голубые и зеленые купола как уютно теснились в некоем высшем порядке. Смутно явилось что-то в памяти. Прядь волос падала на сторону, разрушая примитивную симметрию...

В солнечном свете тонко и мощно парила земля: трава, деревья, дорога. До конца совершалось преобразование, и она никто больше, а лишь Екатерина Алексеевна, русская царица. Звезда не обманывала ее. Она широко, истово перекрестилась.

Колокольный гром все продолжался. Димитрий Ростовский, бывший когда-то здешним митрополитом, выделялся праведностью и рдением за весь православный народ. Неутомимо обличал он жадность и любостяжание богатых, гордость и немилосердие имеющих власть, неправду в судьбах. Братьев своих, служащих богу при причетах и в монастырях, бичевал за многое лакомство и скверну. Великий подвиг также совершил он, что наново собрал и осмыслил Четьи-Минеи, чтобы в правильное время поминать святых угодников. Еще и при жизни его стали происходить вокруг чудесные дела и знамения. А когда умер, то через годы после того явленные мощи остались нетленны, и продолжали совершаться от них исцеления...

В грубом платье и пилигримских сапогах стояла она впереди всех, а ее православный народ наполнял сзади город и поле за ним до дальних лесов. Вынесенная наружу рака чистого серебра видна была отовсюду. Службу вели сразу двенадцать архиереев и епископов. Набегавшие тучи то закрывали, то открывали солнце...

Петр Великий запретил являться мощам. При богоприверженной дочери его восстановилось это древнее почитание. Эйтинский мальчик потом громко хохотал в церкви и дразнил попов. Она же назавтра после коронации пришла сюда пешком и беспокоилась, чтобы перенесение мощей этого святого человека ни в коем случае не совершилось без нее.

В такт мерным ударам больших колоколов низкими густыми голосами пели дьяконы, ароматная смола курилась и уплывала в небо тонкими голубыми струйками. Она вдруг вспомнила шифрованное донесение посланника Сольмса к королю Фридриху: "У императрицы обычай каждого выслушивать, и через это она подчиняется различным влияниям. Люди неблагонамеренные нашли слабое место, которым поль-

зуются при каждом случае: они уверяют Екатерину, что в том или другом случае она не угодит народу. Страх потерять любовь нации вкоренился в ней и делает ее робкою". Что же, все тут истинно: она вправду не жалеет времени, чтобы выслушать каждого. И влияниям подчиняется, да только тем, каким хочет. Так удобнее: пусть на этих людей складывают вину за то, что не станет нравиться. А страх потерять народную любовь в ней не от чего иного, как от великого желания исполнить назначенный долг. Поэтому и пришла сюда на великий бой...

Во всем ей заканчивать дело Петра Великого, и в этом тоже. Только не станет запрещать, и те же суеверные мощи приспособит к делу. Суть не в потревоженных костях. Дмитрий Ростовский и точно был человек высокой души и немалой учености, но тоже восстал на государя-преобразователя, когда тот стал причитать церковные имения к государственному бюджету. В давние веки было, когда русские князья по смерти завещали свои наделы и имущества митрополиту московскому, а от того выигрывал московский князь и собиралось государство. Теперь же столько насобрано, что как бы второе государство стала церковь. Главной задержкой становится это для дела.

Когда твердо и недвусмысленно объявила свою волю по этому поводу, то первым как раз и закричал здешний митрополит Арсений, что прямой наследник Дмитрия Ростовского. Она не имела намерений прибегать к вящей крутости, он сам шел на то. Во исполнение петровского завета назначила она переписывать церковные имущества, без чего нельзя посчитать общую возможность сего Геркулеса для грядущего подвига. А наипаче вызвало тот крик повеление переводить церковных крестьян на оброки. "У нас не Англия, чтобы едиными деньгами жить и пробиваться, и благочестию наступит конец!" — слышалось из архиерейских вотчин. Митрополит Арсений Мациевич прямо грозил, что не допустит ее к раке Дмитрия-чудотворца. Она еще крепилась и писала к директору кабинета Олсуфьеву: "Понеже я знаю властолюбия и бешенства ростовского владыки, я умираю боюсь, чтоб он не поставил раки Дмитрия Ростовского без меня!" Пока что к раке приложили кабинетную печать и велено было поставить солдат.

Дело в том еще состояло, что хоть православный иерей значился сей Мациевич, а все же польская в нем кровь, и природно ближе это к римскому взгляду на суть и место церкви. Уже после коронации ее, когда всем рассудительным умам стал досконально виден незыблемый размах на будущее, митрополит ростовский отправил в синод доношение. Вовсе прямое указание пальцем на нее было там: "В мировой истории первым отнимателем церковных имений был Иулиан Богоотступник; в русской же, не токмо во время царствования благочестивых и великих князей, но и во времена татарския державы Россия имела свободные имения церковные, в первоначальной власти архиерейской содержащиеся". А в преамбуле того доношения открыто вытаскивался старый заржавелый меч от Лойолы: "Говорят, что имений у церквей не отнимут, но штаты сделают, будто бы отсекая излишество; но и этому образец Иуда Искаротский, который, желая предать Христа и видя его помазуема от жены многоценным миром по теплоте веры и любви, говорил: "Чесо ради миро сие не продано бысть на трех стех пенязь и дано нищим?"

Все они в синоде думали таково и теперь в безмолвном споре с ней получали возможность прикрываться этим откровенным доношением. Но время было с ней, и не осмелился никто из митрополитов выделить рядом с тем непробудным упрямым свой голос. Ни с какой другой, как могли бы, а только с государственной стороны принялись они обсуждать нерегистрированное письмо, давая ему тем самым официальный ход. А по укорененной от тех же татарских времен исторической практике к ней и обратились с сообщением, что, мол, в доношении ростовского митрополита "все, что ни есть, следует к оскорблению ея императорского величества, за что он великому подлежит суждению; но без ведома ея императорского величества святейший синод к тому приступить не смеет, а передает в высочайшее благорассмотрение и высокомонаршую ея императорского величества бесприглядную милость".

Она холодно вернула синоду то доношение, чтобы сами решали, каково надлежит вести себя истинно

православному иерею по отношению к православному государю, тем более что в означенном доношении ясно можно усмотреть превратные и возмутительные истолкования многих слов святого писания. Обо всем этом должен быть их недвусмысленный приговор, а к нему еще будет иметь место присущее ей снисхождение и незлобие. Больше и не касалась она их, и даже когда старый Бестужев обратился в защиту провинившегося пастыря, твердо пресекала ту инициативу.

Они сами все сделали в синоде: через военную коллегия взяли под арест своего злоречивого собрата и под конвоем семеновского полка капитан-поручика Николая Дурново привезли в Москву. Ober-секретарь Остолопов прочел там указ святого синода, иеромонах Гавриил снял с Мациевича мантию, панагию, белый клобук и отобрал посох, а самого его под смотрение постоянного караула из четырех солдат и унтер-офицера заточили в Корельский монастырь со строгим запретом разговаривать с другими монахами, а также отнятием бумаги и инструментов для письма. Выговоры за прежнюю переписку с ним получили костромской епископ Дамаскин и переяславский Сильвестр.

От нее к синодскому приговору была лишь поправка, что "для удобнейшего покаяния преступнику, по старости его лет, монашеский только чин оставить, от гражданского же суда и истязания мы, по человеколюбию, его освобождаем". Тут важно было, что сами руководители церкви осуждали одного из своих членов за устройство некоего противовеса необходимой здесь самодержавности. Она столбиком выписала к себе лиц, подписавших к ней от синода этот знаменательный для истории доклад:

"Смиренные

Димитрий, митрополит новгородский,

Тимофей, митрополит московский,

Гавриил, архиепископ петербургский,

Гедеон, епископ псковский,

Амвросий, архиепископ крутицкий,

Афанасий, епископ тверской".

Кесарю тут отдавалось выше положенного, но и место было дальше от холмов галилейских. Речь свою к синоду она заучила наизусть и потому говорила по-русски четко и правильно: "Естьли спрошу вас, кто вы и какое ваше звание, то вы верно дадите ответ, что вы — государственные особы, состоящие под властью монарха и законов евангельских, призванные на проповедывание истин религии и наставления в законе, служащем правилом нравов. Все ваши права и обязанности состоят в ясном предложении догматов веры, в убедительном истолковании их доказательствами, а не спорами. Но от чего происходит, что вы равнодушно смотрите на бесчисленные богатства, которыми обладаете и которые дают вам способы жить в преизбыточестве благ земных, что совершенно противно вашему званию? Вы преемники апостолов, которым повелел Бог внушать людям презрение к богатствам и которые были очень бедны. Царство их было не от мира сего — вы меня понимаете? Я сама слышала эту истину из уст ваших. Как можете вы, как дерзаете, не нарушая должности звания своего и не терзаясь в совести, обладать бесчисленными богатствами, иметь беспредельные владения, которые делают вас в могуществе равными царям?.. Вы просвещены: вы не можете не видеть, что все сии имения похищены у государства; вы не можете владеть ими, не будучи несправедливы к нему. Естьли вы повинуетесь законам, естьли вернейшие мои подданные, то не умедлите возвератить государству все то, чем вы неправильным образом обладаете!"

Они молчали, скорбно опустив головы, и, как видно, вспоминали только что преданного ими митрополита Арсения. Его жертвой думали они откупиться от времени. Только ей нужно было все. 12 мая, в день начала этого богомолья, она подписала указ об учреждении Коллегии экономии, призванной секуляризовать те церковные имущества.

А они отныне и навечно будут делать общую с нею задачу, куда их ни позовет. Не в одних имуществях вопрос. Вечный Рим рухнул от принципа, что не должен кесарь касаться духа человека. И католическая та логичность здесь не к месту. Еще и орденские ленты от нее будут носить митрополиты за службу государству..

Гремели колокола. Она стояла и думала, что как у любимого ею наваррского короля Париж стоил мессы, так у нее двойное увеличение российского бюджета стоило запрещенных великим царем мощей...

Потом она честно молилась со всеми, целовала крест и видела слезы в глазах у людей. Она верила в бога с необоримой рассудочностью, и коль требовалось тут в утверждение общей веры разукрашивание храмов и сохранение мертвых костей для народного поклонения, то не колеблясь примет в руку это оружие...

Единый вздох прошел по земле до дальних лесов: даже колокольный звон сделался тише. Что-то необъяснимое происходило в мире. С удивлением вдруг ощутила она, как само по себе задержалось дыхание. Дальше все уже делалось помимо нее: куда-то пропал вес у собственного тела, слезы освобожденно потекли из глаз. Вперед и вверх протянула она руки, приподнялась и поплыла к серебряному ящику. Сухие чистые кости лежали там на лиловом бархате, и она прикоснулась к ним губами. Страшно, восторженно закричал, поднимаясь к небу, женский голос. Оборвалось земное пение...

Это продолжалось целую вечность, и не было тут конца и начала. Шуршали, касаясь лица, стремительные крылья, невидимые хоры пели в вышине. Будто проснувшись, она встала с колен, посмотрела вокруг. Неисчислимые толпы людей плакали и молились вместе с ней. Голубой дым уплывал в небо, и по-прежнему носились там, снижаясь к самой земле, синие ласточки.

Потом ей сказали, что прозрела вдруг от природы слепая черница Марьюшка и увидела сонмы ангелов, летающих и поющих над новой ракой святого Димитрия. Она на то ничего не ответила, а когда предложили послать врача, чтобы удостоверить чудо, отрицательно покачала головой. Управляющий всем торжеством новопожалованный митрополит новгородский Димитрий Сеченов хотел унести раку в церковь, но от того могли произойти слухи, что мощи укрылись от нее. Бродячие попы на дорогах предрекали такое. Она велела, пока находится здесь, оставить мощи на дворе, лишь приставить на ночь солдат, чтобы не покрали...

На другой день Сеченой, как с дружелюбной приветливостью звала она митрополита, при раскрытой раке и толплении народа держал к ней речь. Это было повторение сказанного при коронации, а она слушала и думала, что же вчера с ней было. Девочкой она считала, что может угадывать будущее. Здесь происходило другое. Ей явственно представлялось, что летит над землей к раке, невидимые крылья трепетали в вышине. Русская она была со всеми и видела чудо. В храме из детства с ровно направленными к небу линиями ей было бы узко и ушно...

Отец и владыка Дмитрий читал с достоинством... "Господь возложил на главу твою венец. Знает Он благочестивые от напасти избавляти; знал он пред Собою чистое сердце твое, знал непорочные пути твои. Знаем и все единодушно скажем, что ни глава твоя царского венца, ни рука твоя державы поискала славы ради, или снискания высокой власти, или приобретения временных сокровищ; но едина матерняя ко отечеству любовь, едина вера к Богу и ревность к благочестию, едино сожаление о страждущих и утесняемых чадах российских понудили тебя прияти великое сие к Богу служение. Будут чудо сие восклицать проповедники, напишут в книгах историки, прочтут с охотою ученые, послушают в сладость не книжные, будут и последние роды повествовать чадом своим и прославлять величие Божие..."

Она лишь внутренне поморщилась, когда одновременно с непорочной Еленой и решительной духом Юдифью сравнил ее красноречивый митрополит. С Еленой-то ладно, и от непорочности нечего отказываться. А вот с Юдифью, что собственноручно голову отрезала Олоферну для народного спасения, так тут мало ли что на ум может прийти. Между тем, по чрезмерному усердию, один раз сказанное здесь упорно тысячу раз произносят, пока абсурдом не сделается. Вон и речь свою митрополит повторяет слово в слово от коронации. В том неосознанном лукавстве опасность...

Она скакала в Ярославль верхом. Больше всего в жизни любила она эту езду и всегда сидела в седле по-мужски, без жеманства. Дорога подсохла, теплый

воздух пахнул травой, и она пустила коня в курц-галоп. Этот мощный и рассчитанный скак убирал из головы все заботы и сомнения. Отдавшись поводьям, она летела вровень с ветром, что захватил ее когда-то в сказочном зимнем лесу и нес не уставая.

Победно загремело и раскатилось в небе. И вправду казалось, что ехала там пророческая колесница. Набежавшая из-за леса туча закрыла солнце, но тут же оно снова открылось, и ослепительно засияли белые стволы берез, вспыхнули цветы в полях, в мгновение поменяли тени на свет дальние леса. Дождь шумно ударил по земле, по дороге, тяжелые крупные капли били в лицо. Только был это другой дождь: теплый и радостный...

Гришка в третий раз уже заглядывал из дальней, за две комнаты, двери и скрывался на сторону. Он встретил ее здесь, в Ярославле, впереди всех, как и надлежит генерал-адъютанту и действительному камергеру. Потом представлял со служебными лицами доклады от сената, кабинета и по коллегиям. Она спокойно смотрела мимо, и он переставал водить плечами, с незаметностью одергиваясь. А при том кипел, так что рука белела вместе с ногтями. Там в руке было у него перебитое сухожилие при Цорндорфе, когда насканивал на прусские пушки.

Она и тут не изменила распорядка: до конца посмотрела бумаги, сделала все резолюции, написала письма. Потом прошла на половину, где был отведен для нее личный апартамент. Камердинер со всегдашней тщательностью исполнял волосочесание, девушка готовила ее к ночи. Слышны были Гришкины неровные шаги и какие-то удары: будто на стены там бросался. Но когда вошла в спальную, он стоял на своем месте и младенческое было что-то в приоткрытом рте. Она остановилась, прождала еще, отмеривая его чувства, и сказала себе переступить черту.

Одновременно оставшись там, за этой незримой чертой, продолжала она наблюдать превращение: свободны делаются в движениях руки, ослабляются мышцы в лице, перестают тянуть к углам губы. Некое потепление разливается по телу, и приходит высокая, идущая от чуда слабость...

С покорной беззащитностью улыбается она ему, и вмиг куда-то девается его вынужденная послушность, с грубой силой дергает он ее и тащит к себе. Не скрывая злости, мстит он за такую мужскую униженность, рвет и терзает ее. И чем грубее все делает, тем выше счастье...

В перерыве она говорит ему нежные слова, перебирает мягкие концы волос, целует. Потом долго лежит, лаская пальцами шершавый рубец у его плеча. Еще такие есть на его сильном теле, и все она хорошо знает. А он, уже полный своей мужской значимости, что-то рассказывает ей про врагов, которые тщатся уменьшить его достоинства. Вон как вскинулись, когда решил было согласиться стать ей мужем.

— Купидон, Кришенька, то младенец с крылышками, что стреляет любовными стрелами, — говорит она ему. — Также Амур он называется. А у греков — Эрот...

Снова всяким желаемым способом унижает он ее, громко и презрительно говорит солдатские слова. С девкой из слободы или захваченной маркитанткой было у него точно так. Она же, готовая и послушная, терпит все, и ничего нет слаже этого его мучительства.

Утром она мягко освобождается от него, набрасывает пеньюар. Он уже знает, что сейчас произойдет, и остается у постели. Рассветная синь попадает в окно. На том же месте стоит она и твердо оставляет все за чертой. Плечи у него подрагивают, будто связан канатами и не может уже развязаться. Нет, ничего снаружи не изменилось между ними.

— Так что, Кришенька, не упусти про дом воспитательный чтобы проследить от комиссии, — с негромкой приветливостью говорит она.

— Все как есть уже и исполнено, матушка-государыня!

Бодрая услужливость в его голосе. Она смотрит внимательно, нет ли в глазах там некоего тайного огонька. Только не рожден этот великолепный герой для ироничности. Лишь недоумение по поводу такого своего бессилия и вскипающую раздраженность можно там разглядеть. Чувствуя твердо натянутые углы губ, она кивает ему подбородком и уходит.

II

Неужто он, Григорий Орлов, да какого-то Федьку Хитрово или Рославлева не смог превозмочь?.. Так все складывалось, что ему становится мужем для Катрин. Первый он из первых был и со всеми кровными Орловыми, когда уroda с царства сбрасывали. И сын у него с нею есть спрятанный. Кажется, и разговору тут никакому против не быть. Тем более что все бы сделалось закрыто, вон как у графа Алексея Григорьевича с покойной государыней. Про царя из себя он наперед не мыслил, хоть Лексашка намекал. В остальном же все у него на месте. Первый генеральский чин и графское достоинство от государыниной ласки, и при том не из хохлацких он певчих, как некие графы, а столбовой русский дворянин. Сам Бестужев, довереннейший у Катрин человек и первый дока при дворе со старых еще времен, взялся привести к концу то дело. Как же так получилось, что все сильные: и Разумовские, и Панин, и Чернышев, и генерал-прокурор Глебов сделались против их марьяжа. Гвардионцы — так сплошные оказались враги. В донесении князя Несвицкого, что с виною пришел к нему, весь букет измайловцев да преображенцев с семеновцами оказался налицо. Когда допрашивали Николая Хитрово и вошел Лексашка, так тот нагло спросил у брата извинения, что хотел убить его с остальными Орловыми. И подтвердил, что не отступится с прочей гвардией, если будут приводить к исполнению свой заговор...

Катрин не велела даже докладывать себе о том деле, но только через него, Григория Орлова. А пока ходила в богомолье, все и совершилось. Лексашка говорит, будто от начала известно было ей все, сама и соорудила ту бестужевскую подписку, чтобы предупредить сановников и гвардию об орловском замысле. Только из чего это видно? Никак не возражала она в разговоре с ним против марьяжа, да и любит его сильнее драной кошки. Какой бабе не прелестно иметь такого мужа?

Только зачем наказаны столь нестрого возмутители против него, то непонятно. А что не станет с ней пред аналоем венчаться, так и без того обойдется. Чего хочет с ней делает, когда одни остаются. Вот только

та манера не видеть его в сенате и на приемах, не русского она свойства. "Кришка" да "Кришенька" — это потом, а на людях подбородка не приопустит...

Он бросил в угол болонку с кресла, зашагал от двери к двери. Черт бы их взял те ярославские палаты: сто комнат в доме, и всякая меньше собачьей конуры. Не сдержавшись, опять выглянул в дверь. Катрин по-прежнему сидела с пером в руке, и стопа писем была еще высокой. Протянув руку к чернильнице, она подняла голову, и он поспешно отступил за косяк двери:

— Эж... твою мать!

Сами сжались кулаки. Стоять следовало твердо в дверях да пальцем ее поманить. Сейчас нет никого вокруг, так что нечего комедию ломать. Вон и в богомолье отказывалась его принять. Ведь не боится он ее, так что же такое происходит с ним?..

Вот опять: услышал, что закончила писать, так перегнувшись заспешил в спальную. И тут еще полный час ему ждать, пока сделается волосочесание. Чего бы проще — плюнуть, да в возок и к Алинке. Та безотказно принимает его все дни, что тут они в Ярославле. Вечером лишь не может, пока у мужа на виду. А ночью — так даже и вино на столе готово...

Нет, сегодня он все этой прохуди заявит. Слова не говоря, в морду, и в последний раз потом, чтобы ноги ставить прямо не могла. Пусть побегает за ним, поплачет. Всем ему обязана, и императорством своим, а каково обращается...

Только ноги его зачем-то отступают на некое обозначенное место. Она вошла и чуть щурится, глядя в полутьму. Он же не двигается. Хоть в пеньюаре она, но не может к ней подойти, пока так держит голову. Неужто задратый подбородок тому причиной? Еще и губы твердым полукругом...

Немыслимо долго стоит она там, и кровь начинает стучать в голове. Даже шею душит, так сильно ненавидит ее сейчас. Сколько еще тянуться тому делу?..

В единый миг все переменялось. Ямочка появляется у ней в подбородке, теплеют губы, с томной слабостью упадает маленькая белая рука. Покорно и ласково глядит она на него. Пеньюар даже сам сползает с плеча, золотистая тень у нее под рукой...

Как и не было ничего, действует он теперь. За руку

притаскивает к себе, сдирает с нее все и не встречает ни в чем отпора. Лишь охает она, когда делает больно. А он и не жалеет: с долго таившейся злостью мнет ее всю, выворачивает, словно на дыбе, и еще больше разъяряет его та беззащитная податливость. И вдруг понимает, что ей того и надо...

Неподвижно он лежит, а она нежит всяко его и называет ласковыми словами, какие матери говорят детям. Он угрюмится, но вдруг начинает много и горячо говорить, будто прорвалось в нем что-то. Она слушает с дружеским вниманием, как он грозит сенаторам и гвардионцам, ставшим ему поперек пути. Полностью она на его стороне, и другому быть невозможно. Потом с новой злостью тащит он ее к себе, вспоминая день...

Ранний свет льется из-за гардин. Она уже надела пеньюар, поправляет разорванный рукав. А он знает, что сейчас будет, и уже не приближается к ней. Та метаморфоза вовсе незаметна. Приподнимается у ней особенно подбородок и губы делаются овалом. Ровным негромким голосом говорит она о воспитательном доме, что предположено открыть в Москве для дворянских и солдатских сирот, над чем ему поручено наблюдение. Он лишь открывает рот, и слова вылетают сами:

— Все как есть уже и исполнено, матушка-государыня!

III

— То все идеал, мой друг!

Это она сказала ему с самой обворожительной своей улыбкой. А маленькие белые руки ее совершенно ровно разорвали лист глянцевиной сенатской бумаги на четыре части: сначала в длину, потом поперек. Подпись ее осталась на второй четверти. Он стоял в оцепенении, не зная, что говорить. А через три дня наступил новый одна тысяча семьсот шестьдесят третий год...

С постоянным рвением трудился он над тем проектом от самых ликующих и тревожных дней, когда ночи стали вовсе белыми и никто не спал в России.

Нынешняя революция знаменовала торжество здорового смысла. Никогда тут не было твердой законности, и теперь засияла надежда установить великую русскую хартию. Задолго перед тем, когда по возвращении из Швеции приставлен он был воспитателем к цесаревичу, то говорил с великой княгиней по этому поводу. От нее всегда происходило неизменное сочувствие тем идеям.

— Le comte Панин из этого порядка людей, что представляют надежду России!

Так она со всей убежденностью сказала о нем французскому посланнику Бретелю, вовсе не зная, что сам он, Никита Панин, стоит за колонной и все слышит. Для нее только открывалась его замкнутость. Подробно объяснил ей правомерность прихода ее к правлению в качестве регента при малолетнем сыне-императоре. Правила русского престолонаследия происходят от византийских Мономахов, и там имелись соответственные примеры.

Случилось вовсе непредвиденное. Никто в целой России и понимать не стал того регентства, а в один голос закричали ее прямо императрицей. Вот уже не имеется в русской национальной душе малейшей высокомерности, как и чувства приверженности к династии. Сам Петр Великий на то и другое смотрел как на назойливые препоны при главном деле. Поэтому, видно, татары да немцы у него без лишнего разговору делались русскими...

Все же он еще в манифест Шестого июля вписал обдуманную мысль: "Наиторжественнейше обещаем Нашим императорским словом узаконить такие государственные установления, по которым бы правительство любезного Нашего отечества в своей силе и принадлежащих границах течение свое имело". Этим ясно говорилось, что при необходимой для России самодержавности будет некое узкое собрание государственных умов, направляющее ход державного корабля. Даже и монархине в таком случае нельзя будет капризно менять закон или слать на войну Россию без всякого видимого резону.

Сразу же после переворота сел он составлять тот проект по реформе всей правительственной жизни. Она с нескрываемой благожелательностью отнеслась к тому. И всем своим поведением показывала, что не

будет терпеть сенаторов лишь яко попугаев, повторяющих заученное или одни ею сказанные слова. Совет, про который он мыслил, обязан был бы высказывать собственные мысли.

Да только в сенате ли дело, когда большая часть тех законов составлена случайными и недостойными людьми в наивредительнейшие для отечества времена. Даже в своем нынешнем праве сенат никак не в состоянии что-либо дельное произвести. Было время, что говорили сенаторы. Да после казни Волынского откуда такому разговору взяться...

Чуть паралич его не хватил, когда читал то дело. Кабинет-министр и первый докладчик при Анне Иоанновне был Артемий Петрович Волынский. И тоже составил тогда "Генеральный проект о поправлении государственных внутренних дел". Его и позвали в Тайную канцелярию. Это кто же поверит, что такого упорства и проверенной честности человек мог так на себя говорить. Громко и внятно произносил на суде, что является лютый враг российской державе и народу. Еще и казни мучительной сам для себя просил. Делали-то все при свете дня, нагло и сатанински. На триста лет вперед был научен русский сенат говорливому молчанию. Со слезами патриотическими в голосе черное назовут белым, а белое — черным.

Все хорошо было ему известно, когда приступил к проекту. И опытом не только здесь заимствовался, а также от Европы, где двенадцать лет нес российскую дипломатическую службу. Ближе всего для сравнения тут Швеция, откуда и почерпнул некоторые примеры. Что же привело этот проект к столь непредвиденному результату, что порвали его на четыре части?..

Никита Иванович Панин подошел к открытому окну, стал смотреть. Окно выходило на заднюю сторону дворца. Где-то там громко гоготал индейский петух, как видно, привезенный для продовольствования сената, тоже находящегося в Москве. Императрица ушла в богомолье, но и с дороги регулярно шли от нее письма и резолюции. Больше всех к нему, поскольку кроме того, что воспитатель и обергофмаршал двора великого князя Павла Петровича, так еще и возглавил Коллегию иностранных дел.

Она сразу, по воцарении, пришла в сенат и была там еще одиннадцать раз в три месяца. В первое же

ее присутствие в Москве вышло распоряжение сенаторам находиться тут от половины девятого до половины первого часа и посторонних речей отнюдь не говорить. Было видно стремление возратить смысл именно этому Петрову детищу. Но что же бесполезного нашла она в его проекте?..

Первый день случился за год, что не прислано от нее фельдъегеря с почтой. Сейчас она в Ярославле, и это значило, что завтра сама прискачет. А Павел Петрович занят в манеже с лилипутскими английскими лошадками, так что выпало и ему свободное время. Он вернулся к столу, машинально притянул к себе список с проекта и, хоть помнил его наизусть, в который раз принялся читать... "Взяв эпох царствования императрицы Елисаветы Петровны, князь Трубецкой тогда первую часть своего прокурорства производил по дворскому фаверу как случайный человек. Следовательно, не законы и порядок наблюдал, но все мог, все делал и, если осмелиться сказать, все прихотливо развращал, а потом сам стал быть угодником фаворитов и припадочных людей..."

Императрица всегда утвердительно кивала головой, когда читал ей про это, и от себя давала примеры. Все лучше его знала, двадцать лет живя при этом дворе. Саму ее фаворитство Воронцовых да Шуваловых чуть не привело к аресту. А слабые стороны Елисаветы видела еще и с женской проницательностью... "Ее величество вспомнювала, что у ее отца-государя был домовый кабинет, из которого, кроме партикулярных приказаний, ордеров и писем, ничего не выходило, приказала и у себя такой же учредить. Тогдашние случайные и припадочные люди воспользовались сим домашним местом для своих прихотей и собственных видов и поставили средством оного всегда злоключительный общему благу интервал между государя и правительства. Они, временщики и куртизаны, сделали в нем, яко в безгласном и никакого образа государственного не имеющем месте, гнездо всем своим прихотям, чем оно превратилось в самый вредный источник не токмо государству, но и самому государю. Все наиважнейшие должности и службы претворены были в ранги и в награждения любимцев и угодников; везде фавер и старшинство людей определяло; не было выбору

способности и достоинству. Каждый по произволу и по кредиту дворских интриг хватал и присваивал государственные дела, как кто которыми думал удобнее своего противника истребить. Фаворит остался душою, животворящею или умерщвляющею государство. Таково истинное существо формы или, лучше сказать, ее недостатки в нашем правительстве”.

Тут все без лукавства и с доверенностью написано. А мысль самая понятная: когда вставший у власти человек начинает прямо от стола своего и от постели, минуя государственные учреждения, собственным чувством назначать и возвышать людей, то все катится к пропасти. Без дела и таланта возвышенные люди занимают государственные места и уже не о законе и государственном интересе пекутся, а чтобы только угодить высшему лицу. Всякая противная закону и здоровому смыслу глупость, сказанная отсюда, и делается законом. Сам же закон становится как бы театральным правилом для комедии, которая с серьезным видом показывается своей публике и просвещенной Европе. А если к тому сама эта публика да вместе с Европою роковым образом расположена к такому обману, так и превращается все в некий бешовский шабаш.

Но отечеству-то каково? Каждый попавший в случай ласкатель государя, получив место не по заслуге, сам тут же ищет себе ласкателей, и так идет до самого низу, наподобие гангрены. Вот оно что такое — фаворит. А Петр Великий на то не оглядывался: по зоркому глазу назначал возле себя дельных людей, так думалось ему, что и дальше все будет идти правильно. Скорее всего, вовсе о том не думал: некогда ему было. А правило, годное лишь для чрезвычайных времен, осталось. И Петр Великий рождается лишь один раз в тысячу лет...

Уже с первого чтения заметно ему стало, что не спешит она с принятием его предложения. В проекте стоял риторический вопрос: ”И не может ли сие злоключительное положение быть уподоблено тем варварским временам, в которые не только установленное правительство, но и письменных законов не

было". На что она приписала: "Кажется мне, что употребление столь сильных слов неприлично нашей собственной славе, да и персональным интересам нашим противно такое на всю нацию и на самих предков наших указующее поношение".

Во второй раз, когда убрал из текста "варварские времена", она нашла другое: "Слово *министры* не можно ли переименовать русским языком и точную дать силу?" А когда в третий раз переписали проект, то напротив места, где предложено было составить императорский совет из шести персон, она написала: "До осьми". Он с терпением и настойчивостью выполнял все, и уже невозможно было дальше ей откладывать решение.

— Скажи, Никита Иванович, а разве и вправду государыня Елизавета Петровна была столь нехорошая и недобрая, как оно у тебя получается? — спросила вдруг она, потом покачала головой и тихо, будто для себя, сказала: — Это тоже русское томление по идеалу!

Он тогда не понял, что думала этим словом сказать. А проект отдала читать неизвестным людям, не указывая автора. Когда же он попробовал возразить, то с нарочитой удивленностью взглянула на него:

— Так сам ты, Никита Иванович, о Совете тут хлопчешь. Почему же мнения другие тогда не послушать?

Три месяца затем читали его проект. Писали всякие несусветности, и все он опровергал перед ней. Прямо все написал напротив генерал-фельдцейхмейстер Вильбуа: "Не знаю, кто составитель этого обширного проекта, но мне кажется, как будто он, под видом защиты монархии, тонким образом склоняется больше к аристократическому правлению. Влиятельные члены обязательного и государственным законом установленного Императорского совета (особенно если они обладают достаточным к тому своеволием, честолюбием и смышленостью) весьма удобно могут вырасти в соправителей".

Опять он подробно и с примерами излагал ей, как все то происходит в других просвещенных государствах. Она с постоянной своей внимательностью слушала, хотя не хуже его о том знала. Потом попросила назвать главнейшие добродетели, которыми обя-

зан будет обладать член такого Императорского совета. Он с готовностью перечислил: это должен быть муж твердый и неподкупный, чтобы был умен, правдив, некорыстолюбив, с добрым сердцем, ставящий чужое выше своего и паче блюдуший государственный интерес. К тому же не ласкатель и угодник, не сластолюбец...

Она остановила его коротким движением руки:

— Ну, одного такого мы с тобой знаем, Никита Иванович. Назови кого второго!

И тут он запнулся.

— Разве что граф Григорий Орлов? — сказала она в раздумье, как бы помогая ему выбирать.

Он молчал.

— Или, может быть, граф Кирила Григорьевич... Также Яков Шаховский... Еще Теплов, Чернышев, кто-то из Воронцовых...

У него дух захватило. Так и не поняв он, вполне серьезно говорила она или смеялась над ним. Все названные были таковы, что пробы негде ставить, а Теплов, так, будучи шестнадцати лет от роду, своего благодетеля, того же самого Волынского и продал. На нее даже саму этот человек доносил по бестужевскому делу...

Опять было сказано переписать проект, да тому же Теплову поручено подготовить его к подписи. Утром 28 декабря она и подписала манифест об учреждении Императорского совета. А перед самым вечером позвала его к себе. Подписанный накануне манифест лежал на ее столе. Прямо и без улыбки посмотрела она на него и сказала:

— А ведь и среди апостолов не было такого, каких предполагаешь членами моего совета.

Потом она встала и разорвала манифест на четыре части. Он стоял окаменелый. И тогда снова услышал от нее это слово:

— То все идеальность, мой друг!..

IV

Все умерло для нее и просто не существовало. В этом мире был только маленький, открывающий в крике рот и сосущий из нее молоко, невысшимый

предмет — ее сын. Четыре дня назад он отделился от нее, но она продолжала ощущать его сердцем и кровью, каждой клеточкой своего существа. До той высокой и мучительной минуты она только предчувствовала его. А все направление ума и чувств, безо всякого исключения, было сосредоточено на муже. Тот, огромный и беспомощный, лежал на другой половине дома, чтобы не заразить ее своей постоянной ангиной, и она, отменяя всякие резоны свекрови и других его родных, упорно сидела подле него и ставила горячие примочки к горлу. Большая и добрая свекровь лишь беспомощно разводила руками. И муж смотрел на нее кроткими, как у матери, глазами, без ропота подчиняясь всем ее действиям. Она любила его, как и все в жизни делала, беззаветно и до конца. Когда он два года назад так же заболел, а она опять была беременной, и уже начались схватки, то жестоким усилием сдержала их и через весь Петербург тайно ехала к нему на февральском морозе. Так же абсолютно любила она свою свекровь, всех его многочисленных родных, всех людей вокруг себя. Но всякий раз на чем-то одном и без остатка собиралось ее чувство. Таковыми предметами были ее дочь Анастасия, потом сын Михаил, умерший на другой год после той знаменитой февральской ночи, а сейчас этим предметом стал четыре дня назад рожденный ею другой сын, которому не было еще имени...

Уже некоторое время доходили до нее с улицы голоса, но, занятая сыном, она только отмечала их в своей памяти. Кто-то спрашивал: "Здесь князь и княгиня Дашковы?" Потом тот же голос сделался тише: "Нет, ее не надо, позовите сюда лишь князя!"

Тут она вспомнила, что князь болеет, и подошла к окну. Сенатская карета стояла не возле их крыльца, а на стороне, перегораживая узкий московский переулочек. Рядом стоял Теплов, коварнейший в свете человек. Сама императрица рассказывала, как интриговал против нее, когда арестовали Бестужева, а теперь взяла его к себе в делопроизводители. Напротив Теплова стоял ее муж с фланелевой повязкой на горле и читал какую-то бумагу. Она хотела пойти и сказать, чтобы не смел больной находиться на улице, но сдержалась. Что-то непонятное было в поведении Теплова. Почему в дом к ним не является, а зовет князя на

улицу? Наверно, не желает невзначай встретиться тут с дядей ее, Паниным, который открытый ему враг?..

А муж уже прочитал бумагу и стоял ровно, во весь свой гвардейский рост. Затем вдруг, протянув вперед руки, разорвал эту бумагу, коротко поклонился Теплову и пошел в дом. Теплов сел в карету и уехал...

Она быстрым шагом полетела на половину к мужу, молча достала у него из кармана куртки порванную бумагу, подбежала к окну и стала складывать. Он с растерянной послушностью ждал, хлопая длинными и густыми ресницами, которые она так любила. С первого взгляда узнала она твердую руку императрицы. В записке дословно значилось: "Князь! Я искренно желаю не быть в необходимости предать забвению услуги княгини Дашковой за ее неосторожное поведение. Припомните ей это, когда она снова позволит себе нескромную свободу языка, доходящую до угроз".

Дата в записке стояла 15 мая. Это был третий день богомолья императрицы. Значит, Теплову предупредительно приказали не заходить в дом, а отдать записку князю. Было уже известно о рожденном ею сыне, и об этом тоже подумали...

Все сразу просветилось в памяти от первого дня, когда увидела и полюбила ее. Это было в доме у дяди Михайлы Ларионовича, канцлера. Великая княгиня тоже выделила ее из других и, мягко взяв за руку, спросила:

— Говорят, вы много читаете, графиня. Во всяком случае, все иностранные министры при этом дворе рассказывают мне, что вместе с поручениями вашего дяди обязаны выполнять и ваши собственные, разыскивая книги по всей Европе!

Тот вечер они сидели только вместе: обсуждали трактат "О разуме" Гельвеция, смотрели купленную ею энциклопедию и исторический словарь Морери. Великая княгиня имела у себя эти книги и по всему высказывала свое суждение. Но это было лишь канвою их внутренней близости. Все сразу решила особенная улыбка, единственная в мире. Двойная разница возраста не имела никакого значения. Она отдала свое сердце, как и все делала в жизни, навсегда.

Действия самого предмета любви уже не имели значения...

Все наоборот было с великим князем. Тот подошел, почему-то раньше громко захохотал и сказал:

— Это, как видно, и есть моя дочь, которую крестили мы с ея величеством-тетушкой. Скажу вам с кавалерскою прямою: в купели вы были совсем голенькая и много лучше!

Может быть, не потому, что плоско иронизировал, не понравился он ей. У него был вороний голос. А еще открыто говорили про любовную связь у него с ее родною сестрой Елизаветой. Даже ночи те проводили вместе. К ней же с этих пор он обращался по-родственному: "дочь моя". Она не скрывала своего неприятного к нему отношения, но он ничего не замечал. Уже когда сделалась замужем и всякий день спешила со своей дачи в Ораниенбаум видеть старшую подругу свою — великую княгиню, он как-то взял ее за руку, отвел на сторону:

— Я желаю, чтобы вы были больше времени со мной, а не с моею женой!

Как всегда, он говорил таинственно и с важностью. А она и ответить сразу не могла от удивления. Пять минут назад те же самые слова сказала ей сестрица Лизбет в своей увешанной рогами и шпагами комнате. Даже и голос у великого князя был тембром от ее сестры. А среди разбросанных вещей там прямо валялся мужской голштинский шарф. Ее почему-то охватило физическое отвращение.

И опять он повторил слова Лизбет, отведя ее к тому же окну:

— Дочь моя, помните, что благоразумнее и безопаснее иметь дело с такими простаками, как мы, чем с великими умами, которые, выжав весь сок из лимона, выбрасывают его вон!

Великая сестрицына зависть прямо читалась тут. Та с детских лет во фрейлинах так и не нашла свою судьбу, в то время как у нее был в целом мире лучший из лучших муж — князь Дашков. А еще, в отличие от Лизбет, в доме у дяди-канцлера Михайлы Ларионовича росла, откуда не рога и шпаги, а геометрия и Плутарх с Гельвецием больше пленяли ее. Так что интерес к ней общества происходил не от возраста и миловидности, а от более высокого. Сама она и слы-

шала, как сестра с надутостью говорила: "Наша умница опять к своей сербской королеве побежала!" Про великую княгиню был пущен слух, что Цербстская означает ее маленькое княжество якобы немецких сербов, которые и вовсе цыгане...

Тогда она ответила великому князю, что не понимает смысла его слов, а двор великой княгини ей приказала посещать их тетка — императрица. После этого она прямо пошла к сестре и спросила, зачем учит великого князя говорить ей несуразные вещи. Лизбет испугалась, заморгала своими короткими ресницами и вдруг зашептала ей: "Государыня очень болеет. Ты нас... меня держись: всякое может произойти!"

И тут она все поняла. Ведь эта толстая подушка — сестра ее — сама метит в императрицы. А в комнате вокруг по вечной неряшливости ее валялись нижние юбки, таз туалетный выглядывал из-под кровати. И лицо у Лизбет от вчерашних румян было еще не мытое...

Великий князь с того случая стал уж совсем породственному покровительствовать ей: приподнимал при всех от пола, как маленькую, грозил пальцем и продолжительно хохотал при этом. И всякий раз ее охватывала та же гадливость.

В праздничном обеде, когда сто человек сидели за столом, великий князь вдруг принялся осуждать известную в свете интригу конногвардейца Челищева с императрицыной племянницей Гендриковой.

— За такую дерзость следовало бы отрубить виноватому голову, чтобы не смели офицеры завлекать фрейлин, а тем паче дам из царской семьи! — заявил он с важностью, и все замолчали. За столом там сидели одни военные, но лишь голштинские генералы из них — все больше бывшие капралы и сапожники — одобрительно закивали головами.

— Ваше императорское высочество! — возразила она громко. — Я никогда не слышала, чтобы взаимная любовь влекла за собой такое деспотическое и страшное наказание!

Великий князь снисходительно покивал ей:

— Вы еще ребенок и не понимаете, что когда имеешь слабость не наказывать смертью людей, достойных ее, то неминуемо водворяются неповиновение и всевозможные беспорядки.

Она даже отставила бокал от себя:

— Ваше высочество! Вы говорите о предмете, внушающем всем присутствующим неизъяснимую тревогу, так как, за исключением ваших почтенных генералов, все мы, имеющие честь быть вашими гостями, родились в то время, когда смертная казнь в России уже не применялась.

Разговаривали они одни, все остальные слушали. Великий князь с искренней удрученностью покачал головой:

— Это-то и скверно. Отсутствие смертной казни вызывает много беспорядков и уничтожает основу жизни — дисциплину и субординацию.

Гвардейские офицеры, и среди них ее муж, смотрели на нее с ожиданием, и тогда она сказала ему в лицо:

— Сознаюсь, ваше императорское высочество, что я действительно ничего не понимаю, но я чувствую и знаю, что ваше высочество забыли, что императрица, ваша августейшая тетка, еще жива!

Он отряхнулся, как попавшая в воду собака, скорчил рожу и показал ей язык. Голштинцы, ничего не понимавшие по-русски, захохотали, как над доброй шуткой. Великая княгиня говорила ей, что еще в Эйтине, десятилетним мальчиком, делал он так за спиной у учителя. Потом, уже русским императором, он у гроба тетки таким же манером высовывал язык митрополиту...

Но все происходило от улыбки, которой невозможно было не плениться. Она сама видела, как граф Александр Иванович Шувалов, коим пугали детей, вдруг дергался калеченым лицом и делался ягненком, когда великая княгиня улыбалась. Старый Бестужев завороченно смотрел на императрицу отнюдь не из-за придворного холопства. Григорий Орлов, при всем его подлом нахальстве, открывал непонимающе рот. Говорили, что наедине ему позволялось быть совсем другим...

И уже в первую встречу она видела, как пропадала та улыбка и некое второе лицо гляделось за ней. Не было оно уродливым или недобрым, а как бы из холодного мрамора. Улыбка при том не уходила с губ, а только каменела на мгновение.

В первый раз второе лицо показалось, когда заговорили об короле Фридрихе.

— Этот монарх выражает не сегодняшнюю, но будущую угрозу высшему назначению России! — сказала великая княгиня, и вдруг пропала улыбка. Губы были твердо сжаты, и особым образом выставлен подбородок. Такое видела она в шуваловской коллекции древних монет. В ту же минуту опять утверждалась улыбка.

К ней это не относилось. Голубая с золотом карета останавливалась всякий раз перед дачным домом на полпути от Петергофа, она бросалась, зажмурив глаза, внутрь и попадала в маленькие и сильные руки. Некая властная уверенность чувствовалась в их мягкой ласковости.

— Ах, моя милая Катрин, это такая несуразность: видеть собственного сына один раз в неделю. Но таково желание ее величества, и для меня это равно божьей заповеди!

Именно эти слова она помнила. Они целовались в полутьме, и от великой княгини пахло дубовыми почками. Что это были за такие духи, она не знала, но именно этот запах запомнился ей от тех дней. Муж — князь Дашков — скакал следом, и в Ораниенбаум приезжали к ужину. Их все звали Екатерина Гранд и Петит...

Второе лицо больше не являлось, сколько она ни наблюдала. Великая княгиня твердо уходила от разговора о своем муже, которому предстояло стать императором. В тот зимний вечер снега намело под самые окна. Она лежала в простудной горячке, когда пришли от дяди и сказали, что императрице Елизавете — ее крестной матери — осталось жить не больше четырех-пяти дней. И вдруг до конца увиделось будущее. Император с высунутым языком вставал во весь свой несуразный рост...

Карету она остановила в переулке, а сама шла в глубоком снегу по берегу Мойки. Тело под наброшенной на нижнее платье шубой было мокрое и горячее, волосы слиплись под капором. Она знала во дворце маленькую лестницу, но запуталась в темном коридоре. Встреченная ею камеристка привела ее к великой княгине.

— Впустите ее, ради бога! — послышался знакомый грудной голос.

Великая княгиня, уже раздетая, ступила к ней от постели:

— Господи, да у вас руки как лед. Я не буду вас слушать, пока не отогреетесь!

Они лежали вместе под одеялом, и Екатерина большая грела ее своим телом. Оно было сильное и теплое. Дрожь у нее прошла.

— Теперь говорите, княгиня, что привело вас ко мне в столь поздний час. Ваше здоровье драгоценно для меня так же, как и для вашего супруга, храброго Дашкова...

Это ее особенно трогало, что никогда не отделяла ее от мужа. Она выпрямилась, встала с постели и стала горячо говорить о их будущей судьбе, об отечестве. Сумасбродные планы ее сестры и того, кому предстояло быть императором, прямо вели к всеобщей гибели. Упав на колени, она протянула к великой княгине руки:

— Ваше высочество, ради бога, откройтесь мне. Я заслуживаю вашего доверия и надеюсь стать еще более достойной его. Скажите, какие у вас планы? Чем вы думаете обеспечить свою безопасность? Императрице остается всего несколько дней, может быть — несколько часов жизни; могу ли я быть вам полезной? Скажите мне, что мне делать?

Великая княгиня залилась слезами: она прижала ее руку к своему сердцу и сказала:

— Я не умею выразить, насколько я вам благодарна, моя дорогая княгиня. Поверьте мне, что я доверяю вам безгранично и говорю чистейшую правду; у меня нет никакого плана, я не могу ничего предпринять, и я хочу и должна мужественно вынести все, что меня ожидает; единственная моя надежда на бога, предаю себя в его руки...

Нет, все это было не так. Она-то именно эти слова говорила, но великая княгиня какие-то другие. И не заливалась при том слезами; лишь одна металлическая слезинка блеснула в глазах и тут же высохла. Что-то еще сказала большая Екатерина о ее семнадцати годах и широком русском сердце, а потом только молчала и слушала. Но это не имеет значения: если она так все увидела, значит, так и было на самом

деле. Вот и с мужем она твердо знает, что безумно его любит, а муж так же безумно любит ее. От той веры и идет их действительная любовь. Если бы так верили в хорошее все люди, то и всем было бы хорошо!..

— В таком случае за вас должны действовать ваши друзья, — сказала она великой княгине, — и я не останусь позади других в рвении и жертвах, которые готова принести вам.

— Ради бога, княгиня, не подвергайте себя опасности из-за меня и не навлекайте на себя несчастий, о которых я буду вечно скорбеть, — отвечала та. — Да и что можно сделать?

— Пока я, конечно, ничего еще вам не могу сказать, но смею вас уверить, что я вас своими действиями не скомпрометирую и если и пострадаю, то пострадаю одна, и вам никогда не придется вспомнить о моей преданности к вам в связи с личным горем или несчастьем...

До половины ночи говорила она, как всегда в волнении, мешая французские, итальянские, немецкие, русские слова. Все эти языки она знала, только русский выучила немного позже других. Потом поцеловала у великой княгини руку и сказала:

— Я не могу дольше остаться с вами, не рискуя подвергнуть неприятностям нас обеих?

Великая княгиня бросилась ей на шею, и они сидели так несколько минут, крепко обнявшись. Наконец она встала с постели и, оставив великую княгиню в сильном волнении, сама едва добрела до кареты...

С великим князем, сделавшимся императором, все происходило по-другому. Здесь не было разницы в том, что она видела и что видели окружающие. Ни одного слова или поступка невозможно было тут представить в высоком свете. Он играл в карты и деньги не платил. Она прямо сказала ему про то, когда приказал ей играть. Потом в пятидесятый раз рассказывал австрийскому послу, как еще в Голштейне ему было поручение от отца изгнать неких богемцев из города, что и сделал с одной ротой карабинеров. Граф Мерси краснел и бледнел, поскольку богемцы всегда были лучшими солдатами австрийской короны. Она негромко сказала императору по-русски,

что это, очевидно, были кочующие цыгане, с которыми справилась одна полиция. Тем более что в то время его величеству было не больше одиннадцати лет.

— Вы маленькая, упрямая дурочка, вечно говорящая наперекор! — сказал он в раздражении.

И вдруг вовсе сдернулся флер. Император, хохоча и подпрыгивая ногой, кричал секретарю Волкову:

— А помнишь, как смеялись мы, что великий король Фридрих все раньше наших дураков-генералов Салтыкова да Апраксина узнавал!

Волков сделался блее стены. Про то открыто говорили шесть лет войны, что всякий раз прусская армия находится точно в том месте, где следует ждать русских. И смотрели в сторону великого князя...

Ее била крупная дрожь. Мать у нее умерла на втором году ее жизни, и поэтому она вспомнила свою свекровь. Куда-то отлетели французские и итальянские слова, остались только русские. Она была урожденная Екатерина Романовна Воронцова, а по мужу Дашкова, и больше никто. Русские армии шли на черные прусские колонны и падали в огне и дыму. Впервые она ничего не сказала императору...

Она металась из конца в конец и прямо заходила на квартиры, где сидели офицеры. Числя в своих товарищах ее мужа и зная близость ее к несчастной императрице, они не скрывали своих чувств. Братья Рославлевы, Пассек, Бредихин, Ласунский, Баскаков, князь Барятинский, Хитрово — все болеющие за справедливость и отечество слушали ее с пламенем в глазах. Наученные ею, они привлекали в дело фельд-маршала и гетмана Разумовского. С дядей своим Паниным она сама говорила и, хотя по врожденной своей манере он молчал, объяснила ему, что следует иметь на своей стороне Теплова: тот умеет писать указы. Ей передали также, что новгородский архиепископ Димитрий сочувствует их планам. И дядя ее мужа князь Волконский, приехав из армии, сообщил, что все там недоумевают, почему русское оружие вдруг повернуто против австрийского союзника на стороне прежнего врага. Было понятно, что и князь думает так же. Потом она заболела, и невидимая рука Провидения привела к счастливому концу ее замысел.

Незабываемые те дни слились в один непрерывный ослепительный миг. Она подталкивала нерешительных, в наброшенной на плечи мужской шинели бежала к дому, где жили Рославлевы, чтобы предупредить об аресте Пассека. Окликнула на счастье неизвестного офицера, который оказался младшим Орловым, и велела ему, не теряя времени, скакать к Измайловцам и объявить, чтобы встречали императрицу. Самому же с братьями поручила стрелой лететь в Петергоф и как можно скорее привезти ее величество в Измайловский полк, где и будет объявлена всероссийской государыней.

— Скажите ей также, что необходимо спешить, — крикнула она ему вслед. — Я даже не пишу ей, чтобы вас не задерживать. Сообщите ей, что я остановила вас на улице и умоляла ускорить ее приезд: тогда она поймет необходимость своего немедленного прибытия. Прощайте, я, может быть, сегодня ночью выеду ей навстречу!

На беду, горничная объявила ей, что портной не принес для нее мужского костюма. Она распекала еще одного явившегося к ней Орлова за медлительность в исполнении ее приказаний и потом только прилегла отдохнуть. В шесть часов утра, узнав, что ее величество приехала в Измайловский полк, она приказала заложить карету, надела свое парадное платье и поспешила в Зимний дворец. Карета не могла туда проехать, и она решила идти пешком через огромную толпу. Ее тотчас же узнали солдаты и офицеры. Подняв высоко на руках, понесли они ее вперед. "То княгиня Екатерина Дашкова, спасительница нашей матушки-государыни! — кричал народ. — Ура Дашковой!"

Они бросились в объятия друг другу. "Слава богу! Слава богу!" — только и могли они проговорить. Императрица рассказала, как произошло ее бегство из Петергофа, а она сообщила все, что знала, и сказала, что, несмотря на свое сильное желание, не могла выехать навстречу, так как ее мужской костюм не был еще готов. Заметив, что на императрице была только лента ордена Святой Екатерины, она подбежала к своему дяде Панину, сняла с него голубую андреевскую ленту и надела на плечо государыни, знаменуя тем ее императорское право. Потом императрица

взяла мундир у капитана Талызина, она же — у поручика Пушкина, и вместе, во главе гвардейских полков и армий, выступили на Петергоф...

Как раз в те дни опять показался мрамор в лице императрицы. Обнявшись и не раздеваясь, лежали они на одном плаще, взятом у капитана Кара, вместе спали, ели и ехали стремя в стремя впереди гвардии. Им кричали "ура", и они отвечали улыбками и поклонами. Но еще накануне ее величество совещалась с сенатом, а она, похожая на четырнадцатилетнего мальчика в офицерском мундире, подошла и шепнула ей в ухо, что необходимо поставить заставы в устьях рек, чтобы предупредить неожиданный приезд свергнутого императора. Вот тогда на мгновение твердо очертились губы у императрицы. Но тут же снова возвратилась улыбка.

— Юная княгиня Дашкова, благодаря своей горячей преданности, предупредила нас о некоем важном обстоятельстве, ускользнувшем от нашего внимания, — объявила она сенаторам. Почтенные мужи встали все как один и поклонились ей.

Опять, по возвращении из похода, она бегала с этажа на этаж во дворце, проверяла охранявших входы и выходы гвардейцев, давала приказания офицерам. И неожиданно увидела старшего Орлова. Тот лежал на канаве в задней комнате у императрицы, выставив на стул ушибленную ногу. Ножом с костяной ручкой он открывал правительственные конверты. Точно такие видела она у своего дяди-канцлера.

— Что вы тут делаете? — громко вскричала она.

Он посмотрел на нее с удивлением и вдруг улыбнулся:

— Императрица велела, я и слушаюсь.

Больше всего задела эта его снисходительность к ней.

— Сомневаюсь, — ответила она сухо. — Эти пакеты могли бы оставаться нераспечатанными еще несколько дней, пока императрица не назначила бы соответствующих чиновников. Ни вы, ни я не годимся для этого!

Он даже не сказал ничего и продолжал с усердием делать свое дело. Она хотела тут же бежать к императрице, но что-то отвлекло ее. А когда вернулась, то

императрица была уже здесь. Рядом с канопе, на котором лежал Орлов, был накрыт стол на три куверта.

— Вот и хорошо, графиня, пообедаете с нами! — сказала ей императрица.

— Я не спала вот уже пятнадцать дней, ваше величество! — ответила она изменившимся от волнения голосом.

Императрица бросила короткий взгляд в ее сторону, и вдруг опять пропала улыбка. Будто некая холодная тень набежала на лицо.

Нет, не о себе она думала. Совершилось великое в истории дело, и ни одного грязного брызга не должно быть на императрицыном платье. Как удастся скрыть ее величеству столь недостойную любовную связь?..

А затем она отправилась к своему дяде — великому канцлеру, чей дворец был рядом, а от него к отцу. Тот, волнуясь и охая, ходил по комнате.

— Что с вами, батюшка? — спросила она.

— Ах, ваша сестра Елизавета совершенно сведет меня с ума, — ответил он. — Зачем вдруг поселили ее ко мне?

В соседней зале плакала Лизбет, которой не было другого убежища после ареста императора. Она успокоила сестру, твердо пообещав милость императрицы, после чего возвратилась к отцу.

— Зачем здесь столько чужих людей? — спросил он, указывая на солдат. Те стояли у каждого окна и двери.

— Нас прислали для безопасности дома! — сообщил ей командовавший ими офицер Какавинский.

— Оставьте лишь пятнадцать человек, а остальных пошлите для охраны дворца! — приказала она. Офицер не перечил, но когда она потом снова пришла во дворец, от императрицы как раз выходил Григорий Орлов вместе с этим самым Какавинским.

Императрица вовсе не улыбалась, но и не гневалась. Только озабоченность была в лице, когда обернулась к ней и спросила:

— Зачем, графиня, вы своей властью отослали солдат, назначенных охранять ваших сестру и отца? Вы же знаете, что рядом гвардейские казармы и сколько настроены там против Воронцовых. К тому же вы объяснялись с офицером по-французски, вызвав подозрение у солдат.

И тут она сама вскинула голову:

— Вы слишком рано принимаетесь за упреки, ваше величество. Вряд ли всего через несколько часов после вашего восшествия на престол ваши войска, оказавшие мне столь неограниченное доверие, усомнятся во мне, на каком бы языке я ни говорила!

— Успокойтесь, милая графиня. Вы должны, однако, сознаться в том, что были не правы, удаляя солдат.

Непонятное сожаление было на лице у императрицы и грусть в голосе, когда говорила это. Кажется, было сказано еще, что лишь прямые начальники должны приказывать солдатам. Но она стояла на своем:

— Действительно, ваше величество, я теперь вижу, что мне следовало дать свободу действий этому глупому Какавинскому и оставить вас без солдат, которые смогли бы сменить караул, охранявший вас и дворец!

— Ну, будет, довольно об этом. — Императрица улыбнулась и махнула рукой. — Я вас упрекнула за вашу раздражительность, а теперь награждаю за ваши заслуги!

С этими словами ее величество возложила на нее свой собственный орден. Но она не встала на колени, как полагалось в подобных случаях, и ответила:

— Простите мне, ваше величество, то, что я вам сейчас скажу. Отныне вы вступаете в такое время, когда, независимо от вас, правда не будет доходить до ваших ушей. Умоляю вас, не жалуйте мне этого ордена: как украшению я не придаю ему никакой цены. Если же вы хотите вознаградить меня за мои заслуги, то я должна сказать, что, какими бы ничтожными они ни являлись, по мнению некоторых лиц, в моих глазах им нет цены, и за них нельзя ничем вознаградить, так как меня никогда нельзя было и впредь нельзя будет купить никакими почестями и наградами!..

Так все и продолжалось. А когда вернулся из ссылки бывший канцлер Бестужев, то у ее величества невольно вырвались слова:

— Вот княгиня Дашкова! Кто бы мог подумать, что я буду обязана царским венцом молодой дочери графа Романа Воронцова!

И снова все было несколько иначе. Кажется, говорились другие слова и делались жесты, но только так она это видела. Точно лишь, что было сожаление на лице императрицы, которую, невзирая ни на что, продолжала любить безмерно.

Ее величество сразу же милостиво возвратила князя Дашкова из поездки в Константинополь, куда отправлен был при императоре. Ее же саму неожиданно отнесла только во вторую категорию награжденных за участие в революции, тогда как к первой причислены были дядя ее Панин, граф Разумовский и князь Волконский. Назначенные ей двадцать четыре тысячи рублей, чтобы не выделяться из других, она взяла, но не дотронулась до денег, а все их перевела на мужнины долги.

Еще раз менялось лицо императрицы, когда на следующий день после кончины несчастного императора нашла ее величество в тревожном состоянии. Императрица с некой затуманенностью в глазах посмотрела на нее и тихо сказала:

— Как меня взволновала, даже ошеломила эта смерть!

— Она случилась слишком рано для вашей славы и для моей! — ответила она.

И опять нечто вроде удивления появилось во взгляде императрицы. А когда вечером в присутствии множества людей она громко выразила надежду, что Алексей Орлов отныне никогда не посмеет ей кланяться, ее величество вдруг подняла голову. Знакомая мраморность проступила в подбородке и сжатых губах.

То мелкодушная ложь была, распространенная Орловым, что она впала в немилость у императрицы. Вместе с ней в карете ехала она в Москву на коронацию, и муж ее был первый в свите. Всю дорогу ее величество была к ней более чем милостива и, когда не было чужих, держала ее руки в своих, как любила это делать в прежнем знакомстве. У нее сердце разрывалось от счастья этой высокой человеческой ласки. А в имении графа Разумовского, где остановились перед въездом в Москву, императрица, видя ее беременность, все отговаривала сразу ехать к маленькому

сыну Михаилу, который жил с бабушкой. Потом позвала ее с мужем к себе и осторожно сообщила об его смерти. Не сдержавшись, она зарыдала, а императрица обнимала и целовала ее. В глазах ее величества стояли действительные слезы...

Теперь она стояла посредине комнаты со сложенной из кусков запиской в руках. Мраморная холодность шла от четко написанных слов. И одновременно, ввиду ее болезни, не к ней была эта записка отправлена, а к мужу, чтобы предупредил ее по-домашнему...

Ничего преступного не совершила она, лишь сорвала орловскую интригу. Когда старый граф Бестужев стал обходить сенаторов с подпиской, чтобы ее величеству взять себе в мужа Григория Орлова, она прямо при всех сказала, что надо спасти отечество и императрицу. А если придется, то даже сделать это помимо воли ее императорского величества. Сенаторы и офицеры послушались ее, и никто не стал подписывать такую просьбу. Говорили, что по тому делу арестовали одного из Рославлевых и Хитрово. Поскольку сами Орловы и ведут следствие, то представили ее слова в ложном свете...

* * *

Каким-то образом императрица казалась здесь ростом выше всех: ее дяди Панина, большого и ленивого Кирилы Разумовского, убеленного сединами Бестужева и даже великанов-гвардейцев, застывших шпалерами по бокам зала. Тут заметила она, что сам Григорий Орлов тоже смотрит с недоумением и руки его вытянуты по швам. Преступный брат его Алексей стоял, не двигаясь, лишь бесцветные глаза таили усмешку. Где-то за колонной скрывался Сергей Салтыков, с которым была у императрицы первая любовь. Ей она прямо и просто рассказывала об этом.

Но вдруг сама она ощутила необъяснимое. Идя сюда, уже видела, как пройдет между приближенными к ее величеству людьми, кивнет приветствующим ее офицерам и склонится перед императрицей с достоинством и преданностью. Однако стояла вместе

с другими и не шла с места. Не робость присутствовала в ней, а некое другое чувство...

Через час после того в задней комнате ее величество с материнской теплотой взяла ее руки в свои и спросила:

— Здоров ли мой маленький крестник — ваш великолепный сын, милая графиня?

И следа не было той мраморности, а посланной недавно записки словно бы не существовало. Они два часа проговорили о книгах, что им обоим присылала мадам Жоффрен из Парижа, о неудачном замужестве графини Строгановой, о воспитательном доме в Москве. И понимали друг друга, как близкие люди, с полуслова, с кивка головой. Муж ее — князь Дашков, вчера приехавший из Дерпта, где стоял его полк, тарасил глаза и только поддакивал, когда обращались к нему.

И вдруг опять все переменялось. Отчетливая мраморность явилась в лице ее величества, когда повернула голову к ее мужу и сказала:

— Князь, мне хорошо известны ваша исполнительность и военное умение. Умер польский король Август, и нам придется защищать там русские интересы. Я назначаю вас командующим нашими войсками, что, возможно, принуждены будут вступить в эту страну. Ваша дорожная карета готова, и вы отправитесь туда прямо отсюда, не заезжая домой и никому о том не объявляя. Милая графиня простит меня, что я задержу вас для разговора наедине.

Она послушно, как девочка, вышла и терпеливо ждала мужа в передней комнате. Из окна была видна ожидавшая карета с готовым эскортом. Через комнату, на ходу кланяясь ей, поспешно приходили и уходили от секретарей ее величества фельдъегери и курьеры...

V

Один и тот же сон стал ему сниться, и нельзя было различить, сон это или воспоминание о бывшем некогда с ним на самом деле. В солдатской куртке и сапогах лежал он в темном углу, где пахло свиньями, и смотрел в узкий просвет между досками. По широкому двору ходили люди в таких же куртках и громко

говорили между собой. То были прусские солдаты — это он различал не по одежде, а по выговору, что отличался от немецкой речи, какую сам объяснял в пять лет своей тамошней учебы.

— Ломонософф!..

Он вздрогнул, когда фельдфебель громко назвал его. Это был тот самый человек, с кем он сел пить черное пиво на постоялом дворе рядом с домом своего покойного тестя в Марбурге. Жена два раза разглядывала в открытую дверь, потом приходил портной Готлиб, ее дядя, что-то долго и обстоятельно говорил, но он отмахивался и все пил с этим самым фельдфебелем, которого звали Фриц. Тот хлопал его по плечу и кричал: "О, я есть Фриц, как и мой отважный король, который тоже Фриц!" И еще измерял рост и ширину его груди: "Настоящий русский riese¹... О, твое место в наших славных рядах!"

Потом он сам был уже в этой куртке где-то далеко от Марбурга. А когда стал сбрасывать ее с себя, то его связали. Но он не выпускал из виду узел со своей прежней одеждой. Там были сапоги, что носил еще в России. Когда настала ночь, он поднатужился, растянул узлы и освободился от веревок. Затем бежал всю ночь по полям и спрятался в этом сарае...

— Михель Ломонософф!

Фельдфебель все тыкал в бумагу, и другой немец в пелеринке послушно кивал головой. Бумага была с черным орлом: ее он подписывал в корчме, продаваясь в прусскую службу.

Что было дальше, он уже сам хорошо помнил. Они тогда не нашли его. Куртку и высокие прусские сапоги он оставил в сарае и в одном исподнем, держа свою старую одежду над головой, переплыл реку. Вода была холодной, да только не холодней той, где купался в юности...

То было постоянное его время после долгой болезни. В два часа пополудни он ложился и спал один час, отдыхая от ночной бессонницы. И всегда являлся именно этот сон. Тогда он убежал от прусских вер-

¹Riese — исполин, гигант (нем.)

бовщиков, пробирался пешком через польские леса и, еле живой и ободранный, пришел в Россию. Да только и здесь его жизнь продолжалась в том же порядке: будто сквозь густой и холодный лес продирался всю жизнь...

Что же мешало ему? Неужто одна всегдашняя мысль о деньгах, которых и назавтра уже не хватает? Не на деликатесы, а прямо-таки на хлеб и чтобы заменить сапоги вместо разбитых. Профессор академии и фабрикант, для монархов оды пишет, значит, и платье обязан в порядке соблюдать.

Только с деньгами экономно поступать приучен он был с малолетства. Мачеха ему и пятаки отменила, что когда-то мать давала к праздникам. Тем же хлебом его корила, что не мужицким делом занимается, а по матерней родне — поповским: с книгами сидит. А отец, крепко его любивший, рубля на дорогу не дал, поскольку желал единственного сына оставить при своем довольном хозяйстве. И в Москве, в заиконно-спасских школах, где назвался поповичем, чтобы не прогнали, имел алтын в день жалованья. Из того никак нельзя было больше, как на денежку хлеба и на денежку квасу, чем и питался пять лет. Да еще мелкота дразнилась, что такой здоровый болван в двадцать лет с ними вместе латине обучается...

А чем лучше была остальная жизнь? Еще пять лет в немецких университетах мог ходить нелатаный, поскольку тесть был портной. А коли говорить про русский грех — бражничанье, то ему как раз у немецких буршей научился. Потом ничего, что великий Эйлер числит его здесь первым и что в химии, физике, астрономии многие полезные для отечества дела совершил, а только всю жизнь просителем состоял. Такова российская форма существования, что не с гордостью деньги за дело получаешь, а все милости у кого-то просишь. Став профессором, челом сенату бил об жалованье в 660 рублей по причине вредительного воздействия химической науки на здоровье, а что в год из тех денег сделаешь? И таково каждый раз: за свою работу проси и унижайся. Сколько великий царь не ломал баскакство в России, а все по-старому: главное не талант, а каково ко двору пришелся. Так что, если бы оды не писал, то и вовсе бы с голоду помер. За одну лишь оду на восшествие Елизаветы Петровны было

ему высочайше пожаловано 2000 рублей. За другие похуже платили, да имя зато помнили. А при шумствах, что случались у него, вовремя писанные оды от наказания спасали. Однако же и в одах многое говорил, что хотел...

Так что не в одних деньгах дело, а в том же баскакстве. Триста лет было ига, так еще шестьсот лет приучены будут к азиатскому порядку. Если еще и немецкая радивость сюда, так вовсе монстр может получиться. Оттого тут какой-нибудь камер-лакей, что ночные горшки убирает, в большем значении, чем будь хоть бы русский Платон. А коли так, то полная воля всякому проходимцу, и уж не преминет лягать да топтать всех вокруг, кто в чем-то выше его. Оттого только подлый Разумовский и подлеший Теплов к каждой ноге ему гири вешают, да к тому же и дружественность Ивана Ивановича Шувалова не могут простить. Тут же, как водится, и немцы с услугой: Шумахер со своим канцелярным умом, теперь зять его Тауберт...

А Ивана Ивановича, который единственно поддерживал его и помог в получении имения с людьми и фабрикой, Разумовские при новой императрице вовсе от дела оттеснили, отчего заболел и за границу уехал.

Впрочем, даже Иван Иванович беспокоился, не станет ли новое богатство мешать научным трудам. На то он ответил, что "музы не такие девки, которых всегда изнасиловать можно: они кого хотят, того и любят. Ежели кто еще в таком мнении, что ученый человек должен быть беден, тому я предлагаю в пример, с одной стороны, Диогена, который жил с собаками в бочке и своим землякам оставил несколько остроумных шуток, а с другой стороны, Невтона, богатого лорда Боила, который всю свою славу в науках получил употреблением великой суммы; Вольфа, который лекциями и подарками нажил больше пяти сот тысяч и сверх того баронство".

Поморство, откуда он тут взялся, баскаков не видало, а с немцами во все времена на равных обращалось. Рабье долготерпение, в чем даже русское достоинство находят некоторые патриоты, не в его природе. Тому же Шумахеру ни в чем спуску не давал, а надо, так и фельдмаршалу Разумовскому не уступал.

Вон сколько хотел тот взять от него географический департамент. Теплов уже в личных секретарях у императрицы ходил, однако он удержал у себя директорство. Находясь в болезни, своего добивался: соединил студентов в общежитие, снабдив обедом да приличным платьем, денежной прибавки к стипендии им достал. И для себя, пусть не сразу, но вытребовал статского советника и жалованье в одну тысячу восемьсот семьдесят пять рублей. Перед тем шурина своего Цильха, который фабрикой занимается, в статский чин произвел.

Сказывают, сама императрица спросила, чей родственник Цильх из Гамбурга. Услышав, что имеет отношение к Ломоносову, в нарушение всех порядков написала производство. С того времени, как великой княгиней еще застала его с Миллером у печки, не видел больше ее вблизи. Тогда она удивила, громко прочитав его оду, так что не знал, каково себя с ней держать. До сих пор все думает, слышала или нет те русские слова, что крикнул он в дверь Шумахеру. Даже ведь и бровью не повела...

Что же, департамент ему вернула, шурина в чин определила, отставки его не приняла, но только пока Теплов при ней да здесь Тауберт, то все придется брать с бою. Не оттого ли и русский грех его со многими шумствами, что всю жизнь вынужден с бессмысленностями сражаться? Кругом фаворитство, и во всяком месте проходимец свил гнездо. Им не российская наука надобна, а чтобы парики носили да некое место лизать умели по примеру Васьки Тредиаковского. И коль заметят мысль в глазах, то первым врагом тебя почитают.

В том закономерность. При торжестве мысли случайному человеку не то что в карете разъезжать, а в дворники не возьмут по причине врожденной ленивости и подлости чувств. Всякий день с этим встречаешься и терпишь для пропитания. Жизнь на то уходит, и каждую минуту понимаешь, что во стократ мог бы полезного для отечества сделать. Тут поневоле заскучаешь и побежишь в кабак. Недаром русским грехом такое состояние души зовут, когда кабак ближе службы и родного дома становится.

Только враги все раздувают да анекдоты про него придумывают. Вон Семен Андреевич Порошин, что

назначен воспитателем к наследнику Павлу Петровичу, рассказывал. Когда принялся цесаревичу из оды к государыне Елизавете Петровне читать, его высокочество изволили засмеяться: "Это, конечно, уже из сочинений дурака Ломоносова!" На то Семен Андреевич со строгостью ему выговорил: "Желательно, милостивый государь, чтобы много таких дураков у нас было. А вам, мне кажется, неприлично таким образом о таком россияnine отзываться, который не только здесь, но и во всей Европе учением своим славен!" Только великий князь продолжал прыгать и кричать: "Дурак Ломоносов! Дурак Ломоносов!"

Однако он знает, что не от императрицы такое мнение о нем идет. Как бы не от умника Панина, который тоже Ивана Ивановича Шувалова не любил, а отсюда и к нему предубежден. Все равно простой мужик в науке для всех них вроде красная тряпка гишпанскому быку.

А что с немцами он дерется, так тоже от великой скуки. Это еще посмотреть, с какими немцами. Не с Эйлером же, которого чтит своим отцом в науке. Интригами того же Шумахера оставили Россию профессора Крафт, Вильде, Гейнзиус, Гмелин и прочие. Зато быстро уживаются Шумахеры с густопородными Тепловыми да Разумовскими. Миллер, так особая статья. Вражда или дружба влечет его к этому кудлатому немцу, сам не знает. Тот Россию со всей немецкой честностью любит. Свидетельством об том документы о Дежневе или когда "Историю Российскую" Василия Никитича Татищева через рогатки тянет в печать. Сибирь он после Ермака заново открыл и как вина накушается, то изъясняется затейливее тамошних варнаков.

Спор же у них об норманнах: сделались ли третьим элементом для чуди и славян, составивших русский народ или только пробежались по Руси до греков. Тут свидетель — язык, а кроме пяти-шести имен, где в нем норманнские слова? В том споре и до рукоприкладства у них доходит, только общий грех тогда и мирит.

Если в корень глядеть, то есть еще причина для его войны с немцами. Когда дома пилят весь день по-немецки, то поневоле на все немецкое станешь бросаться...

С минуту лежал он оцепенелый. Потом поспешно принялся натягивать чулки, надевать сюртук. Это уже явно было не во сне. Ее императорское величество стояла на дворе перед отворенными воротами на фабрику, и его долговязый шурин Цильх открывал и закрывал рот, силясь что-то произнести. Гурьбой теснились напуганные работники. Двор и вся улица перед домом полны были карет. Фельдмаршалы, камергеры и сенат наполняли пространство за императрицею. Он вдохнул воздуха, высоко поднял голову и пошел с крыльца, склонился в трех шагах от ее величества...

Тогда пловущим Петр на полночь указал,
В спокойном плаваньи сии слова сказал:
Какая похвала российскому народу
Судьбой дана пройти покрыту льдами воду!
Хотя там, кажется, поставлен плыть предел;
Но бодрость подают примеры славных дел.
Полденный света край обшел отважный Гама
И солнцева достиг, что мнила древность, храма.
Герои на морях Колумб и Магеллан
Коль много обрели неизвестных прежде стран!
Подвигнуты хвалою, исполнены надежды,
Которой лишены пугливые невежды...

Она читала звучным голосом, и великая серьезность была в пленящей улыбке. Это он определил сразу. Тут природная женская сила органически поставлена была в службу власти. Таковой сплав разнородных свойств много расширяет качества предмета...

Колумбы росские, презрев угрюмый рок,
Меж льдами новый путь отворят на Восток,
И наша достигнет в Америку державы!

Да, она помнила их первую встречу и знала о нем помимо сплетен. И Цильха вовсе не случайно произвела в чин. А читала его поэму не от вздорного каприза слышать свой голос. Расчет был во всем самый продуманный, что мужчине-государю даже в ум не придет...

Они ходили по фабрике, и он давал объяснения. Цветное стекло лили в слободе, а сюда привозили готовую мозаику. Она внимательно смотрела раскладку синей, голубой, смешанной кафели для мону-

мента Петру Великому. Незаметно для себя он пустился в тонкости свойств минералов. В глазах ее читалось восхищенное женское поощрение его рассказа. И хоть понимал, что то все делается с расчетом, не мог удержать в себе честолюбивого мужского куражу: петушился изнутри, она же улыбалась...

Вспомнилось вдруг злосчастное недавнее царствование. От бывшего императора, ее мужа, была сделана ему милость: 29 января тогда вышел высочайший указ отобрать из ведомства Кабинета этот самый фарфоровый завод и передать в его собственное смотрение. А в феврале сделался новый указ: отобрать от него завод назад в смотрение Кабинету. Все тогда происходило случайно. По рабочей привычке он сощурил глаза, со вниманием посмотрел на императрицу. Эта была тут не случайной.

Она поняла его взгляд и так уже улыбнулась, что начал весь краснеть.

— Думаете, Рюрик с братьями следов у нас не оставили?

Ее величество перевела разговор, будто коня повернула на всем скаку. Он принялся говорить о случайном том элементе в русской истории, наподобие как мадьяры или авары проходили через русские земли. Она задумчиво смотрела куда-то вдаль, сведя брови на красивом выпуклом лбу.

— Ну, а кто оставался на пути из тех народов, так сами делались русью?

Она спрашивала и как бы сама себе отвечала. Он уверенно кивнул и принялся излагать то, что уже писал по этому поводу. Славяне и чудь, по нашим, сарматы и скифы, по внешним писателям, были здесь древними обитателями. Эти народы и положили в разной мере свое участие в образовании россиян. Множество разных племен, составивших Россию, никак нельзя поставить ей в уничижение. Ни о едином языке и народе на земле утвердить невозможно, чтоб он изначально стоял сам собою без всякого примешения. Большую часть оных видим военными беспокойствами, переселениями и странствиями, в таком между собой сплетении, что рассмотреть почти невозможно, коему народу дать вящее преимущество. И с норманнами все так же, а потому не нужно считать их неким главным народом для здешней госу-

дарственности. Князья влились в общий порядок. Уже через век после своего прихода-сами сплошь все сделались русскими...

Ни одного жеста не делалось ею без значения, и каждое слово точно поворачивало разговор в необходимом ей направлении. Он говорил теперь про старые обычаи, что мешают умножению и сохранению народонаселения. Государство российское строится по народной методе. Когда здесь есть государь и рабы его, то взято оно от мира, общины, что и дает основание этому порядку. Такова крестьянская семья, где правит патриарх, не терпящий ослушания. В том единстве народа и государя великая сила — Россия, и ломать такое с ходу не следует. Но от того же происходят и многие слабости, усугубляемые дурными нравами и невежеством. Самодурство при отсутствии просвещения не встречает ни в ком препоны, отсюда зверства и беззакония.

А суть тех дурных обычаев в полном небрежении души человеческой. Хоть бы насильная женитьба часто малолетнего мальчика на такой, что годилась бы ему в матери. Но там, где нет любви, невозможно и плодородие, к тому же чаще дураки рождаются. От церкви надо требовать, чтобы разрешила даже четвертый и пятый брак, а молодые чтобы не стриглись в монахи...

Разволновавшись, он громко кричал. Потом побежал и достал неоконченное когда-то письмо к Ивану Ивановичу Шувалову, принялся читать: "Пожирают у нас Масленица и Святая неделя множество народа одним только переменным употреблением питья и пищи. Во всей России много людей так загавливаются, что и говеть времени не остается. Мертвые по кабакам, по улицам и по дорогам и частые похороны доказывают то ясно... Как с привязу спущенные собаки, как накопленная вода с отворенной плотины, как из облака прорвавшиеся вихри — рвут, ломают, валят, опровергают, терзают; там разбросаны разных мяс раздробленные части, разбитая посуда, текут пролитые напитки; там лежат без памяти отягченные объедением и пьянством; там валяются обнаженные и блудом утомленные недавние строгие постники..."

Когда она говорила об отсутствии народа для освоения столь обширных пространств, опять читал:

”Нынешнее в Европе несчастное военное время принуждает не только одиноких людей, но и целые разоренные семейства оставлять свое отечество и искать мест, от военного насилия удаленных. Пространное владение великой нашей монархини в состоянии вместить в свое безопасное недра целые народы и довольствоваться всякими потребностями”.

Когда-то через Ивана Ивановича писал он то для Елизаветы. Ничего за десять лет не изменилось в Европе и России, и теперь уже прямо говорил обо всем этом императрице. Двор и сенат молча слушали.

Она не дала ему идти сзади. Так и прошел с нею рядом один среди всех через двор на улицу. Лишь здесь сделала ему знак остаться и кивнула, вроде бы послушная ученица.

И совсем другой ее голос услышал он, когда садилась в карету. Некое льющееся серебро вдруг отвердело в нем, сделалось металлом. Кому-то с властной озабоченностью сказала:

— Мой визит к господину Ломоносову и с перечислением сената и правительства непременно публиковать в завтрашнем номере ”Санкт-Петербургских Ведомостей”!..

Выходившие со двора сенаторы и правительство кланялись ему.

VI

Владыка рубил дрова. Легкие и светлые березовые поленья раскалывались от одного лишь касания отточенного железа, и с мерными взмахами топора приходила покойная сосредоточенность. Собрав сухую, припачканную растоптанным снегом щелу, занес ее внутрь, высыпал в углу, принялся раздувать огонь. Тут он все делал сам: разоблачался без помощников, топил печь, подметал келью. Озерные волны мерно ударяли в уходящую к самой воде монастырскую стену. Мир отдалялся: блекли краски, утихали громы, и всем существом своим ощущал он реальность бога. Сюда приезжал от торжественных литургий и соборной пышности, когда накапливалось смущение души.

С прошлого году не был он здесь. Ровно и неслышно горели дрова. За окном стало темнеть, и он зажег на столе свечу. Другая свечка перед образом горела весь год, пока его не было, сменяемая послушником. Столь долгого отсутствия его здесь еще не случалось. Такое это было взбудораженное время...

Все было готово к раздумью и покаянию, которое сам накладывал на себя перед лицом Господа. Для того была им избрана молитва святого Макария Великого. На колени не опускался и не утруждался стоянием, поскольку не имеют значения атрибуты для искренней откровенности, а сидел обычно в покойной сосредоточенности.

Боже, очисти мя, грешного, яко николеже сотворих благое пред тобою; но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная и восхваляю имя твое святое, отца и сына и святого духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь...

Беззвучно прошептав начало моления, он остался в неподвижности и почувствовал, как холодеют ноги. Не от стужи это было, и он знал от чего. Весь год не уходило это от него, не покидало ни на миг: вначале предчувствием, а затем, когда все произошло, незримой печатью совершившегося. Его подпись стояла первой под меморандумом Синода, обвиняющим Арсения Мациевича, ростовского митрополита, перед светской властью. Обвинение было в дерзостном забвении права кесарева на плоть и имение подданных, и отсюда уже в богохульстве, так как главный постулат и краеугольный камень здания веры в том состоит, что "кесарю кесарево". Сейчас это действие его и синода открылось ему во всей своей кровоточащей обнаженности.

Нет, и здесь, наедине с собой и с Господом, не было в нем отречения от случившегося. Высшая закономерность была в том, что, состоявши князем церкви, не только был посвящен в светский заговор, но участием и примером своим способствовал переменам на троне. А еще делал это, зная, к чему направлены мысли императрицы. Только ничего другого, кроме как от Петра Великого, не совершает она в отношении церкви. Лишь самой вере придает большее практическое значение.

А устранный император прямо из голштинских принцев, как кур в ошип, попал в крутую мельницу русской жизни. Даже и качества некоторые добрые в нем были, да только коли божья воля, то и добро становится во зло. Неисповедимы пути господни так же и для народов, как для людей. Если назначено какому-то из них идти тем путем, то все, что мешает, будет развеяно и станет прахом. Не то что гвардия и народ, даже актеры с театру участвовали в революции против Петра Третьего. Федор Григорьевич Волков тогда в столице шел рядом с ним впереди императрицы, а умер, подобно Христу, — тридцати трех лет, готовя апофеоз к ее коронации.

То и в пророчествах угадать можно, что Россия — Новый Иерусалим, а в удивительном укреплении ее ясно виден божий промысел. Как избранный некогда богом Израиль, так этот народ теперь источает свет в сторону полунощи, и на Магогов, и на полуденные страны, что ждут освобождения и где каждый камень свидетельствует о Господе. Подобно державе Соломона и Давида божье и царское слились здесь воедино, так что прямо к славе божьей служит укрепление земной власти. Что же тогда угнетает его?...

Нет, не корысть двигала им, когда со всеми вместе епископами в душе не соглашался на царскую секуляризацию. Это правда, что многие иереи живут в довольстве и праздности, владея рабами и землями, большими и лучшими, чем земные цари. Тому следовало поставить предел, и что не успел царь-преобразователь, с разумной деловитостью совершает сейчас эта императрица. Но есть древняя притча, где с водою вместе выплескивают ребенка...

Ведомо из писания, что не в одних имуществвах тут дело. Отдавая кесарю материальное, церковь оставляла себе и людям независимость духовную. И помазанник божий — православный государь — всевременно обязан блюсти тот договор, если даже римские кесари соблюдали его. Человек из рук бога воспринял свободную совесть — в том суть его и отличие. Коли власть земная посягнет на то, значит, не человек это уже будет, а некая лишенная смысла тварь, которую в загородке следует держать.

Тут сама власть подсекает сук, на котором сидит, ибо не может быть постоянно сильного народа, со-

ставленного из таких духовных скопцов. Примером тому — бесчисленные языческие империи. Дух всегда делался победителем в борьбе с ними, как случилось то в самой римской державе. Незыблемо стояла она, пока безразличен был кесарь в вере. Когда же сокрушил храм и принялся травить львами восприявших свет господень, то дни сего Вавилона были сочтены так же, как и Вавилона настоящего. Обманчива та власть над духом человеческим, однако всякий раз властители, идя прямо за Сатаной, не удовлетворяются материальным, но хотят изнасиловать и душу. В том ищут для себя крепости, а находят гибель для себя и для своего народа.

Спаси Господи, как близко у нас от такой варварской решимости — в месте и во времени. На том лишь духе и держалась Русь три века татарской ночи, в нем нашла силу освободиться из плена. А только стала обретать себя, как грозный царь принялся истязать этот дух дыбами и фарисейством. Делалось все с божьим именем на устах, что подлее всех мыслимых подлостей. В том как раз великая опасность для сего народа, что веками привыкал к такому расщеплению духа.

Так вот, как бы нынешняя императрица, отбирая у церкви материальное, не замахнулась бы на дух. В той Европе, откуда к нам взялась, государи сдерживают себя, относясь к церкви как к божьему имуществу. Сия же монархиня не только что обрусела, а сделалась русским знаменем. Опасность в том, что манеры великоцарские русские посчитает для себя обязательными. Тем более что и по рождению, сказывают, она близкого сербского роду. Цербст как раз по середине лужицких сербов, и цербстская есть иначе сербская королева от славянских корней, что проросли среди немцев. О том в один голос говорят и иллирийские сербы, бегущие из-под турков на нашу Украину. А он забыть не может ее глаза, когда шла к раке ростовского святого Димитрия. В сиянии их была святорусская отрешенность, и как бы летела над землей. Однако тут же сама потушила в себе этот огонь и приказала ему поставить солдат у мощей, чтобы не украли...

Ничего нет тревожней, когда человек иного роду проникается русской отвагой. Когда это вместе с не-

мецкой честностью, то что может родиться? Русский какой ни на есть свирепец, а позлодействует да простит. А если к отваге да аккуратность, то на земле можно ад построить. Приложимая к Руси немецкая стройность мысли обязательно насильством обернется. Впрочем, и Мамаева струя, каковую представил Иоанн Грозный, еще к большому самоистязанию способна привести. Дальше уже прямое азиатское богдыханство, когда бог и хан в одном лице, и беда для России, если когда-нибудь с той стороны подует ветер.

А государыня с первого дня ясно дала понять, что дух берет к себе на службу. С Арсением Мациевичем так жестко было поступлено не от мстительного каприза, но для того, чтобы всей церкви указать место в государстве. Так ее и Петр Великий видел: прислуживающей опорой для самодержавности. Задача в том, увидит или нет у церкви эта монархиня ее другую, глубочайшую суть. Тут уже от ума и чувств зависит, чтобы обуздывать себя. Хватит ли на то смертной женщины? Может быть, в том и тайна, что лишь Еве такое доступно, и как раз не хватает здесь матернего здравого смысла.

Велик искус. Вот и его самого сделали митрополитом лишь за то, что брал участие в перевороте. А теперь прямо распоряжение о солдатах делает ему императрица. Говорят, ордены за божью службу станут выдавать. Каково же истинный дух святой может себя при этом чувствовать?..

Что-то невесомое пролетело в воздухе, даже пламя у свечи качнулось. Губы его шептали молитву... Господи, иже многою твоею благостию и великими щедротами твоими дал еси мне, рабу твоему, мимолетное время ночи сея без папастии прейти от всякого зла противна...

Владыка вышел из кельи, знакомой каменистою тропой прошел к озеру. Оно темнело возле ног покойной тяжестью, и лишь невидимые волны, родившись где-то в его глубинах, раз за разом ударяли в древнюю кладку стен. Здесь, у этой воды, было начало этому народу и этой державе.

Неба тоже не было видно: такая же смутная глубина, вместе с водой сливавшаяся в одну непроницаемую мглу. Кое-где серели в ночи островки скудного осеннего снега. Лишь высоко по берегам видны были

недвижные монастырские башни, до боли знакомые очертания храмов, молчаливые колокольни. Золото кровель и теперь источало некий свет, и был он подобен легкому пару. Будто нимбы стояли над уснувшими божьими воинами.

Он любил свою церковь и чувствовал ее всю от начала в потной толпе рабов в катакомбах, которым давала надежду и ставила их дух выше сильных мира сего. В том и состоит ее назначение, ибо подлинный раб божий уже не раб. В этот народ, помимо света господня, принесла она буквы и счет времени. Храмы ее служили крепостями, и люди ее были воинами. В какое же состояние приведена теперь? В чем задачи искренних ее служителей, и чем станут в грядущие времена все эти производные от нее Успенские, Добролюбовы, Вознесенские, Чернышевские, Протопоповы и Победоносцевы? Сделаются ли одни радывыми кесаревыми прислужниками, или другие из них, как Христос внутри иудейства, взбунтуются сразу и на кесаря, и на самый храм?..

Предвещая рассвет, где-то далеко-далеко в городе запел петух. Владыка стоял у самой воды и думал, что вся жизнь его тоже служба. В той службе был он наследующий отцов иерей, архиепископ Новгородский и Великолуцкий Димитрий, за услуги земной власти сделанный митрополитом. А пред божьим престолом он лишь Даниил Алексеевич Сеченов, коего со значением зовет императрица Сеченым. И кем станут они, Сеченовы, что плоть от плоти и дух от духа этой в веках не сходящей с креста церкви?..

VII

Подскакав почти вплотную, молодой князь слез с коня, протянул к нему обе руки:

— Александр Семеныч... В самое время подошел!

Капитан Ростовцев-Марьин посмотрел на дорогу, ведущую от лесу. Вскать ехали по ней разнородные повозки, двуколки, фуры, полные солдат. За ночь, день и еще ночь его пехотный отряд вместе с пушками одолел сто сорок верст, стороной обойдя топи и болота. Получив приказ направляться сюда, он посадил солдат на колеса, заплатив за то мужикам и жидам-ба-

лагулам мукой из провиантского магазина. Без того и пары лошадей нельзя было найти в этом лесном крае, так способно умели укрывать их тут от любой власти.

Руки у князя были горячие как огонь и лицо багровое. Казалось, тот ничего не видит и через силу говорит сухим, высоким голосом:

— Теперь, как казаки возьмутся с его кавалерией, тебе их к реке не пропускать. А всего прежде — пушки!..

Он молча кивнул. Не потому, что годами и службой был старше этого лейб-кирасирского командира. Со всеми он так говорил больше себя чином, майор то значился или фельдмаршал. Сам он в тридцать четыре года все оставался капитан, а государыне слуга, но не холоп...

Укрыв солдат в тальнике при броде, ждал он появления неприятеля. Собственно, и не неприятель это был, а нечто неопределенное. Когда с пруссаками сражался, так точно знал, отчего это так. Здесь же все было непонятно. Король у поляков вроде и не король, а выбирают кого захотят. Когда же их Август Третий умер, то началась среди них драка, кого делать королем.

Получается, что не от бога помазанник тут государь, а по людскому выбору. Всякий коронный шляхтич может крикнуть королю отвод, и все остальные обязаны слушать его голос. Если же не станут слушать, то шляхта соединяется в конфедерации и войну объявляют друг другу. Русскому человеку этого никак не понять. От солдат своих услышал он ту сентенцию: "Дела как в Польше: у кого больше, тот и пан!"

С отрядом своим после войны стоял он в польской Пруссии: охранял оставшиеся русские магазины. Потом с генералом Хомутовым придвинулся уже прямо к Варшаве. А поскольку свободно говорил по-польски, то наряжен был в охрану поляков, что просили помощи у императрицы против своих врагов. Те же в свою очередь звали против них австрийцев и саксонцев. В прокламации о русской помощи было сказано: "Мы, не уступающие никому из наших сограждан в пламенном патриотизме, с горестию узнали, что есть

люди, которые хотят отличиться неудовольствием по поводу вступления войск Вашего императорского величества в нашу страну. С опасностью для себя мы испытали с их стороны притеснение. Нам грозило такое же злоупотребление силой и на будущих сеймах, когда мы узнали о вступлении русского войска, посланного Вашим величеством для защиты наших постановлений и нашей свободы. Цель вступления этого войска в наши границы и его поведение возбуждают живейшую признательность в каждом благонамеренном поляке..." А подписали эту прокламацию известные среди поляков люди: помимо епископов Островского и Шептицкого, князя Чарторыйские, Замойский, Понятовский, Потоцкий, Соллогуб, Любомирский, Сулковский и Велепольский.

Тогда и услышал он некий разговор, что вели между собой едущие с прокламацией русский посольский офицер и фельдъегерь.

— Сказывают, наша матушка-государыня такого хочет польского короля, чтобы мужем ей стал, — говорил фельдъегерь. — Сама она в Варшаву к нему уедет, а трон передаст по достоинству: сыну своему Павлу Петровичу или Ивану Антоновичу, что в Шлюшине содержится.

Так между собой называли крепость Шлиссельбург.

— Языков теперь не режут, вот и болтают, что в голову забредет! — строго отвечал посольский чин. — То, братец, высокая политика. Здесь, помимо русского, еще прусский, да австрийский, да султанский интерес. Паны сами растаскивают Польшу, и коли не смогут королевский порядок поставить выше своего гонору, то не быть этой державе. А государыня наша и без мужа прекрасно обойдется.

И раньше он слышал те разговоры о Станиславе Понятовском. Только никак не мог связать услышанное с собственной судьбой, что подарила ему золотую сказку в некоем зимнем лесу...

Поляки, каждый со своим войском, съехались на сейм в Варшаву, а поскольку королевского войска по их закону нельзя было держать больше, чем тысячу человек пехоты и двести кавалерии, то всякий магнат имел силу больше правительственной. Коронный гетман Браницкий привел с собою саксонцев, а вое-

вода виленский Радзивилл заглядывался в прусскую сторону. Но что-то вдруг произошло, и король Прусский прислал орден Черного Орла графу Понятовскому, русскому избраннику. Это означало договоренность России с Пруссией в этом деле. Браницкий с Радзивиллом вышли из Варшавы и объявили конфедерацию. Князь Дашков с кавалерией устремился за Радзивиллом, который повернул в Литву.

Его отряд поступил под княжескую команду уже под Слонимом, где преградили путь конфедератам. Те постреляли издали и повернули на юг, в Подолию. Кавалерия князя ушла вперед, и лишь теперь он догнал ее у этой переправы...

Шляхта выкатилась из леса разными дорогами, каждый со своим штандартом. Даже в ровном поле они не смешивались, ехали независимо друг от друга. Самые убогие из них, за которыми на костлявых клячах гарцевали лишь по четыре-пять холопов, держались на одной линии с теми, чьи жупаны были от верха до низу расшиты позументами. Качались обязательные гоноры на отороченных мехом шапках. Солдаты глядели из тальника, и некое смущение было в их глазах. Нужно было дать команду к стрельбе, но он медлил. Так было уже у него когда-то при усмирении мордвы.

А конфедераты вдруг стали поворачиваться назад к лесу. Выхватывая сабли, они вразнобой поскакали на строившихся там русских драгунов. Было очевидно, насколько регулярное войско превосходит таковых партизан, несмотря на всю их отчаянную смелость. Как об стену разбились они об единое русское каре и в беспорядке поскакали назад к реке. Кто-то в малиновом жупане, как видно сам князь Радзивилл, махал посредине поля саблей, зовя их остановиться, но все было напрасно. С маху въезжали они в реку и, держа коней в поводу, сотнями плыли к тому берегу, в турецкую Молдавию.

Солдаты не стреляли по ним. Лишь когда с другого конца леса съехали к реке польские пушки и повалили пешие конфедераты, он приказал не пускать их к броду. Бросив пушки, они ушли назад в лес. Было видно, что это не шляхта, а привлеченные к раздору мужики...

На опушке леса, среди спешившихся драгун, лежал на калмыцкой бурке князь Дашков. Он вытянулся во весь свой кирасирский рост, и глаза его были закрыты. Князь был в смертельной горячке. Взяв на себя командование авангардом, капитан Ростовцев-Марьин приказал положить князя в повозку и везти в подольский Могилев.

— Последний из Ягеллонов, Ян Казимеж, рассудительный круль польский, сказал как-то вещице слова высокому сейму: "Дай бог, чтобы я был ложным пророком. Но если не обуздаете свой треклятый гонор, славная республика станет добычей соседей. Московия отберет Литву, Брандербургия овладеет нашей Пруссией и Познанью, Австрия захватит Краков и Великую Польшу. Каждое из этих государств предпочтет лучше разделить такую бессмысленную республику, чем владеть ею единолично, но с сохранением пресловутой вашей вольности. Та бессмысленная вольность камень на шее у самих поляков во время плавания в бурном море!" И сказал он то не в беде и несчастье, а когда Сапега и Чарнецкий в прах разбили русского князя Хованского у Слонима и Долгорукого в Пронске. Трубецкой с Шереметьевым поспешно отступили с Украйны, и Георгий Хмельницкий, чей отец отвоевал для себя временную самостоятельность, признал наш патронат. Было это ровно сто лет назад.

Однако безрассудный сейм, как обычно, не слушал даже победоносного короля, предлагавшего найти ему достойного преемника и вольности иметь не ради вольностей, а чтобы служили отчизне. Ян Казимеж бросил тогда этот оплетенный терниями трон и уехал во Францию, где утешился сразу с высокорожденной красавицей Нинон де Ланкло и равной богиням прачкой Мари Миньон...

Высокий, худой, с седыми усами и впавшими скулами, точно такой, как вырезают здесь из дерева святых при дверях у костелов, пан Мураховский громовым голосом обличал шляхту. Сам потомственный шляхтич, он не жалел для нее грозных слов. Кто в первый раз слушал, то вздрагивал от его очевидной свирепости, а был это самый мягкий и добрый человек

на земле. С первого же слова понял это капитан Ростовцев-Марьин, который второй месяц квартировал у него в маленьком польском местечке.

У пана Мураховского стояли в шкафу книги на многих языках, и все он знал. Доставая то одну, то другую, он звучно читал оттуда по-французски, по-английски, по-латински, и тут же переводил. По-немецки и по-польски Ростовцев-Марьин сам уже знал.

— Так оно и совершается, как предрекал мудрый круль. — Пан Мураховский остановился, горестно вскинул глаза к бревенчатому потолку. — Также и Ян Собесский, коего сейм назвал героем и спасителем отечества, ничего не мог сделать с потерявшими всякую рассудительность поляками. Как только попытался укротить губительную для страны анархию, тут же закричали, что "деспот, тиран, разрушитель свободы нации". Роковое противоречие в том. Магнаты, что хуже Нерона властвуют в своих уделах, с гордостью зовут себя "избирателями королей и губителями тиранов". Таковая республика с рабами внизу уже две тысячи лет назад не смогла удержаться в Риме, как же может удержаться теперь в кипящей от самого дна Европе!..

Ростовцев-Марьин молчал. То был новый для него разговор, и не хотел показаться невеждою. Вольность, республика, сейм — все было неприложимо к его Ростовцу и к солдатам, которыми командовал. Тут в Польше, как он понимал, эти слова тоже имели свое, другое значение, отличное от первоначального. Солдаты сразу угадали смысл насчет того, кто здесь — пан. То же самое по существу с горькой яростью говорил этот человек.

— Почему вдруг обессилела Польша? — гремел пан Мураховский. — Нечего искать вокруг обидчиков. От внешних побед лишь разлагается народ, а все утверждает его внутреннее состояние: каково сопоставлены там рассудок и чувства. Лишь снаружи по образу и подобию божию создан человек, но так уж устроен и дьявол. Тут равновесие необходимо, чтобы человек и управляющая им власть осознали свою смертельную зависимость друг от друга.

От шведов уже должны были получить науку в полной мере, когда те гуляли по Польше, как по своему дому. Так нет же, шляхетский гонор дороже даже

матери-родины. А что смешной уже становится такая вольность для всей Европы, так нас не трогает. Вот уже войска присылает русская царица для защиты нашей вольности и свободы. Какой еще может быть удивительней парадокс!..

— Где видите для себя выход, пан Людвиг? — тихо спросил Ростовцев-Марьин.

Старик сразу потускнел, сгорбил плечи, долго молчал. Когда, казалось, и не заговорит уже больше, глухо произнес:

— То жестокая и непреклонная дама — муза истории. В львицу превращается, у которой хотят отнять добычу, когда кто-то становится на ее пути. Можно идти осмотрительно за ней, при должном умении — идти рядом, но не дай бог забегать вперед. Так же опасно тянуть сзади за хвост, стремясь задержать ее поступь. Эту опасность должны осознать всевозможные пророки, что плодятся ныне в Европе и норовят уловить ту львицу в свои рукодельные капканы...

Как обычно, не мог он спать после позднего сидения с паном Мураховским и, глядя в окно, смотрел, как приходит рассвет. Очертился, принял желтый осенний цвет близкий лес, раздвинулась мгла в той стороне, откуда всходило солнце. Неровными темно-бурыми бороздами проступила пашня. Согнутый мужик шел по ней за сохой...

Где-то он уже читал про музу истории, о которой говорил старый шляхтич. Только ни он и никто в России не задумывается о том, что и их это касается. Будто по Европе только ездит та придуманная немцами муза, а у нас все идет своим чередом: убираются нивы, скачут фельдъегери, маршируют солдаты. Лишь когда из границы выходят, как он сейчас со своими солдатами, то имеют к той музе какое-то отношение...

Он встал, достал из походного рундука потемные тетради, которые возил с собой. На полулисте сверху крупным и ровным почерком было написано: "По самовольной кончине моей прошу сии бумаги вяземского дворянина Астафия Матвеевича Коробова передать во владение..."

Взяв из середины тетрадь, он принялся читать... "Хоть одинаково грозного нраву были эти цари, но

прямо противная была направленность у их грозности. Все завоеванное при Иване Васильевиче не от его ума и таланта случилось, а лишь мощью российской, что стала с быстротой увеличиваться, как крепнет вдруг юный отрок, переходя в мужество. Истинных исполнителей того подвига на дыбе переломал, навел или убежать заставил в чуждые пределы. Все же их заслуги себе приписал. На Красной площади живых людей развешивал и, разъезжая с сыном, пиками брюха прокалывал. Все вокруг Москвы на все стороны со своими псами-опричниками кровью залил, так что дома и имущества бросали люди, бежали куда глаза глядят. И спросим себя: что оставил русским? Через сколько времени после него поляки были на Москве, так что из Нижнего Новгорода пришлось Козьме Минину да князю Пожарскому спасти эту державу от исчезновения?

Но перед своею кончиной подлинно сатанинский удар родному отечеству нанес, как если бы с маху посадить человека задом на плотную землю, отчего горбатым навеки становится. Русские Псков и Новгород наравне с венецианами себя в Европе понимали. Много бы раньше этот народ преуспел среди других народов земли, если бы оставался этот пример. Но сей новоявленный Ирод, подсунув через своих клеветников поддельные грамоты, обвинил не людей уже, а целые города в измене. Не как царь, а как душегубец, ночью пришел в Новгород и три дня мученически убивал его: рубил головы, терзал на колесе, топил матерей с младенцами в Волхове. И делал так, пока не осталось там хоть одной человеческой души. Рабский ужас после того безраздельно утвердился по всему лику земли. На сколько времени в фараонову тьму отбросило то Россию?..

И прямо вперед смотрел великий царь Петр. Не токмо умом или чувствами, всем существом своим являл подлинную Россию. На себя брал не одни победы, но и поражения — никого в том иезуитски не винил. А что кнутом выгонял к свету, так нельзя иначе проникнуть то больное рабье самоудовольствие, в котором пребывали от татар и собственных Неронов. Россия после него стоит, недостижимая для противников, даже и когда несильные умы управляют ею.

Никак нельзя двух этих монархов ставить на одну

доску, хоть на первый взгляд многим были похожи. Сына одинаково казнили оба, только один по бессмысленной злобности души, а другой для высшего державного порядку. Тот в пакостном любострастии жен своих душил и травил, этот же, хоть буйное, но имел человеческое сердце. И только в силу великорусской народной деликатности прозвали того Грозным, но этого Великим...”

Капитан Ростовцев-Марьин прикрыл тетрадь и сидел в задумчивости. Оно лишь кажется, что муза истории не касается России. Может быть, как раз там и мостится теперь дорога для ее колесницы. Надлежит многому научиться этому народу, чтобы в ослеплении гордыней не полезть самоуверенно под ее колеса. Голая отвага тут плохой советчик. Вон деспотия одинаково с безрассудной вольностью к пропасти ведут. Где выход из такого круга?..

За окном стало совсем светло. Он вышел на малую галерею, окружающую шляхетский дом с соломенной кровлей. Небо уже розовело за лесом. Мужик все пахал бурую торфяную землю. Глухо мыча, шли по смоченной росой пыли нерослые коровы. Польские бабы выгоняли их хворостинами из дворов. Пастух, как и в Ростовце, шумно хлопал кнутом, только вместо круглой шапки был у него старый переломанный картуз. Солдаты, что чистились и умывались на подворьях, опустили руки, молча провожали глазами неспешно идущее стадо.

— Мир на земле, и в человеках благоволение!

Он обернулся. Пан Людвиг Мураховский, который тоже не засыпал, стоял рядом, дымя своим большим вишневым чубуком. Глаза у старого шляхтича смотрели с умной печалью...

И вдруг все ему сделалось необыкновенно близко: этот мудрый старик со своей яростной любовью к родине, пашущий бурую землю мужик, пастух в переломанном картузе, его солдаты, с тоской глядящие тут на все. Ярko возникли в памяти не имеющие края кайсацкие дали, теснящиеся к валам крепости избы и юрты. Люди разного виду: татары, хивинцы, киргизы, башкирцы, неизвестно кто еще — жили в них. Вниз по Волге плыли расшивы, и в теплую ночь на корме, говоря каждый по-своему, понимали друг друга парень и девица. Неразличимая с русскими мордва

бежала на солдат, не давая ломать родительские погосты. Все они были в нем самом: мятежные конфедераты, прусские гусары, которые рубили его и которых он рубил. И даже те за ними, о которых только слышал: французы, цезарейцы, испанцы. И за кайсацкими степями жили люди, и дальше, в полуденных странах, где они черные и ходят совсем без одежды, — все они были близки ему. Он любил их всех и жалел одинаково, как свою жену, детей и мать, как всех в Ростовце и в огромной, не знающей конца и начала России.

Не понимая, что происходит с ним, он, как и солдаты, стоял, опустив руки. Некие другие зрение и слух открылись у него. Солнце взошло из-за лесу, и ветер прошуршал в камышах. Коснувшись лица руками, он с удивлением увидел, что оно у него мокрое. Такого не бывало с ним: даже в детстве он не плакал.

Капитан Ростовцев-Марьин посмотрел на пана Мураховского. И у того в глазах блестели слезы. Старый шляхтич по католическому правилу почти незаметно перекрестился...

ВТОРАЯ ГЛАВА

I

Она не улыбалась. Это было у нее особое состояние, когда видела себя со стороны. Но не так, как в зеркале, когда лицо послушно выполняет то или иное выражение. Некая другая, отделенная от нее половина наблюдала за ней без всякого вмешательства чувств, холодно оценивая каждый жест и движение. Как бы одновременно тысячью глаз различных людей смотрела она на себя. На ней были длинная императорская мантия и малая царская корона на просто зачесанных волосах. Восемь белых лошадей по четыре в ряд вывезли карету от фронтона Головинского дворца и, сдерживая мощь, катили ее по недавно уложенному камню московской улицы. Впереди в шестнадцати экипажах ехали двор и сенат. Сзади нее, горяча громадных коней, во главе со своим шефом, генерал-фельдцейхмейстером и графом Григорием Григорьевичем Орловым скакали кавалергарды. У всех, как

и у нее, были серьезные лица. И даже народ, что обычно являл шумный восторг при ее проезде, в этот раз лишь степенно кланялся. Какая-то женщина из толпы перекрестила ее, и она в ответ поклонилась сдержанно, со значительностью...

В громе колоколов с храмов вокруг Ивана Великого и бесчисленного множества дальних, сливающихся в единый голубой с золотом звук, она въехала в узкое, зажатое белыми стенами подворье. Лишь такт различала она, и всякое звучание выражалось в цвете. Здесь, среди стесненных вместе святынь этой державы, звук темнел, делался вовсе синим и, десятикратно усиленный, падал прямо с неба. Как будто из века в век сбегались храмы под защиту этих стен. Каждый помнил свой пожар и смертоубийство, многократно повторявшие утвержденный канон. Ровно смотрели с притворов их святые покровители: мужчины, женщины и дети. Кровь, текущая из тела великомучеников, была густой и ненастоящей, каковой ее и хотели видеть в великом и сострадательном простодушии.

Твердым шагом прошла она в золотую тьму собора к месту помазанника божия. И видела себя на темной доске среди спускающихся с потолка ангелов с трубами. Ровный и жаркий восковой свет выделял только белизну и тени. Ничего и никому она не приказывала: все делалось само. Ярче вдруг вспыхнули свечи, ветер ворвался в распахнутые двери храма, некая звезда прилетела и встала напротив в солнечном небе...

Она не улыбнулась про себя и без всякого сожаления подумала о своей детской химере. Никакой звезды не было, а ветер дул от раскрытой сзади двери. Через уложенный неровными каменными плитами двор шли по двое в ряд депутаты. Их вел небыстрым шагом генерал-прокурор Александр Алексеевич Вяземский с жезлом в руке. В храме они располагались по занимаемому в державе месту: от правительственных служб, дворянства, городов, от однодворцев и служилых людей, от поселян, казаков, инородцев. А внутри себя уже делились по значительности губернии: Московская, Киевская, Петербургская, Новгородская и прочие. Не состоящие в православной вере остались снаружи храма, где и давали присягу...

Потом она стояла уже во дворце на тронном воз-

вышении. Справа был крытый красным бархатом стол, на котором лежала переплетенная кожей с золотым тиснением тетрадь, и депутат от синода, новгородский митрополит Димитрий Сеченов обращался к ней: "Прославлялася иногда Древняя Греция, прославлялся Рим своими законодателями; но к полной их славе недоставало того, что не просвещены были евангельским учением. Но ты, сим светом путеводама, из источников истины христианския почерпаешь воду животную..."

Вице-канцлер Александр Михайлович Голицын говорил к депутатам от собственного ее имени: "Начинайте сие великое дело и помните при каждой строке оного, что вы имеете случай себе, ближнему вашему и вашим потомкам показать, сколь велико было ваше радение о общем добре и блаженстве рода человеческого, о вселении в сердце людское добронравия и человеколюбия. От вас ожидают примеры все подсолнечные народы; очи их на вас обращены".

С утра на другой день в Грановитой палате четыреста двадцать восемь депутатов от всей России избрали своего маршала. Она не приехала туда, чтобы не влиять своим присутствием и не мешать избранию действительно достойного, пусть и неизвестного ей человека. Однако без нее депутаты выдвинули двух Орловых да графа Захара Чернышева, а еще от сената князя Волконского, московского депутата Петра Ивановича Панина и костромского Бибикова. Неизвестных ей людей среди них не было. Не то чтобы они не понимали, что сама от них требует независимости решения, или права своего не знали, а только искренне хотели сделать ей приятное. Единогласно и со слезами на глазах просили они ее принять звание матери отечества.

Потом опять плакали и честными глазами смотрели на нее, когда стали читать из тетради первые слова ее "Наказа": "Господи, Боже мой! вонми ми и вразуми мя, да сотворю суд людем твоим по закону святому твоему судити в правду. Закон христианский научает нас взаимно делати друг другу добро, сколько возможно. Равенство требует хорошего постановления, которое воспрещало бы богатым удручать меньшее их стяжание имеющих... Все сие не может поправиться ласкателям, которые по вся дни всем зем-

ным обладателям говорят, что народы их для них сотворены. Однако ж мы думаем, и за славу себе вменяем сказать, что мы сотворены для нашего народа, и по сей причине мы обязаны говорить о вещах так, как оне быть должны. Ибо, Боже сохрани, чтобы после окончания его законодательства был какой народ больше справедлив и, следовательно, больше процветающ на земле. Намерение законов наших было бы неисполнено: несчастье, до которого я дожить не желаю”.

Она слушала плод своего многолетнего труда со стиснутыми руками. Все, до малейшего слова, было выверено там. Но они как бы слышали и не слышали. Избранный маршалом Комиссии Александр Ильич Бибииков, огромный и могучий, похожий на древних князей, в русском размахе простирал к ней руки: ”Став делами твоими удивление света, будешь ”Наказом” твоим наставление обладателей и благодетельница рода человеческого. Потому весь человеческий род и долженствовал бы представить здесь с нами и принести Вашему императорскому величеству имя матери народов, яко долг, тебе принадлежащий. Но как во всеобщем благополучии мы первенствуем и первые сим долгом обязуемся, то первая Россия в лице избранных депутатов, предстоя пред престолом твоим, приносяще сердца любовь, верностию и благодарностью исполнения. Возри на усердие их как на жертву, единые тебя достойную! Благоволи, великая государыня, да украшаемся мы пред светом сим нам славным титулом, что обладает нами *Екатерина Великая*, премудрая мать отечества. Соизволи, всемилостивейшая государыня, принять сие титуло как приношение всех верных твоих подданных и, приемля оное, возвеличь наше название. Свет нам последует и наречет тебя матерью всех земных народов. Сей есть глас торжествующей России! Боже сотвори, да будет сей глас — глас Вселенной!”

Она ответила сама письменно: ”О званиях же, кои вы желаете, чтобы я от вас приняла, — на сие отвечаю: 1) на *Великая* — о моих делах оставлю времени и потомкам беспристрастно судить; 2) *Премудрая* — никак себя таковою назвать не могу, ибо един бог премудр, и 3) *матери отечества* — любить богом

врученных мне подданных я за долг звания моего почитаю, быть любимой от них есть мое желание”.

Не импульс случайственный женский и не тщеславие были причиной ей взяться за такое неслыханное дело. Великой княгиней в манеж для верховой езды носила с собой графа де Ла Бред де Секонда. И он, который звался в просторечии Монтестье, не умер для нее двенадцать лет назад, поскольку не умирают истинные умы. К госпоже Жоффрен, чей парижский салон стал главным штабом таких умов для всей Европы, она писала про этого графа: ”Его Дух законов” должен быть молитвенником монархов со здравым смыслом”. И никак не делала из себя самостоятельного пророка, а прямо стала прилежной ученицею у тех умов. К Даламберу было ее признание: ”Я вам хотела послать некоторую тетрадь, но требуется время, чтобы сделать ее разумною; при том она еще не окончена. Если вы ее одобрите, то я тем останусь довольна. Вы из нея увидите, как там я на пользу моей империи обобрала президента Монтестье, не называя его. Надеюсь, что если бы он с того света увидел меня работающею, то простил бы эту литературную кражу во благо двадцати миллионов людей, которое из того последует. Он слишком любил человечество, чтобы обидеться тем...” И, разумеется, господину Вольтеру, с юношеской пылкостью взявшемуся руководить ею, постоянно сообщала о своем труде.

Едва месяц минул с ее утверждения на престоле, когда приехала в сенат и объявила о Комиссии для составления уложения. Тогда она поспешила со своею мечтой и пять лет еще готовилась к этому дню. В том было ее предназначение, и изо дня в день, штудируя философов и привнося каждодневные случаи из жизни государства и народа, собственной рукой написала пятьсот двадцать шесть параграфов наказа. Не к сенату с синодом, тем более не к правительству, а обращалась ко всей России. По примеру просвещенных народов, от всех сословий, вер и языцев, в меру их значительности в государстве, должны были по большинству голосов выбраны депутаты.

Все самолично рассчитала она, даже жалованье депутатское на время работы комиссии: дворяне по 400 рублей, городские представители — по 122 рубля, прочие же, от пахотных солдат и служивых людей, от

государственных крестьян, козаков, крещеных и некрещеных некоекующих инородцев — по 37 рублей. Несмотря на недостачу бюджета, 200 тысяч рублей было ассигновано на это великое дело. Свободная человеческая воля, как то говорилось у философов, обязана была привести к истине.

Во всем проверяла себя и самоуверенно не оракуловала с трона. Не объясняя сразу всего замысла, как можно больший круг людей вводила в сюжет дела. Мнение всякого рода ума и характера следовало учесть, от героического до холодно-рассудительного. И потому первая показала свои записи столь разным людям, как Гришка Орлов да Никита Иванович Панин, а за ними уже и другим. Прежде еще, не объявляя себя, послала вопросы к Вольному экономическому обществу: "Не полезнее ли для земледелия, когда земля находится в единичном, а не в общем родовом владении?" А в другой раз: "В чем состоит собственность земледельца, в земле ли его, которую он обрабатывает, или в движимости, и какое он право на то или другое для пользы общенародной иметь может?" К тому приложила награду в тысячу червонных, и был назначен конкурс для своих и иностранных.

И что ежедневно по четыре с половиной часа лучшего утреннего времени без всяких уклонений сидела над тем "Наказом" — лишь видимая была часть работы. Сенат и синод, все департаменты и губернаторы исполняли для нее статистику и обозрение фактов, сами не ведая великой цели. А чтобы не впасть в умозрительное прожектерство, сама перед тем проехала насквозь Россию. Начав с Твери, где села на корабль, она смотрела в Ярославле уже знакомые ей фабрики. В Костроме, чтобы не было парадности, отпустила от себя иностранных послов. В Нижнем Новгороде слушала купечество про его беды, после чего писала к новгородскому митрополиту Сеченову: "Приехав сюда, требовала я справки. Пришли того села раскольники и говорили, что православные священники с ними обходятся, как с басурманами. Итак, прошу ваше преосвященство иметь бдение, дабы в сей Нижегородской епархии при случае вакансии: было весьма осторожно поступлено в выборе персоны..." К Панину сообщала: "Чебоксар для меня во всем лучше Нижнего Новгорода". И из Казани писала ему: "От-

селе выехать нельзя: столько разных объектов, достойных взгляду, idee же на десять лет здесь собрать можно. Это особое царство, и только здесь можно видеть, что такое громадное предприятие нашего законодательства и как существующие законы мало соответствуют положению империи”.

На всем пути от Казани к Симбирску она корреспондировала Вольтеру: ”Эти законы, о которых так много было речей, собственно говоря, еще не сочинены, и кто может отвечать за их доброкачественность? Конечно, не мы, а потомство будет в состоянии решить этот вопрос. Представьте, что они должны служить для Азии и для Европы, и какое различие в климате, людях, обычаях и самих понятиях... Вот я и в Азии: мне хотелось посмотреть ее собственными глазами. В этом городе 20 разных народов, вовсе не похожих друг на друга. И однако, им надобно шить платье, которое на всех на них одинаково хорошо бы сидело...”

Сразу все резко и бесповоротно отклонила она от себя. В одну минуту поняла, что в предприятии с ”Наказом” сама же и поддалась идеальности. Звезда из детства продолжала гореть в полуденном небе, и она исполняла свое назначение, уже понимая всю ее призрачность...

Гришка, когда читала ему на слух параграфы из ”Наказа”, делал глубокомысленный вид и со всем соглашался. Никита Иванович Панин холодно поджимал губы, вспоминая, как видно, свою неудачу с проектом Государственного совета. Тогда, сразу по ее восшествии на трон, он думал найти лекарство в ограничении монархической власти. Здесь, в ”Наказе”, через пять лет ответила ему в десятом параграфе: ”Пространное государство предполагает самодержавную власть в той особе, которая оным правит”. Кто бы еще вовсе лишенный рассудка придумал делать Россию республикой!..

Все пять лет составления ”Наказа” то незримое и страшное стояло рядом. Она не пугалась изуверства, только необходимо высчитывала, от каких начал

происходит. Всякий раз возвращаясь к тому делу, силилась она представить, какова же эта женщина — молодых лет вдова ротмистра конной гвардии Глеба Салтыкова. Имя и отчество были у нее святые, русские: Дарья и Николаевна. Она ставила голую молодую холопку перед собой и медленно лила на нее кипяток...

Гришка с Паниным были лишь пробою. Тонкоизящный Сумароков — русский Софокл — безусловно зная, чей то вопрос скрывается за маской экономического общества, ответил вдруг со смелой и язвительной решительностью: "А прежде надобно спросить: потребна ли ради общего благоденствия крепостным людям свобода?.. Впрочем, свобода крестьянская не токмо обществу вредна, но и пагубна, а почему пагубна, того и толковать не надлежит".

Раньше еще российский великан, когда в последний раз приехала к нему с двором и сенатом, ответил на тот вопрос угрюмым молчанием. Она спросила, что думает о семи с половиной миллионах соотечественников в том же образе и подобии божьем, кои в наши просвещенные времена до сих пор в состоянии бесправного скота обретаются. Так посмотрел куда-то у ней над головой и громко стал читать о пьянствах да дикостях в масляную неделю. Кристальная орлеанская девица так и вовсе не представляла для России какого-нибудь иного порядка.

Лишь Беарде де Лабей от Дижонской академии ответил в объявленном ею конкурсе, что крестьянин должен быть свободен и владеть землею, от чего происходит наибольшая в труде производительность. Но только одиннадцать человек из двадцати семи, что входили в конкурсную комиссию, дали голос, чтобы публиковать сие сочинение по-русски. Да и то потому, что она была среди них. Вон Гришка Орлов тоже был за публикацию и восторгался ее "Наказом", а ставши депутатом от копорского дворянства, и слова не упомянул о крестьянах. Дурак, а умный, когда до его интересу что относится. Понимая несуразность для себя проводить насильственно то, что касается глубины национальной жизни, она еще перед открытием Комиссии об уложении собрала в Коломенском дворце

разных персон весьма противоположных мнений и дала им чернить и марать, чего хотели, в ее "Наказе" В этом все они сошлись единогласно: и слова такого прямо нельзя оставлять о крестьянской свободе. А слова там были только рассуждающие, коими думала положить начало делу: "Два рода покорностей: одна существенная, другая личная, то есть *крестьянство и холопство*. Существенная привязывает, так сказать, крестьян к участку земли, им данной. Такие рабы были у германцев. Они не служили в должностях при домах господских, а давали господину своему известное количество хлеба, скота, домашнего рукоделия и прочее, и далее их рабство не простиралось. Такая служба и теперь введена в Венгрии, в Чешской земле и во многих местах Нижней Германии. Личная служба, или холопство, сопряжена с услужением в доме и принадлежит больше к лицу. Великое злоупотребление есть, когда оно в одно время и личное, и существенное". Ни одна рука не прошла мимо: все вычеркнули.

Да и не это одно. Никто не оставил и других ее мыслей: "Есть государства, где никто не может быть осужден иначе, как 12 особами, ему равными, — закон, который может воспрепятствовать сильно всякому мучительству господ, дворян, хозяев и проч." Об жестокости в законах зачеркнули фразу: "Благо-разумно предостерегаться, сколько возможно, от того несчастья, чтобы не сделать законы страшные и ужасные. Для того, что рабы и у римлян не могли полагать упования на законы, то и законы не могли на них иметь упования" Известно, чем то и кончилось для Рима...

Единственный только раз она вспылила и написала по поводу общего мнения: "Если крепостного нельзя признать персоною, следовательно, он не человек; но его тогда скотом извольте признавать, что к немалой славе и человеколюбию от всего света к нам приписано будет. Все, что следует о рабе, есть следствие сего богоугодного положения и совершенно для скотины и скотиною делано!" Потом поняла свою идеальность и замолчала...

Даламберу об "Наказе" она еще из Петербурга загодя писала: "Я зачеркнула, разорвала и сожгла больше половины, и бог весть, что станется с осталь-

ным". С первого же дня собрания стали вовсе в немыслимую сторону толковать уже то, что осталось. Однако, что бы ни говорили, все требовали себе рабов: дворяне, мещане, купцы, козаки, даже сами крестьяне, что удачливо занялись каким-то промышленным делом. На том пока они держались все.

Но главный камень лежал глубже. Он как бы слился с животворящей землею, впитанный ею, и только зеленоватый мох выделял его среди полезного окружения. Лемех истории наехал и заскрежетал здесь, оставляя белый безжизненный след...

Высокорослый и дородный, с дебелистью в лице и руках, с чистым сиянием в глазах, он уверенным взглядом обвел собрание, поклонился ей по-старинному, достав рукою земли, и заговорил проникающим в сердца и куда-то еще дальше баритоном: "Обстоятельства времени и разные случаи принудили Петра Великого сделать для нашего же благополучия такие положения, которые ныне от изменения нравов не только не полезны, но скорее могут быть вредны. Государство тогда становится прочно, когда оно утверждается на знатных и достаточных фамилиях, как на твердых и непоколебимых столпах, которые не могли бы снести тяжести обширного здания, если бы были слабы, невзирая на свою многочисленность..."

Дело не в том было, что выделяет древние роды в ущерб служащему люду. От породных, если ум и чувства в порядке содержали, и Петр не отказывался. Здесь было нечто другое, органичное, кующее по рукам и ногам. Будто прозрела вдруг и увидела, почему же столь яростно великий царь резал бороды, шубы сдирал, наряжал шутами. Не причуды то были. Вековечной тяжестью тянет этот камень к земле, не давая лететь вровень с историческим ветром. А князь Михаил Михайлович Щербатов — депутат от ярославского дворянства, все говорил, не желая ничего видеть в остальном мире. И в этом тоже состояла русская идеальность. Только не станет она натужно выдерживать тот камень. Как и с церковью, его же возьмет себе в службу.

Все время помнилось некое веселое письмо. Генерал-полицмейстер московский Николай Иванович Чичерин показывал его ей, поскольку прислано было

от брата его Дениса Ивановича, сидевшего сибирским губернатором, и об избрании полномочных депутатов от тамошних народов шла речь: "Поехали от меня два принца: один Обдорский, другой — Куновацкий, кочующие к самому Северному океану. Вы найдете в сих моих принцах двух дикеньких зверков, странных видом, странных и одеянием. Ручаюсь, что не ударят себя лицом в грязь, фигуру сделают при дворе не хуже французских..."

Сразу и решительно оставила она интерес к этому делу и лишь час в день читала отчеты. Дела там и не было, но виделось устремление умов. Впрочем, и практическая польза проистекала из всероссийского депутатства: в первый раз хоть собрались и посмотрели сами на себя. Даже и частности приносили пользу. Например, чтобы учреждать училища для бедных дворян и отдельно для девиц, или что надобно ограничить известными правилами рубку леса, ловлю зверей и птиц, на двести верст вокруг Москвы не ставить металлические заводы и винокурни. А рядом было и совсем серьезное, когда клинские дворяне вдруг вступились за крестьян, что сложить надо с них подушный сбор, "яко по земледельству их первое благополучие государству доставляющих". Взамен же для неубытка бюджету предлагали прибавить цены на вино, пиво, чай, кофе, сахар, табак, карты, псовую охоту и платье с золотом. И тут была некая особенная идеальность: нигде в Европе дворяне не заявляли так против себя...

Она подвела черту: "Комиссия Уложения, быв в собрании, подала мне свет и сведение о всей империи, с кем дело имеем и о ком пещись должно. Она все части закона собрала и разобрала по материям и более того бы сделала, ежели бы турецкая война не началась. Тогда распущены были депутаты и военные поехали в армию..."

Она сама устанавливала у себя на столе их сегодняшнюю очередность: дела английские, французские, шведские, датские, Пруссия и Австрия. Не меняясь в чувстве, читала письмо от польского короля к сидящему в Петербурге графу Ржевусскому: "Если есть какая-нибудь возможность, внушите императ-

рице, что корона, которую она мне доставила, делается для меня одеждою Несса: я сторю в ней, и конец мой будет ужасен. Или я должен буду отказаться от ее дружбы, столь дорогой моему сердцу и столь необходимой для моего царствования и для моего государства, или я должен буду явиться изменником моему отечеству. Если в императрице осталось малейшее чувство благосклонности ко мне, то есть еще время. Она может дать указания Репнину, чтоб он не двигал войск, находящихся в Литве, и чтоб не вводились новые войска во владения республики. Сила может все — я это знаю; но разве употребляют силу против тех, которых любят; чтоб принудить их к тому, на что они смотрят как на величайшее несчастье... Погибнуть — ничего не значит, но погибнуть от руки столь дорогой — ужасно!"

На одно лишь мгновение возникла в памяти затемненная комната, три горящие свечи и нежно-ласковые руки, глядящие ее увеличенный живот: "О светозарна панна... Кохана!" Никуда дальше не пустила она это воспоминание. Сделанный ею король Станислав-Август был обезоруженно бессилен для ее сердца, как и для исторического дела. Та сарматская самоотверженная чувствительность — вечный знак слабости.

Даже и Репнин из Варшавы кричит, что нельзя уговорить нацию и сейм дать православию и лютеранству наравне участвовать в законодательстве с составляющим абсолютное и убежденное большинство католическим народом. Мировоззрение и духовная связь этого народа с Европою осуществляется через ту воинственную приверженность к западной церкви. Только и Россия не с луны в Европе взялась, а сейчас таково делается ее место, что поднимается выше церковного формального деления. Даже полумесяц и Будду принимает в круг своего интереса, и нельзя допускать половинность в действии.

Что же до теплоты ее сердца приходится, то здесь в обоих смыслах невозможно снисхождение. Любовь всегда является страдательной стороной; то она на себе испытала. Так что не только с государственной обязанностью, но с победной жестокостью женщины сделала она резолюцию: "Если король так смотрит на дело, то мне остается вечное и чувствительное сожа-

ление о том, что я могла обмануться в дружбе короля, в образе его мыслей и чувств”.

В зашифрованном донесении к своему двору нового английского посла лорда Каткарта она бесстрастно прочитала, что по превосходству ума русская императрица не может ничего и никого опасаться и что все идет великолепно в России. Для аттестации глубокомысленный лорд цитировал стих Вергилия о Дидоне, что дала приют троянскому герою и основателю Рима. А от себя добавлял, что удивительно бескровно проходит ее царствование. Лишь слухи идут по поводу трудно объяснимых случайностей...

Она отвела руку с перлюстрацией английской депеши, вздернула голову. Незачем ей скрываться от истории. Глядя Алексею Орлову в его льдистые глаза убийцы, знала она, что ждет эйтинского мальчика. И другая венцелюбивая смерть прошла мимо нее, коснувшись холодом рук и лица...

В первый месяц от революции в карете без знаков и с шестью лишь конными гвардейцами выехала она в ночь. Крепостной камень скрадывал яркость свечей на столе и по стенам. Таковым же, под цвет этих стен, было лицо человека без имени и возраста. Она говорила с ним ровно, силясь угадать в выражении лица что-нибудь близкое тому, великому, с покойным бешенством в глазах, который являлся ему двоюродным дедом.

Никакого выражения не было. Несчастный глухим и резким голосом произносил пустые фразы, глотал окончания слов, и трудно было уловить связь между ними. Она вспомнила зловещую комету с хвостом над другою крепостью, когда только въезжала в Россию. Этот человек имел тогда имя и был вовсе младенец. Вместе с матерью ждал он решения своей участи. Сейчас, в другой уже крепости, он ничего о себе не знал.

Она внимательно прочла бумагу от бывшей императрицы, чтобы двум офицерам содержать сего узника до самой смерти и без общения с людьми. Если же кто проявит намерение освободить его, то живого в руки не отдавать. Подумав, она ничего не сказала изменить и поскакала с эскортом назад в столицу.

Все случилось, когда ездила в Лифляндию. Счастьем обойденный подпоручик захотел менять историю. Только не в случае тут дело, поскольку все необходимо должно сойтись и созреть для такового поворота. То Вольтер боялся за нее, что сменит ее на троне полоумный неуч, и в забвении тогда останется практическая философия. Она не боялась, даже из Риги не приехала, узнав о шлиссельбургском происшествии. Только самым подробным образом рассмотрела дело: не протянуты ли куда дальше нити. Что в Европе намекали, будто сама провоцировала Мировича к ложному освобождению Иоанна Антоновича, то вздор. Просто знала, что такое может произойти, и мер к предупреждению не взяла. Ей назначена цель, и не ее обязанность предотвращать то, что наметила к гибели история. Обоих офицеров, что исполнили приказ еще Елизаветы Петровны над брауншвейгским принцем, она наградила и послала в дальние концы империи, чтобы не приезжали оттуда. А что пишет английский посол, что все тут спокойно, так это с его дома только на Мойку видно...

С тем надо было решать в пример и назидание. Пять лет шло следствие, и всей России было известно дело. Подвластные люди обвиняли дворянку Дарью Салтыкову в зверском убийстве 75 человек и во многих калечениях. По рассмотрении от Юстиц-коллегии написано было, что "яко оказавшуюся в смертных убийствах весьма подозрительною, во изыскание истины надлежит пытать".

К ней принесли решать, но в "Наказе" она отставивала запрет на пытку, тем более к женщине. Когда и священнослужители говорили за ее необходимость, она писала: "Употребление пытки противно здравому рассуждению. Чего ради, какое право может кому дати власть налагати наказание на гражданина в то время, когда еще сомнительно, прав он или виноват. Обвиняемый, терпящий пытку, не властен над собою в том, чтоб он мог говорить правду. Чувствование боли может возрасти до такой степени, что, совсем овладев всею душою, не оставит ей больше никакой свободы. Тогда и невинный закричит, что он виноват, лишь бы только мучить его перестали".

Дважды не соглашалась, чтобы такое производили с Салтыковой. Велела пытать при той уже приговоренного злодея и убийцу, чтобы видела, каково ее ждет, но та упорствовала в признании. Юстиц-коллегия обвинила сию помещицу положительно виновной в убийстве 38 человек и относительно 26 человек оставила в подозрении. Записаны были подробно рассказы, что лила на голых девок кипяток, рвала горячими щипцами груди, сыпала соль на содранные спины...

Она придвинула приготовленный указ сенату, принялась со вниманием читать: "Рассмотрев поданный нам от Сената доклад об уголовных делах известной бесчеловечной вдовы Дарьи Николаевой дочери, нашли мы, что сей урод рода человеческого имеет душу совершенно богоотступную и крайне мучительную. Чего ради повелеваем нашему Сенату: 1) Лишить ее дворянского звания и запретить во всей нашей империи, чтоб она ни от кого никогда, ни в каких судебных местах и ни по каким делам впредь именована не была названием рода ни отца своего, ни мужа; 2) Приказать в Москве, где она ныне под караулом содержится, в нарочно к тому назначенный и во всем городе обнародованный день вывести ее на Красную площадь и, поставя на эшафот, прочесть пред всем народом заключенную над нею в Юстиц-коллегии сентенцию с присовокуплением к тому сего нашего указа, а потом приковать ее стоячую на том же эшафоте к столбу и прицепить на шею лист с надписью большими словами *"мучительница и душегубица"*; 3) Когда она выстоит целый час на сем поносительном зрелище, то чтоб лишить ее злую душу в сей жизни всякого человеческого сообщества, а от крови человеческой смердящее ее тело предать промыслу творца всех тварей, приказать, заключа в железы, отвести оттуда ее в один из женских монастырей, находящийся в Белом или Земляном городе, и там подле которой ни есть церкви посадить в нарочно сделанную подземную тюрьму, в которой по смерти ее содержать таким образом, чтоб она ниоткуда света ни имела. Пищу ей обыкновенную старческую подавать туда со свечюю, которую опять у нее гасить, как скоро она наестся, а из сего заключения выводить ее во время каждого церковного служения в такое место,

откуда бы она могла оное слышать, не входя в церковь”.

Это специально обдумали и составляли для нее, поскольку не смогла бы еще столь проникновенно учитывать всякую сторону и грань воздействия такого наказания. Смысл и форма его тоже таились в плоской глубине икон, цветистой причудливости храмов, немислимой шири и безбрежности... Она твердо подписала: ”Екатерина”.

Сколько то длилось, не знает она: минуту или мгновение, и не в том дело. Некая другая жизнь произошла с нею совершенно явственно, будто все совершалось наяву. В той жизни идеальное обретало плоть...

Это случилось в Москве, когда до конца прочитан был ”Наказ”. Она опустила взгляд к депутатам, и вдруг закружились черные ветки со снегом и с ними весь мир, сильные руки подняли и понесли ее, незащищенную, запутавшуюся в сугробах. Не было теперь падающей со лба пряди волос, но все равно она видела ее. Он стоял в мундирной, как у большинства дворян, куртке, и через суровую возмужалость на его лице, как и тогда, стала проступать краска. От того сделались белее шея и твердый широкий подбородок. А он продолжал смотреть на нее, как делал то всю жизнь: прямо и не отводя глаз...

Опять встал перед нею выбор. Не чувствовалось уже обязательной тяжести на плечах. Будто выпущенное из руки радостно забило сердце, великая, намеченная для женщин слабость стала разливаться по телу. Нужно было только продолжать смотреть, и жизнь, которая была предназначена ей, вступила бы в свои права. Но она уже смотрела мимо...

Другая жизнь зачеркнула бы необходимую реальность, поставив свои законы. Английский лорд не понимал сути. В Карфагене все было буколически просто: царица Дидона искала себе мужа в троянском герое, а тот, по назначению богов, обязан был строить Рим. К ней же не подходила четвертая песня Вергилиевой поэмы, ибо Рим здесь назначено строить ей

самой. Оттого и Орлова не захотела видеть мужем рядом с собой. Но здесь был не Гришка или упоительно нежный Станислав, даже не бывший первым у ней Салтыков. Другое, высшее и отличное, содержалось в лице юного гвардейца, что следует за ней со дня въезда в Россию всю остальную жизнь...

В тот день, когда через четверть века увидела опять его, она не могла спать. Ночью горела вся и хотела послать узнать среди депутатов его имя. Уже готова стала пойти и позвать его, но вдруг испугалась, сидела и плакала, как последняя горничная девушка. Не спала так вторую и третью ночь, а затем уехала из Москвы.

Гришке она не разрешила прийти. Прилетев в Петербург, целый месяц ходила будто облитая светом, а внешне оставалась ровной и улыбалась...

Потом позвала к себе некоего кирасира, что год уже играл к ней красивыми преданными глазами. Тот делал все, дрожа от страха чем-нибудь не понравиться ей, и только по необходимости и привычке все произошло. Когда заснул, она разглядывала его тело. Все повторяло эллинский мрамор, лишь не было того, от чего не спала и плакала в Москве. Какая-то высшая тайна состояла в этом...

Проснувшись, кирасир кинулся опять исполнять свою обязанность, потом суетливо кланялся и одевался, опасаясь хотя бы боком повернуться к ней. Больше она его не звала. С Гришкой все было по крайней мере без лакейства...

II

В душе кипело, и справедливая досада толкнула составленную в кулак руку к холопской физиономии. И этим он, от Рюриковых сподвижников ведущий свой род, уронил себя. То какой-нибудь служивый, дворянством пожалованный, может собственноручно учить раба. Князю и столбовому дворянину такое не пристало.

В Рюриковы времена, когда созидалась держава, произошло распределение людей. Одни, коих немно-

го, но дела их были громки, стали называться *мужи*. Другие, которые лишь служили для обеспечения пер-вых, получили звание *мужики*. Что справедливо произведено историей, нельзя изменять волюнтарным действием...

Князь Михаил Михайлович вытер платком розовую мокроту с пальцев. Филька-конюх глядел с тупым страхом, и кровь стекала от его носа на сапоги. Вот она, наследная глупость: английскую породную кобылу без смыслу зеленым зерном загубил. Сколько бы ни было поколений у него за спиной, все дураки. Хоть в фельдмаршалы его пожалуй — того не испра-вишь!

Сделав в отношении Фильки распоряжение мажордому, князь дал переодеть себя. Пока производили это, думал, что негоже истинному русскому дворянину звать так старшего слугу. Мажордом-то не русское понятие. И дворецкий лишнее тепло слово. Как звали таковых слуг в стародавние времена, следует посмотреть в летописях. Что, если дать ему звание *старинушка*?..

Князь со вниманием посмотрел на своего управителя Петра Хвостова. У того была окладистая борода и покойное достоинство в лице. Даже и хитринка в глазах отвечала образу.

— Старинушка! — произнес он звучно, прислушиваясь к своему голосу.

Петр Хвостов, как и положено верному слуге, принял направление его мыслей и тут же отозвался:

— Благодарствуем за ласку и доверие тебя, князь!

Это он запретил называть себя "сиятельством", а чтобы все было по древней простоте чувства. Не имеет значения, что отменно знает он немецкий, французский и латинский языки, еще и науки превзошел. Свое, исконное, необходимо наперед двигать. Больно смотреть, как родовитые люди не то что во всем превосходят русские костюмы на немецкие платья поменяли, но и рассуждают уже на общий с Европою лад. А Русь между тем на первородстве держится. Вон народ то лучше понимает: платья иностранного не носит и скрипки с пианинами не слушает...

Его пока раздевали. Стащили узкие штаны, аккуратно сняли с рук голландскую подстежку с кружевными манжетами, что с прошлого года вошли в моду

в Петербурге, также и белье тонкое французское унесли. Вместо того поддели крупнотканое исподнее, облачили в одежду, что сам специально кройку делал по старым рисункам, поднесли медового квасу. И все с земным поклоном, как научил всех в доме и своей ярославской усадьбе. Слуги одеты у него соответственно: в рубахи длинные белые и с просторными рукавами, как на досках старинных. И не оркестр, как у других, а добрый молодец для услаждения слуха за обедом на гусях играет...

С кабинету, куда пошел размышлять перед обедом, было видно в окно, как повели Филимона-форейтора на конюшню. Туда же понесли лохань с моченными в воде прутьями. Конюх шел покорно, с бесчувствием на лице, будто и не ощущал своей вины. Вовсе упали нравы в народе...

Князь Михаил Михайлович взял с секретера и разложил на столе выписки из разных книг, необходимые ему по депутатскому делу, стал листать записи своих там речей... "Государство тогда становится прочно, когда оно утверждается на знатных и достаточных фамилиях".

Тут содержится краугольный камень его диспозиции. Царь Петр принизил те фамилии, поставил их в общий ряд с остальными и тем нарушил природный русский порядок вещей. Он вовсе не сторонник боярской невежественности да потения в шубах. Вот у него шкафы по стенам переполнены книг. Важна порода, кровь, способности, к чему приучается человек многими поколениями от своих предков. То Митька Щербатый, от которого род его числится, был уже муж велик: постельничим у великого князя московского состоял, в Орду с поручениями ездил. Во многих славных делах потом Щербаты участвовали, и все в великокняжеской и царской службе. Так и он теперь от ярославского столбового дворянства первый муж в собрании. Можно ли равнять его с каким-то служивым, чье благородство происходит от деда, что потешным солдатом у царя состоял.

Оно и раньше бывало, что государь кого-то за особенного рода услугу вдруг дворянством жаловал. Но то было случаем и делалось от прямой царской милости. С петровского порядку иное пошло: выслужится кто-то без роду и племени в офицеры, так и

дворянин. В Сибири губернаторы дворянами жалуют. Из калмыков и грузинцев сплошь явились князья. Кто только не нахлобился теперь в русском дворянстве. Царь вице-канцлера даже себе из жидов выбрал и в бароны произвел, арап в генералах ходил. Нерассудно в нынешнее время против того выступать, чтобы иностранцы в русской службе находились, но каждого надлежит проверить: подлинный ли дворянин, откуда родом, благородная ли в нем кровь.

А когда того недостает, то сразу видно. Ростовецкий депутат, что клинских дворян одобрял и против его позиции говорил, так именно без роду оказался. Доискались подлинные дворяне, что дед у того Ростовцева как раз и происходил из потешного полку. А прибавка Марьин к фамилии, так на подлой девке женился. Сам этот майор, сказывают, тоже неизвестную жену себе привез. Где же тут взяться благородству в рассуждении!..

А должно так быть. Кто в начале этой державы управлял и мужем был, так и род его должен на том месте оставаться, поскольку к чести приучен. Также и купцы: если прадеды и дед торговым делом занимались, так и у внуков к тому рвение и способности. От духовного звания происходят священники, от мещан — мещане. А кто от мужиков, так обязан в этом звании дело свое малое исполнять. От того имя ему второе дано — крестьянин. И не должен один лезть в дела другого: дворянин — вдруг торговлей заняться, купец — владеть крепостными людьми. Только дворянин имеет на то право, так как всегда способен рассудить раба и за нравственностью его присмотреть, чего не сумеют купец или мещанин...

Вот тут, в главной речи его на собрании, и меры предусмотрены, чтобы укрепить ту общественную нравственность... "Итак, первый объяснением имени дворянина будет то, что он такой гражданин, которого при самом его рождении отечество, как бы принимая в свои объятия, ему говорит: ты родился от добродетельных предков. Рожденный в таком положении, воспитанный в таких мыслях, человек не будет ли употреблять сугубые усилия, дабы сделаться достойным имени своего и звания? Эта политика у римлян столь далеко простиралась, что они приписывали начало знатных родов своим героям, о чем, по свиде-

тельству блаженного Августина, знаменитый римский писатель Варрон говорил, что для государства весьма полезно, чтобы знаменитые люди почитали себя происшедшими от героев, хотя это и неправда”.

Императрица посмотрела вдруг на него, когда читал эту речь, — с улыбкой и внимательностью в глазах. Радение ее ко всему русскому общеизвестно. Только словно еще что-то увидела в его словах...

В приоткрытое окно слышался некий звук от конюшни: равномерные свисты и вздохи. Он распорядился, чтобы наказывали конюха со снисхождением: часть ударов пусть примет теперь, остальные — отдохнувши и пообедав. А также, чтобы масла конопляного приготовили: спину смазывать. Тут справедливая суровость обязана сочетаться с отеческой заботливостью. Раб почувствует сердцем и во всякое время готов будет живот свой положить за господина...

Обедал он тоже по-старинному. Сначала умывался из ковша, промокал лицо утиральником. И слуги подавали блюда с поклоном. Только пищу ел легкую, которую готовил научившийся от французов повар. У князя-родителя покупные повара были, и сам, когда в Семеновском полку служил, привык к той кухне...

Пообедав, он отдыхал в кабинете на софе, и не позволялось никому беспокоить его. С задней двери явилась Агашка: крупная, пышнотелая, в сарафане, с белеющей оттуда грудью, улыбнулась с ленивостью, забросила за спину тяжелую пшеничную косу. Серые глаза ее всегда полны были будто влажного туману. Выражение их не менялось хоть и в самый чувствительный момент...

После ее уходу вспомнил, что буфетчик Тимофей шептал ему об Агашке и Хвостове. Не в первый раз он слышит об управляющем, что при благообразии своем всякой девки мимо не пропустит. Оно и простить бы можно по домашнему делу, только не положено смерду залезать, где благородство находит себе приют. Агашку можно бы в птичницы, да привык и всегда с собой берет, когда в Москву ездит. Некая сладкая бесстыжность у нее, что сильно физическое чувство трогает. А вот со старинушкой надо придумать, как поступить...

Снилось то ему, или просто было мечтание, но великая легкость духа посетила его. Все происходило как наяву: даже потрогать захотелось шелки и атласы, что были на добрых молодцах. Синие, красные и вовсе фиолетовые сафьяновые сапоги с загибами составляли радугу, золотым огнем горели пояса. Солнце стояло как раз посередине неба, и белыми лебедями выступали девы: все были томные, крупчатые, вроде Агаша, только без всякого туману в глазах. Серебряным шитьем сияли кокошники, кораллы розовели, и жемчуги матово белели на высоких шеях. Девки при этом стыдливо опускали взоры.

Все вокруг процветало и радовалось. Также и мужики бодро шли за сохой в удобных плетеных лаптях, и кони у них были сытые и крепкие. В городах и слободах сноровисто трудились ткачи, кузнецы, кожевники; купцы везли товары в расшивах и богатых обозах. А в праздник все надевали сапоги, ели медовые пряники и катались в каруселях. Шуты да скоморохи на ходулях увеселяли народ. И все потом пристойно и в должном порядке шли в храм. Только был тот храм словно бы не такой, не было там тех страдальческих лиц с удлинненными оливковыми глазами. Посередине вместо всего виделся един дубовый монолит с ясно и навечно очерченным ликом, и лишь молнии посверкивали у него из глазниц...

Нет, не так уж он глуп, ярославский потомственный дворянин и князь Михайл Михайлович Щербатов, чтобы не понимать очевидного. Не было все так любезно и благостно до царя Петра Великого. Документы в этих его шкафах про дыбы с колесами, и как братья друг другу глаза кололи. Знает про целые города сожженных, утопленных, в стену вмурованных. И про предательства перед печенегами и татарами, друг перед другом. От той свирепости и разбою на тысячи верст города и веси безлюдели и даже псы голодные убегали, птицы улетали. Да не так, чтобы случаем, а без перерыва, из века в век.

Но только не хочет он этого помнить. Не разумом только, но и сердцем, всем своим естеством не желает того знать. Пример народу обязан быть впереди, и негде тут его брать, как из прошлого. Ничего сильнее

сказки нет для такого дела. А поэтому и самому надо поверить безоглядно, не рассуждая, чтобы до слез манило то благое прошлое. Убедить должно себя, чтобы вроде досадной случайности виделись те дыбы да колеса. Тем более это надо делать, что такое забвение плохого свойственно человеку. Только неужели императрица проникла в его мысли?..

Пробудился он от того же звука из конюшни. Свисты не менялись, но вздохи сделались продолжительнее. Это означало, что конюх Филимон проникался своею виной и в другой раз не будет кормить кобылу сырым зерном. Тысячу лет назад было и теперь продолжается, что мужу назначено учить мужиков.

III

Сказка вернулась, и будто пропала куда-то действительная жизнь. Может быть, снилось ему все, что было до сих пор. Минута только прошла, как скакал за зайцем и спрыгнул с коня. Золото таяло у нее в глазах, они делались обычными, синими. Черные ветки в лесу гнулись от тяжелого, чистого снега, и никого, кроме них, не было в мире...

Но она уже смотрела мимо него. И опять усомнился он, существует ли на самом деле. Как и тогда, захотелось тронуть себя, чтобы это узнать... Вспыхнули свечи в притворах и по стенам, сдвинулась громадность храма, засияло по стенам тяжкое золото. Временно отпущенный из службы майор и депутат от ростовецкого дворянства Александр Семенович Ростовцев-Марьин отвел взгляд от сидевшей в вышине императрицы и прошел на установленное ему место...

Они заседали всякий день в Грановитой палате, высказывая каждый свое мнение, и стремились определить действительное умоначертание народное. На другой уже год переехали в Петербург, где читали и обсуждали относящиеся к юстиции законы. Он с обыкновенной своею серьезностью исполнял полученный от ростовецких служивых дворян и разных чинов наказ, согласуя его с общим "Наказом" импе-

ратрицы. Тут ему кстати оказались тетради лишившего себя жизни в остроге вяземского дворянина Астафия Матвеевича Коробова, где находились рассуждения об русской истории. Еще и от Василия Никитича Таищева, у которого тот служил в Астрахани, содержались там записи о практических делах Петра Великого. Также и все читанное им в доме ученого шляхтича пана Людвига Мураховского способствовало объемности понимания устройств и правлений у разных народов в древние и самоновейшие времена. В Ростовце у себя собирал он книги, привозя их всякий раз в долговременный отпуск, назначенный имеющим усадьбу офицерам...

А антиподом ему в собрании сразу стал некоторый ярославский князь, что все видел, будто через кулак на солнце глядел. Когда о царе Петре говорил, то морщился даже весь, не смея прямо обругать того. Крупные слезы текли у князя из глаз, как только боярскую народность вспоминал. Ею звал очиститься от всех бед. Да только народность та в том заключалась, чтобы самому блаженствовать, а остальные бы все в разной службе холопами у него состояли. Та мудрость никак в современную жизнь не пишется, а только с пути сбивает истинного радетеля своему отечеству. Хуже, что весьма это увлекательно — на старину с умилением смотреть, и куда только народ и государство в неопытности ума завести можно!

Нет, в том истинная правда сына отечества состоит, чтобы прошлое без предубеждения, тем более слепого почитания увидеть. Когда хлебы умело печь или сердечную ясность сохранить, также и примеры воинского подвига во имя обороны отчего дома от врагов, так все это твердо надо выучить. Но и того не забывать, какие мучительства этот народ перенес в том прошлом от своих же нелепостей и что надо когда-нибудь положить им конец.

Что же до иностранного, которое от времени царя Петра сюда хлынуло, так нечего бояться. Лишь от вселенского общения народы великими делаются, а когда сторонятся всего, то быстро в обдоров превращаются. Вон и рожь даже вырождается, когда долго вдали от других полей растет. А что костюмы да науки заимствуем, то не надо злобствовать, а таково у себя устроить, чтобы от нас заимствовали...

В собрании он внимательно слушал, записывая всякую интересную для себя сентенцию. Тому ярославскому князю вышел убедительный отпор. "Достоинство дворянское не рождается от природы, но приобретается добродетелью и заслугами своему отечеству!" — сказал депутат Терского семейного войска подьесаул Миронов. И восполнил сию мысль дворянский депутат от Изюмской провинции Зарудный: "Как многотрудна во флоте и как тяжела в сухопутной армии служба, я не стану объяснять, ибо предмет этот слишком обширен; не знающим этого могут рассказать все там послужившие. Из этих рассказов можно удостовериться, что полученные ими чины и дворянское достоинство нелегко им достались". Как раз и говорили о равенстве в дворянстве те, кто собственными трудами и доблестью его выслужили: Днепровского пикинерного полка депутат Козельский, выборные казачьих войск, а депутат от города Рузы Смирнов прямо предложил, чтобы по наследству не числилось дворянство, а пусть каждый сам заслуживает.

Его же другое больше интересовало. Он сразу поддержал наказ клинских дворян, что предлагали сложить подушный сбор пахотных крестьян. И от псковского служивого дворянства депутат встал на защиту русского пахаря, поскольку нет той беды на свете, которая бы не преследовала этого всеобщего кормильца. От козловских дворян депутат Коробьин объяснял, что от жестокости да самодурского грабительства убегают крестьяне за Волгу, а потому предлагал ограничить для помещиков размеры оброков. От олонецких чернососных крестьян депутат Чупров то же говорил. Только втуне остались их редкие голоса...

А вот князь Щербатов вдруг поддержал их в том, что нельзя крестьян без земли и поодиночке распродавать. Он же и подсчитал, что один пахарь в государстве пятерых кормит и ежели еще уменьшится их количество, то хлеб придется не от нас уже, а в Россию везти. Только для того князь это умножал и складывал, чтобы доказать невозможность разрешить купцам иметь крепостных людей на фабриках, а лишь дворянское это право. И так красноречиво излагал, что глаза утирали многие.

Однако когда говорил это князь, то подумалось, что и с ним можно в чем-нибудь общую платформу найти. В одном деле тогда голосов прибавится, а в другом с другими можно искать большинство. Как видно, тут и начинается политическая наука, коей не присутствует в России...

Императрица уехала в тот же день, и с тех пор он ее не видел. А потом поскакал на Днепр, к своему полку.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

I

...В вашем Смольном монастыре принимаются самые существенные меры для сохранения здоровья детей, их природного характера, их невинности и веселья, таланты их развиваются без всякого стеснения, вкус к домашнему хозяйству образуется не в ущерб идеальным стремлениям; одним словом, из них приготавливают хороших жен и матерей, образованных, честных и полезных гражданок.

В их воспитании, по-моему, упущен единственный важный с некоторых точек зрения пункт — они не проходят маленького курса анатомии, по восковым и инъецированным моделям, дающим понятие о натуре, не возбуждая никакого отвращения.

Наше тело составляет ведь такую значительную часть нас самих! Хрупкий организм женщины так подвержен порче! Рано или поздно она станет матерью; краткие сведения из анатомии необходимы для нее и раньше, и позже, во время материнства!

Кроме того, я именно анатомией вырвал с корнем опасную любознательность моей дочери. Когда она все узнала, то нечего больше было и узнавать. Воображение ее успокоилось, а нравы остались чистыми.

Благодаря анатомии, она поняла, что такое стыд и приличие, почему лицам обоюго пола необходимо скрывать такие части своего тела, обнажение которых повело бы к развитию порочных наклонностей.

Благодаря анатомии, она поняла опасность сближения с мужчинами.

Благодаря анатомии, она узнала цену тем соблазнам, которые могла встретить на жизненном пути.

Благодаря анатомии, она подготовилась к выполнению супружеских обязанностей и материнству.

Благодаря анатомии, она узнала те предосторожности, которыми следует обставлять беременность; она подготовилась к безропотному терпению при родовых муках; она изучила положение ребенка в матке. При первых же родах она выказала такую твердость, которая в невежественных женщинах не встречается.

Знание анатомии послужит ей на всю жизнь, для сохранения здоровья в целости, для определения места заболевания, для себя, для мужа, для детей, для домашних.

Но, спросите вы, может быть, у кого же могла она брать уроки анатомии, не подвергая испытанию своей стыдливости? У одной пожилой девицы, очень способной и порядочной, у которой учились анатомии и я, и мои друзья, двадцать девиц из хороших фамилий и до ста светских женщин.

Господин Гримм, также прошедший эту школу, может рассказать о ней вашему величеству. Прингль и Пти — наши знаменитейшие анатомы — одобрили те модели, по которым мы учились.

Учительница показала наш мозг и мозжечок со всеми их частями, глаз, ухо, грудную полость, легкие, сердце, желудок, кишки, печень, мочевого пузырь, матку, половые органы мужские и женские (но только замужним дамам), мускулы, вены, артерии и прочее. Нет ни одного иностранца, проехавшего через Париж, который бы не посетил нашей учительницы и не полюбовался бы ее моделями.

Как бы то ни было, я не поколебался бы ввести уроки анатомии в курс последнего, перед выпуском, года для девиц из хороших семейств. Уроки анатомии должна давать женщина, так как девицы не должны отвывать краснеть перед мужчинами — это их красит.

И вот тогда ваши взрослые девицы узнают, что им думать об ухаживаниях мужчины, тогда к ним можно будет держать такую речь: "Если за вами ухаживают, сударыня, если вам льстят, указывая на ваши прелести и таланты, если на вас нежно смотрят и уверяют, что любят вас до сумасшествия, то знаете ли вы, что хотят сказать этим? Вот что: "Если вы, сударыня,

найдете приятным забыть ради меня стыд и совесть, пожертвовать мне вашей невинностью и репутацией, обесчестить себя в чужих глазах и в своих собственных, заменить имя честной девушки прозвищем куртизанки и погибшего создания, отказаться от всякого общества, краснеть всю остальную жизнь, убить ваших батюшку и матушку и позабавить меня в течение четверти часа, то я вам буду очень благодарен”.

Ваше императорское величество совершенно справедливо думаете, что девушкам неприлично слушать лекции анатомии, читаемые мужчиной. В силу этого я постараюсь упросить мадемуазель Бихерон приехать в Петербург со своими анатомическими моделями, которые отличаются большой прочностью и вовсе не ломки. Если их держать в порядке, то и через десять лет они будут так же свежи, как теперь...”

С двух до пяти часов пополудни было его время. Она с улыбкою, внимательно слушала этого человека. Но что же он говорит?..

Все это очень рассудительно и полезно для благородных девиц в сделанном ею Смольном институте. И анатомия — первейшая для них наука: это на своем организме испытала. Только получается у него, что девица лишь некоторое инертное и страдательное существо, так что сама и желания того не имеет — идти и пылать навстречу мужчине. Вовсе это не так.

Впрочем, все она знала заранее, еще и не видя его. Восхищение и разочарование сразу происходило уже от его искрометных и глубоких сочинений. А когда явился ей, как некий легкий кузнечик и мощный Вулкан в едином образе, то оба чувства убедительно завладели ею. В том противоречии содержалась закономерность...

Первые пять минут тончайшей галльской галантности, на каковую способен был лишь сын ножовщика, испарились и без всякого перехода сменились чудовищной простотою, на которую и анжуйские герцоги бы не потянули. Он бил ее по плечу, стучал по колену, заливался смехом над только что пришедшей к нему и еще не высказанной мыслью. На второй день он сдернул парик, чтобы сравнила его голову с отличным бюстом. То был длинный и покаты́й череп с редкими волосами на макушке.

В первом знакомстве она объявила ему, что как раз в эти часы всегда найдет ее в кабинете, так уже на другой день пришел лишь в половине четвертого. Иной же раз появлялся раньше времени и заглядывал к ней из-за спины гвардейцев, когда сидела с государственным советом. Часы у него имелись — большие, серебряные, да просто не заглядывал в них. Со всем неожиданно для нее обрадовался, что к корреспондентству в Петербургской академии художеств, где заочно состоял еще с шестьдесят седьмого года, назначен был также членом Академии наук. Когда передала ему про то назначение, то вскочил и прямо у нее на ее столе написал туда благодарственное письмо: "Мне было бы весьма лестно заслужить чем-нибудь честь считаться собратом Эйлеров, но в жизни приходится получать так много незаслуженных милостей, что одна лишняя уже не в счет. Вот мой титул: Дионисий Дидро, член Берлинской академии и Петербургской академии художеств".

Уже на второй день их постоянного собеседования она велела незаметно повернуть стол, чтобы быть недосыгаемой для летающих рук и острых колен автора великой энциклопедии...

Самые первые и дорогие четыре часа из дня у нее занимали занятия литературные и исторические: два часа одни и два часа вторые. Гостя-философа просила фиксировать для нее их беседы, и вот что по первому поводу там было написано: "Нужно, чтобы у монарха был в одном рукаве — священник, а в другом — писатель, преимущественно драматический поэт. Кто помнит хоть одно слово из философских записок Вольтера? Никто! А тирады из "Заиря", "Альзира", "Магомета" у всех на устах от мала до велика. Проповедей никто не читает, а хорошую комедию или трагедию перечитывают по десяти — двадцати раз даже люди малообразованные.

Если ваше величество поговорите разок-другой с вашим Сумароковым, весьма посредственным поэтом да зададите ему тему для будущей поэмы, так сделаете из него, может быть, человека. Ваша милость пробудит в нем гения, проповедника ваших мнений...

Во время составления кодекса законов, перед его

появлением в свет, так же, как и после, я бы велел представлять на сцене пьесы, в которых доказывается разумность главнейших из этих законов — о престолонаследии, о заговорах и о прочем. Нет ни одного закона, который не мог послужить темой для трагедии, вымышленной или взятой из истории”.

Она вспомнила: когда говорил это, вдруг остановился, как задержанный на бегу мальчик, посмотрел на нее проницательно...

Да, так она и поняла, несмотря на высокую искусность выражений. Одно то, что в рукавах рекомендуется держать сии карты, достаточно говорит за себя. Но чтоб философ прямо требовал государственной литературы и театра, так осмелился бы такое произнести во Франции? Парнас преобразовать в департамент — весьма прельстительное для власти дело, да только сразу заполнится свиньями. Или только для России предполагает возможным такое примитивное революционерство?

Угадав ее недоумение, он воскликнул:

— Ваше величество прекрасно знает пороки и смешные стороны вашего народа: я бы натравил на них парнасских собак!

И принялся распространяться о том, что имеет в виду лишь воспитательную сторону, чтобы молодые девицы и юноши из заведений могли бы учиться по тем пьесам практической жизни:

— Если бы ваше величество сделали это сами, то эффект получился бы громадный. А я знаю, что вы это можете. Одна хорошая пьеса упрочила бы счастье этих детей!

Все он говорил прекрасно, только не рекрутским набором поэтов и философов такое дело производить. Однако этот хитрейший и простодушнейший из людей правильно угадал, что сама пять лет уже тем делом занимается. Таким способом влиять на нравственность только и допустимо правительству. Даже Гришка или Панин не знают, точно ли ее тут авторство. Пьесы на театре идут и публикуются под именем Неизвестного, что сочинил их во время чумы в Ярославле...

В это утро она собрала вместе все, ею сотворенное по разделу муз, чтобы систематизировать и положить в особый тайный ящик. Первый номер занял перевод

Мармонтелева "Велизария", которым занималась в поездке по Волге шесть лет назад накануне открытия Комиссии об уложении. Сразу за ним шел "Антидот", где отхлестала по щекам некоего бесчестного аббата. Этот служитель бога и член Французской академии еще в конце предыдущего царствования проехал от Петербурга до Тобольска наблюдать прохождение Венеры через диск Солнца и попутно запомнил все анекдоты, что рады рассказать о своем отечестве досужие недоросли. А издал у себя книгой "Путешествие в Сибирь", где все служило к оскорблению русских, разве только каннибальства не было упомянуто. Ее опровержение на сей пасквиль тоже вышло безымянным и печаталось в Европе.

Потом в ряд лежали комические пьесы, поставленные на театре: "О время!", "Именины г-жи Ворчалкиной", "Г-жа Вестникова с семьей", некоторые прочие, что сама посчитала невозможным довести до сцены.

Она стала бегло читать: недоросль Молокососов желает жениться на девице Христине, приходящейся внучкой госпоже Ханжахиной. Тут же и Чудихина, чья страсть — расстраивать свадьбы, а еще госпожа Вестникова, служанка Мавра да Непустов. Все московские лица, как и разговор... "Мачеха ей сонной в живот шуку впустила, а в спину — собаку. Вот они и грызутся между собой!"

Затем уже госпожа Ворчалкина с дочерьми, дворянин Дремов, замоскворецкий купец-банкрот Некопейков, судья Спесов да Таларикин с Фирлюфюшковым, какового за долги бьют палкою. И опять по классическому закону умная и ловкая служанка Прасковья, за коей ухлестывает молодец Антип.

Еще в один акт сцена из передней знатного боярина, так тут, помимо старухи помещицы Выпивайкиной, еще и иностранцы: барон фон Доннершлаг, турок Дурфеджибасов да француз Оранбар, что мыслит русских ходящими на четвереньках и вменяет себе в задачу просветить их, каково ходить следует...

Одновременно здесь находились и журналы, где критики на те ее пьесы. Вверху всех приписка к "Живописцу" по поводу "О время!". Как знала она, то сам редактор Новиков написал: "Государь мой, я не знаю, кто вы. Вы первый сочинили комедию о наших

нравах. Вы первый с такою благородною смелостью напали на пороки, в России господствовавшие. Продолжайте, государь мой, к славе России, к чести своего имени, к великому удовольствию разумных единомышленников ваших. Перо ваше достойно равенства с Мольеровым. Не взирайте на лица: порочный человек во всяком звании достоин презрения...

Ко счастью России и по благоденствию человеческого рода владеет нами премудрая Екатерина. Ея удовольствие, оказанное во представление вашей комедии, удостоверяет о покровительстве ея таким, каким вы, писателям..."

Что же это: доподлинный пафос или коварная насмешка над разгаданным автором? Сей журналист в своем "Трутне" даже и приличествующие границы перешел, когда всем известных сановников в дурацком виде аттестовал. От них и получилась на него правительственная атака, а вовсе не от того, что с ее "Всякой всячиной" соревновался. И в "Пустомеле" он нимало никого не щадил, как и в том же "Живописце". Но вот пьесу ее весьма шумно хвалит...

Она отсылала ту пьесу к Вольтеру и получила полное сарказма назидание. И тут уже от гостя-философа произошла такая двусмысленная похвала, что лишь самодовольный балбес мужского рода не почувствует своей законченной ущербности в писательстве. Потому и решила все это положить в ящик и больше не соперничать с присяжными Аристофанами...

Но гость-философ еще одно замечание обронил: что у молодого Фонвизина, коего рекомендовал ей надеждой русского театру, нашел прямой уход корнями в ее пьесу. Может быть, то и Новиков увидел. А что французскому изощренному опыту кажется неважным, как раз и трогает здесь чувства.

Если же и смеются над ней из "Живописца" так пусть. Она ведь вызвала к жизни эти журналы и смех тот предрекла, а парнасской славы не ищет. Твердою рукою сложила она журналы в ящик, закрыла крышку.

Исторические занятия вдруг получили ясный смысл. Это произошло, когда гость-философ считывал ей свои мысли о становлении Французского ко-

ролевства и народа от первых Пипинов и Хлодвигов до современной высоты мысли и чувства. По поводу русской истории он делал снисходительные вставки, будто ее вовсе не было. Та необходимость единства в осмыслении веков зримо стояла перед нею. Когда вдруг поняла до конца, что не готовое в истории то дело, которое затеяла с депутатами и Комиссией, тогда и наметила строить здание не с изящных фигур на фронтоне, а с самого начала, с тех грубых и неудобных камней, что валят в фундамент для будущей основательности.

Она существовала лишь в мозаике, та русская история: хоть бы Татищев или российский Великан с его Аяксом — Миллером. Даже и Вольтер нацелился на постижение Петра Великого, да только что увидишь здесь из бургундских виноградников. Нет, тому месту в планетном ходе, что предназначена этой державе и народу, обязана соответствовать твердая историческая система. Утверждение своей истории в собственных глазах и глазах Европы и есть тот фундамент для дальнего и тяжелого пути к блистательному фронтону, который силою одного своего чувства захотела сразу возвести на вовсе не готовом месте.

А для того и ярославский князь пригодится с его слезною любовью к стране. Петр отряхивался от них, чтобы не мешали строить, она же, в той Комиссии присутствуя, сразу поняла пользу от такого причитания. Зримую идею и дух даст это использовать для пути к великой цели. В сочетании с той истовой к правде, что заключает в себе русская церковь — пусть даже и с мощами, — здание получит осмысленность, доступную для простейшего ума. Тем патриотизмом схвачены станут опоры от самого фундамента, так что и порохом будет не расшатать...

Еще несколько минут она сидела, неосознанно глядя на гладкую зеленовато-серую выпуклость. Через множественность волнистых линий проступили четкие прямые меридианы. Огромный глобус с медной поддержкой между окном и внутренней дверью был повернут к ней Россиию...

Переложив из крайнего шкафа переплетенные в черный коленкор листы, она принялась читать, производя время от времени выписки в тетрадь. То были старые рукописные своды и летописи, что разыски-

вали для нее по монастырям и с каких делали секретарские дубликаты для удобного ей прочтения...

— А разве все эти лица не суть одинаково подданные и граждане? Зачем распространять на оподлевших потомков награду, данную их знаменитым предкам? Станут ли они избегать низости и бесчестия, если вместе с кровью будут получать прерогативы добродетели? Пусть лучше слава восходит, как в Китае, от живых к мертвым, чем нисходит от мертвых к живым.

Как мудро поступили ваше величество, дозволив каждой провинции своего государства самой избрать своего представителя! Но хватит ли у вас решимости предоставить провинциям самим же подтвердить или отозвать этих представителей? Вы сделали так много удивительного, что трудно сказать, чего вы не в состоянии будете сделать. Если ваше величество желаете увековечить свои законы и воздвигнуть непреодолимое препятствие деспотизму в будущем, то ничего лучшего сделать не можете.

Разум и широкие взгляды вашего величества соответствуют величию вашего сердца. Вы умеете хотеть, и хотеть сильно; у вас есть вполне обработанный план; вы созвали на совет всю свою страну и можете пользоваться всем опытом стран соседних. Монтескье писал как бы исключительно для вас одной...

Она смотрела на себя вместе с ним со стороны. Гость-философ широко вскидывал почему-то левую руку, достигая глобуса, а она сидела со свободной ровностью и улыбалась. Сглаженный снежными рисунками на окнах, долетал сюда звон с ближнего собора и барабанный стук из дальних гвардейских слободок.

Провинции... Конфирмовать... Прерогативы... Добродетели!.. Да хотя бы с пятью Орловыми сопоставимы все эти слова? А насчет свободного избирательства, так его бы с обдорскими принцами-депутатами свести, которых сибирский Чичерин для Комиссии снаряжал. Впрочем, и тогда бы ничего не увидел. Вон тех же Орловых за свободомыслие и широту взглядов хвалит. Не знает, каково талантлив русский человек представить иностранцу все, что тот

сам желал бы в нем увидеть. Тот уж правда от доброй широты сердца: "Коль хочется тебе хорошее тут найти, так и пожалуйста: мне не жалко!"

Даже конкурсы предлагает ей учредить на замещение государственных да сенатских должностей: чтобы три или четыре человека претендовали на место, и всякий всенародно доказывал свой талант к делу. Любопытно, как бы это Гришка или тот же свободомыслящий Панин с каким-нибудь безвестным ассессором да в диспут вошли. Не говоря уж об ярославском князе, но безродный Теплов разве позволил бы тому ассессору до места конкурса живым доехать: лошади бы вдруг сбили, или в прорубь невзначай провалился. Да сам ассессор тут же бы в лес убежал, если бы объявили ему такое несчастье: конкурсировать с Орловыми. Пожалуй, что даже ее бы вмешательство того ассессора не спасло...

Она внимательным взглядом осматривала знаменитого гостя. Когда приехал, был на нем вытертый черный костюм, какой носили в прошлой половине века. В первый же выход его здесь зашептались об этом. Она купила ему другой: сама советовалась с портным и выбирала материю. Надели на него как бы между делом. Костюм был по нынешней моде и подходящий для его шестидесяти лет. Он, кажется, и не заметил, что ходит вдруг в другом костюме.

Но три месяца он уже тут. Ведь то умнейший человек Европы и столетия. Могущество ума и тонкость чувств здесь неоспоримы. Она все принимала у него с благодарным пониманием: страдания чистой женской души, заключенной в каменные стены, изящную фривольность нескромных будуарных тайностей, раскованную остроту разума, очерчивающего просветительный круг для целой эпохи. Неужели совсем ничего здесь не понимает, кроме отсутствия чистоты в домах или ассигнационной необходимости. Вон шут гороховый Нарышкин, у которого живет, так тоже видится ему серьезным человеком.

Теперь он говорил уже вовсе о другом...

— Я желал бы, чтобы ваше величество — если в вашем государстве брак столь же нерасторжим, как у нас, — нашли какое-нибудь средство сделать его нерасторжимым, без всяких печальных последствий.

Нерасторжимость брака противна непостоянству,

лежащему в натуре человека. Меньше чем через год тело женщины, нам принадлежащей, становится для нас столь же безразличным, как наша собственность. Домашний мир нарушен, и начинается ад. Дети несчастные и портятся, благодаря разрыву между родителями. Нравы изменяются к худшему. У римлян развод был дозволен и не сделался более частым.

Если я стою за развод, то за такой, который дозволил бы вступление во второй брак. Развод, обрекающий разведенных супругов на безбрачие, отвратителен. Он портит нравы, толкая мужа и жену в разврат. Он хуже в этом отношении, чем полная нерасторжимость брака.

Право на развод уменьшит число холостых людей, на которых в благоустроенном государстве следует смотреть как на развратителей по ремеслу. Одна знаменитая куртизанка справедливо говорила: "Я очень важная персона, потому что одна занимаю целых двадцать мужчин, а стало быть спасаю честь по крайней мере девятнадцати порядочных женщин".

Для чего же она это сделала: позвала его сюда? Не только его. Она настойчиво звала Вольтера и д'Аламбера, хотела, чтобы кто-то из них воспитывал ее сына — наследника российского престола. Со всеми с ними, а еще с Гриммом, с мадам Жоффрен и с мадам Бельке, с дюжиною других ведет постоянную и дружественную переписку. Ей они жалуются на своего короля и правительство, и гость-философ прямо ей говорит, что числят ее философы в Европе своей сестрой. Есть ли тут в ней природная женская суетность?..

Да, есть! Но, кроме того, есть и все остальное. Не танцевальщиков же и менестрелей зовет сюда, а философов. Так же, как Петр Великий звал плотников и инженеров, от каковых она тоже не отказывается. Просто философы так же становятся когда-то материально необходимы, как мануфактуры и военные корабли. А для славы ее или России то делается, так разве это не одно и то же!

Вольтер к ней не приехал по возрасту, а д'Аламбер и прочие испугались Вольтерова опыта общения с королем Фридрихом. Правда; Гримм ей доверительно рассказывал, что мнение есть у друзей фернейского старца про истинно спартанский стоицизм прусского

короля, смогшего три года терпеть сей неординарный характер. Парижане когда-то оказались нетерпеливее...

Так или иначе, а не одну духовную пользу или утешение собственной суетности имеет она от них. Этот же гость-философ уже десять лет трудится для нее в Париже: приобретает картины для Эрмитажа, договаривается с мастерами и архитекторами, закупает книги. Того же маэстро Фальконе, своего друга, отыскал ей для сооружения монумента Петру Великому. Касательно картин, то самое меньшее вчетверо дешевле обошлись ей Рафаэль, Тициан, Веронезе, Рембрандт да Рубенс, чем если бы русский посланник их приобретал. Об вкусе и говорить не приходится. Квартира философа в Париже — прямая русская справочная контора для всех желающих предложить свои услуги.

То она сама диктовала когда-то Бецкому для Гримма: "Сострадательное сердце государыни было тронуто тем, что столь знаменитый философ принужден пожертвовать родительским чувствам предметом своих наслаждений, источником своих трудов и компаньоном своих досугов. Поэтому ее императорское величество для того, чтобы дать господину Дидро доказательство своего благоволения и поощрить его к дальнейшим занятиям прямым его делом, поручила мне приобрести библиотеку за предложенные вами пятнадцать тысяч ливров, но с тем, чтобы господин Дидро оставался ее хранителем до тех пор, пока ее величеству она не понадобится".

Тут была тройственная польза: одинарная для философа, что сможет дать приданое единственной дочери и пребудет до смерти среди своих возлюбленных книг. И двойная для России, поскольку не может эта библиотека не быть из лучших в Европе. А еще она станет выдавать ему деньги на приобретение всего важного, что продолжает там публиковаться. Такого библиотекаря ни один монарх в свете, числа здесь и царя Соломона, не имел. Еще и Вольтерову библиотеку, даст бог сроку, оставит она за Россию!..

А гость-философ продолжал говорить:

— Вы берете по восьми копеек пошлины с пуда железа. Налог небольшой, но он портит все дело. Для того чтобы увеличить доход казны, заводчиков за-

ставляют увеличивать производство. Что же из этого выходит? Железа выделяется больше, но оно плохое. Ваше железо пользуется дурной репутацией; его никто не берет, предпочитая покупать в Швеции и Германии...

А с десяти часов, после дел литературных и исторических, производились военные и иностранные разборы. С начала войны сам собой образовался возле нее правительственный совет, где все говорилось с полной откровенностью, но разумелось ее последнее слово. В том даже у Панина не являлось никаких сомнений...

Как ничего до сих пор в жизни, ждала она мира. Планетарное движение к югу все равно исполнялось подобно Ньютонову закону. Русские армии стояли в Крыму и на Дунае. Однако командующий первой армией Румянцева, перейдя Дунай двумя колоннами генерал-поручиков Унгерна и князя Долгорукого, нацеленных схватить Варну, вдруг возвратил их назад на этот берег. Отбой был сделан также осадившему Силистрию генерал-поручику Потемкину и идущему к нему на соединение генерал-поручику Глебову. В донесении говорилось об отсутствии припасу и опасности вести столь малыми силами зимнюю кампанию на территории противника. Она сама заявляла в совете: "Требуете вы от меня рекрутов для комплектования армии. От 1767 года сей набор будет шестой. Во всех наборах близ 300 000 человек рекрут собрано со всей империи. В том я с вами согласна, что нужная оборона государства того требует, но со сжиманием сердца по человеколюбию набор таковой всякий раз подписываю". Нужно было уметь подавлять в себе историческую поспешность...

То Григорий Орлов набедокурствовал прошлым летом, когда уехал из Фокшан, где должен был с послом Обрезковым вершить мир с турками. Подстегиваемые интригой, турки заупрямились и как раз сослались для откладывания мира на отъезд главного российского представителя. Только граф Орлов потому от переговоров и армии скоростно уехал, что была в том она сама причиной. Затем и взялась с достоинством его защищать перед врагами Паниным и Чернышевым...

Зато второй Орлов при такой же природной отваге воли себе не дал. Тот Ньютонов закон для России он доказал со всей математической холодностью. Втрое меньше русских кораблей было при Чесме, когда увидел соединенный турецкий флот, а свои корабли были наполовину таковы, что текли по швам и назад бы в порт уже не приплыли. Еще и адмиралы Эльфинстон со Спиридовым были поругавшись между собой. Тогда Алексей Орлов, даже и не смысля в морском деле, взял на себя команду. К экипажам только сказал: "Ну, с богом, ребята!" — и шпагу вынул. А когда флот турецкий от того безумства в бухту убежал, то в нарушение всех морских наук туда вошел и брандерами до одного турецкие корабли пережег. Третий из братьев — Федор — тоже там на мостиках сражался и в последний лишь момент с горящего корабля спрыгнул. Нет, не промахнулась она в Орловых, когда на невском льду их увидела...

По всему получается, что если бы не морейские греки, что от долгого турецкого плена в рабском состоянии духа пребывают, то твердой ногою можно было бы встать за спиною у султана. 1 900 000 рублей потратила она на флот. Не переставая делал он разорение и тревогу туркам по всему левантийскому берегу, где содействовал египетскому паше, восставшему на Порту. Рядом со святыми местами осадили и пленили Бейрут, который за 250 000 пиастров передали принявшим покровительство России друзьям, а деньги разделили на корабли. Задолго перед тем уже высадились в Аркадии, где бригадир Ганнибал, подвезя свой отряд на фрегатах к самой стенке, взял Наварин — лучшую там крепость и гавань...

На Черном море тоже все совершалось закономерно. Крымские Гирейи противились отложиться от султана, она же им диктовала вольность. Один из них, Шагин-Гирей, наиболее сметливый и переполненный честолюбием, уже пожил у нее в Петербурге и теперь прямо тянул русскую сторону, надеясь в будущем сделать из того Чингисханова осколка вдруг современную и самостоятельную державу. О крымской вольности, которую она гарантировала, и шли переговоры с Портою, а также о крепостях и портах Керчи, Еникале, об Очакове и Кинбурне...

Только мир был сейчас нужен, как воздух. Но

также и не польские дела были тому причиной, где все бурлило после трехстороннего раздела. Тот раздел называл от начала века, ибо никто из соседей не намерен был видеть возле себя таковую стихию, которая могла бы, присоединившись к кому-то из трех, перевесить все на одну сторону. А потому всем вокруг была необходима обессиленная Польша, или совсем бы ее не было. Даже и с турками война у России началась с польского дела. А когда Австрия и Пруссия заспешили друг перед другом прибираться к себе польские земли, то как можно было оставаться в спокойствии России? Белая Русь православно и исторически склонялась сюда, а в Ливонии и не жили никогда поляки...

Она листала пахнущие духами польские письма... "Более шести лет эти затруднения составляют мучение моей жизни. Поставленный между благодарностью, влекшей меня входить в Ваши виды, и противоречащим этим видам подчинением моим национальной воле, я провел все это долгое время в заботах, как бы уничтожить это противоречие, и встречал с обеих сторон сопротивление неодолимое. Я ссылаюсь на Ваше императорское величество, сколько употреблял я для этого усилий, со сколькими просьбами, нежными и настоятельными, я обращался к Вам..."

Да, такие слова он умел говорить безукоризненным французским языком. И целовал когда-то ей пальцы по одному. Это ему и вредило...

Она собственноручно составляла меморандум от трех дворов королю Станиславу-Августу: "Что касается конституции республики, то должно быть возобновлено и утверждено навсегда правление избирательное. "Liberum veto" остается законом неизменным. Все преобразования должны клониться к восстановлению равновесия между властью короля, Сената и шляхты. Войска, находящиеся теперь под начальством короля, перейдут под начальство великих гётманов, и на будущее время польский король не должен иметь ни войска, ему принадлежащего, ни войска республики, находящегося под его начальством".

Только в таком состоянии торжества и неизбежности вольностей оставшаяся Польша не станет служить источником опасений для каждого из ее сосе-

дей... На миг представились ей летящие в бездне пространства планеты, и вдруг одной из них не оказалось на своем месте. Что-то же там должно остаться, и что стукнется из того тумана в будущем? А пока здесь происходило некое высшее движение истории. Это согласно с ним атаковал со шпагой в руке турецкие корабли Алексей Орлов у Чесмы, французские короли помогали безродным колонистам в Новом Свете освободиться от английских лендлордов, а сама она упорно защищала татарские и европейские вольности. Тому необратимому движению и Польша становилась жертвой...

Неожиданная опасность вдруг явилась за спиной. Рыжая Ульрика, с которой подралась когда-то, явственно помнилась ей. "Ваши высочества еще не заняли подобающих тронов, чтобы царапать друг друга!" Это сказал им кронпринц, будущий великий король Фридрих. То было в минувшие времена. Злопамятная Ульрика пошла с тех пор замуж за епископа Любекского, ее дядю, которого императрица Елизавета для спокойствия России сделала шведским королем. Тот король умер, и место занял Густав Третий, их сын, для которого французские идеи совпадали с призраком шведского величия. Таковое состояние шведского дела не переставало беспокоить. Даже и денег не жалела она при всей скудности российской казны на поддержку там республиканского духа. И все же оно случилось...

Пять лет назад ей говорили, что записывал в свой журнал молодой шведский принц: "Ах, Станислав-Август! Ты не король и даже не гражданин! Умри для спасения независимости отечества, а не принимай недостойного ига в пустой надежде сохранить тень могущества, которую указ из Москвы заставит исчезнуть..." Теперь, сделавшись королем и зарядившись свободолобием из Версаля, сей молодец стал практически учитывать для себя польский урок.

Молодой король в один день поднял готовые к тому гарнизоны в Свеаборге и Христиании, арестовал в Стокгольме Сенат и разогнал Секретный комитет, призванный следить от парламента за его действиями. Затем объявил сейму новую конституцию и обязал персональною присягою армию и чины. Мать его, вдовствующая королева Луиза-Ульрика, услышав

про то, вскричала: "Узнаю свою кровь!" Старый лис Фридрих в Потсдаме делал мину неодобрения действиям своего племянника.

В первый же день переворота русскому послу там было сказано, что укрепление шведской самодержавности будет лишь способствовать русско-шведскому согласию, и король Густав по-прежнему жаждет посетить Петербург, чтобы лично излить свое восхищение и обновить родственные чувства к русской императрице. Но это было кушанье для детей. Тот же всеобщий закон действовал здесь. Поскольку вольности будут притушены и королевская власть станет способной принимать решения, северная беспокойная соседка снова делается значительною державою. А так как шведская обида на Россию еще кровоточит, и к этому прибавить французское золото, прусские чувства Ульрики и занятость России с Портою, то здесь необходимо ждать новой войны. От Петра Великого та мысль, что аннексии в тесной Европе непременно чреваты будущими войнами, и Финляндия всегда будет служить для этого камнем преткновения. Ею двинуты уже туда четыре русских полка.

Но даже не это убедительно звало ее к установлению мира с турками. На столе ее отдельно лежала некая депеша в синем конверте с молниями...

"Народонаселение Российской империи исчисляется одними в 18 миллионов, а другими в 20 миллионов. Отчего такая разница? Как велико народонаселение?"

Посредством вопросов и ответов работала она с гостем-философом. Он заранее писал, а она обдумывала, что сказать. Здесь она написала: "Эта разница зависит от того, что никто не знает подлинной цифры населения". Далее объяснила, что такое подушная подать, ревизские переписки и что только по ним можно пока приблизительно сосчитать население. Поскольку эти переписки происходят лишь через двадцать лет, то в живых подолгу числятся мертвые души, с которых берется подать. Многие же, родившиеся между двумя ревизиями, как бы и не существуют, достигши и двадцати лет.

Другой вопрос был о количестве монахов и мо-

настырей в связи с указом Петра Первого, что в монахи разрешено поступать лишь мужчинам в тридцать, а женщинам в пятьдесят лет. На то привела цифры, что число монахов и монастырей значительно уменьшилось после того, как монастырские земли начали управляться коллегией.

”Евреям въезд в Россию был воспрещен с 1764 года. Затем этот запрет был снят. Есть ли теперь евреи в России? Если есть, то в каких условиях они живут? В таких ли, в какие поставлены другие иностранцы? Сколько их, приблизительно, в России?”

Здесь следовало уточнить, что воспрещение евреям проживать в России последовало в 1742 году, когда императрица Елизавета стала даже невольной для себя уходить от деловитости Петра Великого. Тогда и писали с надеждою иностранные послы, что назад в Московию возвращается эта империя. При ней в 1762 году шла уже речь, чтобы отменить тот закон, но признано несвоевременным. А в 1764 году было при ней как раз и разрешено евреям селиться и торговать в Новороссийских губерниях, где предстоит строительство городов и широкий товарный обмен. В Белоруссии же они проживают издавна.

А несвоевременно пускать сюда евреев потому, что двухтысячелетний опыт оборотистости в делах непременно повредит русским мелким торговцам, которых среди купцов и предпринимателей главное число. Так что — наряду с очевидной выгодой такого дела — для государства возникнет неминуемая вражда, которая при отсутствии просвещения перевесит все пользы.

Что же до самих евреев, то если крещеные, со всеми здесь такие же русские, как православные татары или мордва. Саму Елизавету саксонский еврей к трону принес. Да и некрещеные, как она хорошо знает, находят тут приют. Трое или четверо живут в доме ее духовника-архиерея, и никому нет до них никакого дела. Деление людей по симовым, хамовым да яфетовым признакам не присуще русской натуре...

Четвертый вопрос был о сословиях, каковых насчитал философ в России четыре: духовенство, дворянство, однодворцы, или свободные люди, и крестьяне. Она подробно разъяснила, сколь произвольно такое деление.

Пятый вопрос был об иностранных купцах, что якобы испытывают здесь множество затруднений при открытии контор и совершении торговли. Тут была прямая клевета, так как от Петра Великого идет самое хорошее правительственное отношение к иностранному предпринимательству. Изложив это, она подумала и приписала: "С другой стороны, в Европе принято смотреть на Россию и на торговлю в ней иностранцев, как на какое-то Перу — приходи и обогащайся".

Она гуляла с гостем-философом в Эрмитаже, и к ним присоединился великий князь с супругой-принцессой Гессен-Дармштадтскою. С сыном у нее была в обиходе постоянная ровность, но, как видно, француз нечто заметил и принялся преувеличенно восторгаться острым умом наследника. А тот с упорством продолжал пыжиться и недовольно морщить губы: точь-в-точь эйтинский мальчик, каким всегда его помнила. Даже прыганье при ходьбе и нелепое маханье рукою было как у отца. И еще ослиное упрямство. Что великий князь не чей-то другой сын, а именно покойного мужа, она ощутила суть не при самом его рождении. Каждую минуту жизни помнилась та ночь, когда после любимых объятий явился к ней чуждый, противный ее естеству человек и вызвал такое же немислимое чувство...

Может быть, и пересилилось бы в ней это непреодолимое состояние гадливости к собственной своей плоти, если бы держала его на руках, давала бы из груди молоко, прикрывала от опасностей. Но теткамператрица отстранила ее так, что лишь раз в неделю могла посмотреть на сына. А потом уже никакой Панин не был в состоянии переделать натуру...

Натужно поклонившись и дернув головой, великий князь Павел Петрович удалился, поспешая чуть впереди супруги. Гость-философ заговорил, что наследнику престола надо бы сидеть рядом с нею при решении государственных дел, чтобы приучался к будущей роли. Потом, на счастье, вдруг увидел на стене два знакомых полотна и подскочил к ним:

— Ах, ваше величество, эти Пуссены сделали меня мошенником. Мое оправдание лишь в том, что они

висят здесь, перед глазами величайшей женщины всех времен, которая оставит их вместе с другими великими картинами в наследие своему народу!

Она уже слышала про то, как сосед господина Дидро, известный в Париже мот и игрок маркиз Конфлан приказал своему управляющему продать эти картины в течение одного дня, чтобы уплатить долг чести. Узнав про то, господин Дидро, посоветовавшись с известным знатоком Менажо, предложил за них тысячу экю. А когда привели их в порядок и очистили от вековой копоти, то захотели уже перекупить на месте за десять тысяч. Но великий ее библиотекарь уже запаковывал их для нее. В ее эрмитажном каталоге Пуссенеры полотна теперь значились под номерами 1414 и 1415. На первой видится играющий на флейте Полифем, а внизу луг с пастушками. На другой — пещера и Геркулес, занесший палицу над поверженным Какюсом¹.

Не только с Пуссенами, а по поводу лучшей во Франции и Европе коллекции Кроза, купленной для нее гостем-философом за 460 000 ливров, выражают недовольство в Париже. Господа де Бетюн и де Брольи прямо обвиняют господина Дидро, что в угоду своей подруге — русской императрице — задешево вывез оттуда целый корабль бесценных шедевров. Она же подсчитала, что усердие к ней господина Дидро только лишь на картинах оставило в русской казне не менее двух миллионов ливров, не считая, в какую цену сделаются потом...

— Конкурсы положат конец несправедливостям, называемым протекцией и милостью. Ваше величество будете раздавать только почести и богатства, а остальное станет достоянием заслуг и добродетели. Все сословия сблизятся. Дочь и сын Цицерона, вчерашнего выскочки, вошли в лучшие семьи Рима...

Но что всего важнее, мне кажется, так это то, что, пока конкурсы существуют, золото перестанет пользоваться первенствующим значением в стране. Отец скажет сыну: "Если ты хочешь быть только богат, то будешь. У тебя будет дом в городе, прелестная деревенская усадьба, собаки, лошади, любовницы, лукулловский стол, всевозможные вина — одним словом,

¹Персонажи древнегреческих мифов.

все земные блага в изобилии. Но, несмотря на все мое богатство, я не могу тебя сделать даже судебным приставом...”

Все с той же улыбкой смотрела она на знаменитого гостя. Занятая мыслями, она пропустила начало очередной его тирады. Он опять говорил по известному ей конспекту Монтескье. У всех них есть где-то невысказанная, может быть, даже и непродуманная снисходительность ко всему, что не достигло мыслительной отметки Франции. Они и короля своего ругают, и общество высмеивают, но на других смотрят как на лишенных всякого понимания. Поэтому самоуверенно учат, не спускаясь до обстоятельств другого народа. Господин Дидерот, как зовут его здесь, не исключение.

Разбежался и ударился в нее, так что едва на ногах удержалась; спасла крепость стана, которая происходит от каждодневной верховой езды. Этот Александр Данилов Оспенный поступал так, когда было ему пять лет. Сколько же ему сейчас? Выходит, что все десять. Она привлекла вдруг к своему животу голову мальчика, погладила по жестким стриженным волосам...

Они тогда все возились с этим ребенком. Граф Григорий Григорьевич Орлов совсем забывался и катался с ним по полу, хохоча и разбрасываясь, будто сам в том же возрасте. А мальчик был неопишимо резок и дерзок: ничего и никого не боялся, поджидал ее и прыгал из засады, делая синяки. Временами она застывала и смотрела на него остановившимся взглядом. Волос трепался у него по лбу, сбиваясь набок...

Она тогда несколько не колебалась, даже тени страха у нее не было. Неделю сидела и изучала предмет. Потом писала к королю Фридриху: "С детства меня приучили к ужасу перед оспою, в возрасте более зрелом мне стоило больших усилий уменьшить этот ужас, в каждом ничтожном болезненном припадке я уже видела оспу. Весной прошлого года, когда эта болезнь свирепствовала здесь, я бегала из дома в дом, целых пять месяцев была изгнана из города, не желая подвергать опасности ни сына, ни себя. Я была так поражена гнусностью подобного положения, что считала слабостью не выйти из него..."

То она писала ему в поддержку духа, потому что воинственный и просвещенный Фридрих до смерти испугался прививки. В Европе против нее возражало большинство медицинских факультетов, и все колокола гудели против такого противного разуму дела: взять кровь от больного и перенести здоровому. Здесь вокруг нее крестились и вздыхали, когда завела о том речь.

Она призвала из Англии доктора Димсдаля, у которого из шести тысяч привитых умер лишь один. Безо всякого ажиотажу привила себе болезненную кровь, взятую от этого самого мальчика. И сразу же весь Петербург бросился делать прививки, проталкиваясь вперед по чинам и дворянству. Через неделю, проверив себя, она привила оспу сыну. Граф Орлов сразу же за ней принял прививку и, несмотря на докторские запреты, поскакал в тот же день на охоту. Да только ничего с ним не случилось...

Потом все было обиходно для государственного смыслу. В соборной церкви Рождества богородицы при сенате, правительстве и народных депутатах, что в преддверии войны кончали тогда свои заседания, старший из сенаторов и депутат Кирила Разумовский говорил к ней речь: "Прими, всемилостивейшая императрица, из уст наших усерднейше приносимое тебе от всего народа поздравление о исцелении твоей собственной особы и твоего вселюбезнейшего сына и наследника. Прими и благодарение чистосердечное за спасение на будущие времена бесчисленных твоих рабов. Всякий возраст и обоего пола род человеческий объемлет твои ныне стопы, почитая в тебе божию ко спасению своему посредницу и, твоим примером научая, призовет бога в помощь, да исцелет он и дом его от неминуемой язвы посредством врачевания, тобой ныне оживотворенного". Она же отвечала: "Мой предмет был своим примером спасти от смерти многочисленных моих верноподданных, кои, не зная пользы сего способа, оного страшая, оставались в опасности. Я сим исполняла часть долга знания моего, ибо, по слову евангельскому, добрый пастырь полагает душу свою за овцы. Вы можете быть уверены, что ныне и паче усугублять буду мои старания и попечения о благополучии всех моих верноподданных вообще и каждого особо".

А мальчика этого она тогда взяла на время к себе и возвела в дворянское звание, заменив ему фамилию на Оспенный. Только никак не предполагала, чтобы так быстро вырос: чуть не до плеча ей достаёт. Она справлялась о нем прошлым летом, как поживает в кадетях, а сегодня вдруг позвала его к себе. Нечто неясное при его виде стиснуло ей грудь...

В одиночестве будуара подошла она к зеркалу. Долго и спокойно смотрела: в матово-белом лице *той* женщины, которую там видела, не отражалось никакого чувства. Все было в нем изучено ею до последней черточки. Неужели ей уже сорок четыре года?..

Мальчика с разбросанным волосом больше не было. Этому, который вытянулся ей до плеча, она дала гостинцев и велела отвезти назад в корпус. Он опять прыгнул на нее из засады, но совсем не так. И тот, кто катался с ним по ковру, где-то в другом месте...

Граф Григорий Григорьевич Орлов — совершеннейший из мужского рода. Ослепительная улыбка его никогда не пропадала. Не в кабинетах ему, а в цорнсдорфской свалке и на невском льду место. И что древних героев телом и статью повторяет, все правда. В московскую чуму, когда дома с мертвыми грабили и архиерея забили кольями, бесстрашно на коне въехал и в три дня порядок навел. Говорить тоже способен твердо и образно. А умом не изощрен, так разве не таковы мужчины? Когда редкий из них действительный ум приобретает, то как бы уже и не мужчиною делается...

За ту чуму ему была выбита золотая медаль, и князем империи его сделала. Будто торопилась осыпать его наградами, готовя к неизбежному. От одного ее женского чувства такое бы не произошло. С первого же года он не имел для нее некоего высшего значения и входил в обиходную необходимость. И дальше все бы продолжалось, но только не один Панин или Чернышев с Румянцевым, но в народе и дворянстве обозначилась оскомина от того орловского самомнительного успеха. Черта, через которую переступала, не теряла четкости, и она минуту не колебалась в своем решении. Почему же где-то внутри будто некая струна дребезжит?..

Дверь отворилась, и он вошел. Она с тем же спокойствием смотрела на него. С этим и не надо было назначать себе черты. Улыбнувшись по-доброму, во весь рот, он приступил раздеваться...

Она мысленно повела плечом, с легкой иронией вспоминая, как Панин с Чернышевым и партия Разумовского хотели втолкнуть ей в постель каждый своего Аполлона. Но то она сама сделала между ними выбор, а где-то в стороне искать не было времени и желания. Князя Орлова, в молчаливом согласии с другими, она направила в Фокшаны. Оттуда прискакал весь встрепанный, со злой растерянностью на лице. Она знала, что в здешнем народном обычае установлено бить разлюбившую женщину кулаками по лицу или учить вожжами. Гришка подбежал и замер у черты, которую некогда наметила между ними. Она вела себя с ним с обычной ровной приветливостью, будто ничего не произошло. А он встряхивался и недоуменно оглядывался, так ничего и не понимая...

— Базилка... милый... Ах!

Это все, что она говорила, вынужденная чувством. И он не претендовал на большее: лежал, большой, белый, улыбался всем своим добрым, открытым лицом. Его так и звали все гвардейские друзья и даже прислуга между собой. То было производное не от имени, а по фамилии: Васильчиков. По всей вероятности, от младших князей он происходил, откуда переехался и характер...

Безо всяких ухищрений распоряжалась она с ним: руководила перерывами, назначая их продолжительность, потом лежала и думала о других делах...

То она вдруг поняла когда-то, сидя в Комиссии по уложению и слушая депутатов. Теперь же опасность встала перед ней во всей своей реальности. Когда идеи гостя-философа, которые и для Франции не до конца вызрели, соединить с орловским размахом, то что могут родить, соединившись, такие две идеальности? А мир необходимо с Портою иметь не из-за Польши или Швеции, и даже не от общей французской интриги. В синем конверте на ее столе лежало письмо московского губернатора князя Михаила Никитича Волконского о том, что самозванец занял Самару...

Монтескье с Орловым опасно соединять из-за исторически обусловленной разности их чувств и устремлений. Ну а как найдется кто-то придумавший соединить графа де Ла Бред де Секонда с маркизом Пугачевым, то что может из того выйти для человечества!..

II

Он оставил весело настроенного владельца дома и побегал наверх в свою комнату записывать, чтобы не упустить слов из состоявшегося при нем разговоре. Такое редкое наблюдение, безусловно, составит ценность для императрицы. Ему же, странствующему философу, даст материал для постановки ей вопросов, направленных к дальнейшему познанию этой страны и народа. Долг порядочности не позволяет ему называть имя гостеприимного хозяина и поэтому составит как бы отвлеченную драматическую сцену между неким вельможей и его кредитором.

В е л ь м о ж а. А! Это вы!

К р е д и т о р. Да, ваше превосходительство.

В е л ь м о ж а. Что хорошего?

К р е д и т о р. Я пришел за тем...

В е л ь м о ж а. Садитесь, пожалуйста!

К р е д и т о р. Много чести, ваше превосходительство. Я пришел...

В е л ь м о ж а. Садитесь же, коли я говорю! Что, вы озябли?

К р е д и т о р. Я насчет срока векселя...

В е л ь м о ж а. А не хотите ли чаю? Выпейте чайку!

К р е д и т о р. Ваше превосходительство так добры...

В е л ь м о ж а. Вы любите музыку?

К р е д и т о р. Да... немножко, ваше превосходительство.

В е л ь м о ж а. Может быть, и сами играете на каком-нибудь инструменте?

К р е д и т о р. Нет, ваше превосходительство.

В е л ь м о ж а. Но ведь вам же музыка доставляет удовольствие?

Кредитор. Точно так, ваше превосходительство.

Вельможа. Подайте мне скрипку!

Кредитор. Но я пришел, ваше превосходительство...

Вельможа. Да, да, я знаю. Зайдите в другой раз.

Дело здесь состояло не в том, что благородный человек, за неимением в данный момент денег, избегает заплатить долг. Такие казусы каждодневно происходят в Париже, Лондоне и Мадриде. И попавший в столь неудобное положение тамошний вельможа тоже изыскивает способы отсрочить расчет по векселю, однако делает это со всей серьезностью и пониманием неотвратимости расплаты. А мосье Нарышкин как будто и не чувствовал свою вину, но совершенно открыто третировал человека, от которого был зависим.

— Эй, Денис Иванович!

То был голос любезного амфитриона, с первого знакомства звавшего его так на русский манер. Когда по приезде его сюда господин Фальконе, бывший его друг, у которого предполагал остановиться, показал непонятную и не заслуженную им холодность, он оказался в весьма затруднительном положении. И тогда, по личной рекомендации ее величества, он поселился у одного из близких к ней сановников, а именно в доме у господина Нарышкина, человека больших достоинств, но с несколько неожиданными привычками.

Господин Нарышкин ждал его внизу в том же атласном с серебряными звездами халате, в котором разговаривал с кредитором.

— Позвольте осведомиться у вас, дорогой друг, какие мотивы или обстоятельства тому причиной, что столь необыкновенно поступили с человеком, одолжившим вас необходимою суммою? — спросил он.

Амфитрион вытаращился на него с удивлением, потом громко захохотал:

— А такая причина, что пошел вон, и все!

— Но этот человек, безусловно, опять вернется за принадлежащими ему деньгами.

— Ну и пусть вернется, — хладнокровно отвечал господин Нарышкин.

— Однако у него есть возможность прибегнуть к закону, которому обязаны повиноваться и монарх, и самый ничтожный его подданный.

— Ну и пусть прибегает.

Здесь было что-то непонятное.

Он и прежде с друзьями, не бывая еще здесь, удивлялся, как живет этот народ, по существу, без сословий. Когда в государстве одно лишь сословие, то его таковым и числить нельзя. Понятие "сословие" в самой сути своей предполагает наличие еще одной или нескольких паритетных сторон. Тут же всевластно было лишь дворянство, а перед тем — боярство, да и то царь Иоанн Четвертый попытался его снивелировать с прочим народом, оставив в качестве преторианцев при себе безродную и внесословную опричину. Петр Великий тем же византийским усилием наметил пути для торгового и предпринимательского сословия, да только вон как с ним поступает господин Нарышкин...

Однако тем не менее эта держава живет и процветает. Ее величество, может быть, и увлекается, когда рассказывает, что сама наблюдала у поселянина в повседневном супе индейку, поскольку на курицу уже и смотреть здесь не хотят. Так поступает она, вероятно, от болезненного в ней патриотизма, который, кажется, является единственным недостатком этой удивительной и великой женщины. Но сам он видел стройные железные ряды гвардии на Марсовом поле, смотрел доки и ездил специально в санях рассматривать дворцы и бездействующие зимой фонтаны в окружающих столицу поместьях. А в рождественские праздники народ, хоть и грубо одетый, катался со снежных гор, громогласно выражал удовольствие и веселился от всего сердца.

Однако не только здесь подтверждался этот феномен. Недавняя угроза всей Европе, непобедимая Порта сдвигалась и пятилась с захваченных стран под ударами нового российского колосса. В прошлом веке еще не существовавший флот поджигал и топил знаменитые султанские армады в собственных их водах.

И то неоспоримо, что при всей еще очевидной общественной неразвитости именно эта держава исполняет цивилизаторскую миссию в немых континентальных пространствах, откуда волнами являются Чингисханы и Атиллы.

А патриотизм ее величества уже точно идет от ревнивого женского чувства. Если всячески унижает он французские законы и своего короля, то вовсе не значит, что философ и человек Дени Дидро не любит своей Франции. То, может быть, высшая форма любви и уважения, и когда народ достигает ее, значит, созрел для истории. Самолюбованием занимаются лишь варварские народы.

Но императрица забыть не может незадачливого аббата и астронома, который имел несчастье дурно отзываться о русских нравах. Еще и господин с полным именем Пьер-Поль Ле-Мерсье-де-ля-Ривьер-де-Сен-Медар, которого сам он имел несчастье рекомендовать в качестве экономического гения ее величеству, стал по приезду сюда держать себя, как на Мартинике, где исполнял когда-то королевскую службу среди индейцев. Императрица с достаточно серьезной шутливостью отзывалась о нем, что явился с проектом научить русских ходить на двух ногах, поскольку предполагал их находящимися на четвереньках.

Даже на него самого, как стал он замечать, ее величество смотрит с некоторой двусмысленностью. Но он повторяет ей чуть не каждый день: "Я философ такой же, как и все другие, то есть благородный ребенок, болтающий о важных материях. В этом наше извинение. Все мы хотим добра, почему и говорим иногда весьма зло. Тиран при этом хмурит брови, а Генрих Четвертый и ваше величество улыбаются". Выражение ее лица не меняется при этом, но он хорошо знает ее слабость к не имевшему предрассудков королю, от которого и взяла пример народного довольства в образе куриного супа. Индейка в этом случае как раз пропорциональна размерам страны...

Как-то в беседе с ее величеством он все-таки попытался поделить русское общество на четыре сословия. Она ничего не ответила, только загадочно посмотрела на него. А потом как раз и принялась рассказывать об индейке в крестьянском супе...

Все до сих пор написанное им было лишь рассуждениями. Тут же возникла реальная возможность победоносного опыта. Этот народ поразил его первоначальной мудростью...

Кричал и бесновался начальник, а они стояли, держа шапки в руках, с лицами древних греческих мыслителей. Ни одна черточка на их лицах не выражала ни восторга, ни осуждения. В глазах сохранилось природное тысячелетнее спокойствие, и эта мудрость была выше любого книжного аргумента. У него даже сердце остановилось от радостного предчувствия. Именно с ними четко обозначилась возможность прийти к практическому результату. И справедливый случай назначил сюда руководительницу с философским складом ума и характера. Такое стечение обстоятельств выпадает раз на миллион лет, и нельзя было проходить мимо...

Эту многозначительную картину он обнаружил уже во второй день пребывания здесь, когда заглянул в соседнюю с домом господина Нарышкина улицу. Мужики, как называют этих людей, стояли недвижимой массой, а было их человек по двадцати. Начальственное лицо в образе кавалера с круглым багровым лицом стремительно ходило перед ними взад и вперед, отрывисто произнося неизвестные ему короткие слова. Вдруг щеки и лоб у кавалера еще больше побагровели, он подбежал к крайнему в ряду мужику и что есть силы ударил его кулаком по лицу. Тот не защитился руками, даже не отклонился, и продолжал стоять с истинно олимпийским спокойствием и невозмутимостью в глазах. А кавалер подошел к другому и произвел то же действие. Здесь тоже спокойствие не было нарушено. Так же повторялось с третьим и четвертым. Но перед пятым начальственное лицо вдруг повело себя по-другому. Оно занесло далеко назад руку, но остановилось в этой позе, словно бы в вольном беге натолкнулось на некую преграду...

То был такой же мужик в свободной русской одежде и с плетеной наподобие корзин обувью на ногах. И взгляд у этого мужика был спокойный. Но что-то в нем содержалось непонятное, от чего кавалер прибрал руку и заметался в разные стороны, продолжая кричать неестественно высоким голосом, но больше не пользуясь руками...

Это был превосходный материал для строительства практической фигуры: природное терпеливое великодушие, не испорченное развратом многовековой европейской метафизики, и присутствие внутренней силы. Когда каждый пятый такой, то этого в избытке хватит для развития общественного организма по установленной разумной схеме. Размахивающему руками кавалеру придется подчиниться тогда законам логики.

И в высших общественных классах повторялась традиция. Тут братья Орловы были великолепнейшим примером природной потенции этого народа. В поступки и поведении, в повороте головы чувствовались начальное патрицианство и отвага, свойственные высоким душам. Он сам беседовал со старшим Орловым о своих схемах переустройства русского общества, и князь со всем соглашался. Ее величество опять как-то странно посмотрела на него, когда рассказал о том разговоре. Не только императрица, но некоторые другие, даже слуги, временами так смотрели на него. Будто знали некую тайну, которую ему невозможно постичь.

Неужто он говорит какие-то непонятные вещи? Ведь все это по человечеству очень просто. Хоть те же конкурсы, чтобы двое или больше людей претендовали на одно правительственное или другое место и соревновались друг с другом, объясняя свою программу. Последствия такого назначения на должности очевидны. На отдельном листе он написал это ее величеству: "Я знаю одно только средство спасти народ от пустоты и посредственности. Вот оно: я делал бы, чтобы все должности в государстве, даже самые высокие, замещались по конкурсу, не исключая канцлера..." И, учитывая человеческое несовершенство, прибавил потом: "Удоставляйте конкурсы своим присутствием, но остерегайтесь высказываться за кого-либо: ваш голос тотчас же потянет за собою голоса льстецов, а этого рода скотина повсюду водится".

По методу учителей древности он отстраненно и холодно проверил свои ум, чувства и устремления. Ничего, кроме искреннего желания принести пользу этому народу, который еще издали манил его некой недосказанностью, в нем не было. Как всегда, когда брался за какую-то проблему, сейчас это чувство на-

столько выросло в преданность, что без него невозможно стало понятие ДИДРО. Еще во Франции он яростно спорил, если кто-то говорил что-то уничижительное о России. Каковы корни такого сравнимого с любовью отношения к другому народу, когда даже недостатки предмета, вопреки реальности, возводятся в достоинства? Он поймал себя на том, что думает о себе, как о ДИДЕРОТЕ...

С тем кредитором-портным, снабжающим гардеробом господина Нарышкина и его домашних, все продолжалось с прежним логическим несоответствием. Не называя имен, он сделал приписку к драматической сцене: "Заходят в другой раз, и вельможа говорит, что ему это надоело; заходят в третий, вельможа сердится; заходят в четвертый — и он уже бранится. А в пятый раз кредитора принимают так, что в шестой он уже не придет".

Господин Дидро сидел и грыз перо, вспоминая своего отца, верного цеховой чести ножовщика из Лангра. Кровь вдруг ударила в голову. Он отбросил скомканное перо, схватил новое и записал: "Такая сцена может возбудить смех, но над ней в сущности стоит задуматься. Я не люблю, чтобы люди платили долги игрой на скрипке: это хорошо для сцены, а в обществе никуда не годится"

Когда он показал всю сцену вместе с припиской императрице, то снова ощутил на себе тот загадочный взгляд...

"Государыня!.. Вы мне запретили прощаться с вами. Я должен подчиниться Вашей воле и избавить Вас от зрелища моей скорби. Да, государыня, большой скорби; могу уверить Ваше величество, что расставаться с Вами мне так же горько, как было горько расставаться с своей семьей, когда я уехал сюда, чтобы засвидетельствовать Вам мою благодарность и уважение. Никогда родные и друзья не получали и не получают от меня более сильного доказательства любви и привязанности, как то, что я отрываюсь от Вас, чтобы вернуться к ним. Я возвращаюсь, осыпанный благодеяниями Вашего величества и полный восхищения перед Вашими редкими качествами. Всю

жизнь буду радоваться тому, что собрался приехать в Петербург.

Повторяю Вашему величеству свои горячие пожелания доброго здоровья и процветания; да не встретитесь Вы с вашим другом Цезарем раньше, чем в восемьдесят лет, как Вы мне обещали, тем более что и спешить Вам незачем — Цезарь Вас ничему не научит.

Я не прошу для Вас у судьбы ничего, кроме простой справедливости. Если она меня послушает, то история, не указывающая нам в прошлом ни одной женщины столь удивительной, как Екатерина, не укажет нашим потомкам ни одной и столь счастливой...”

Накануне он едва не упал в обморок при мысли о предстоящем с нею расставании. Она крепко сжала ему руку и со своей неизъяснимою улыбкой сказала, что никакого прощания не будет, так как ожидает его опять к себе в самое ближайшее время. Когда он писал это прощальное письмо, то держал платок у глаз, чтобы не замочить слезами бумагу.

Он знал, что изменные души, имеющиеся при каждом дворе, говорили здесь, что приехал кланяться за прошлые благодеяния и выпрашивать новые. Правда, что после настойчивых уговоров, равноценных приказу, взял от ее величества три тысячи рублей, равных двенадцати тысячам шестистам французским ливрам, но на них тут же купил две картины и редкую эмалевую брошь ей в подарок, а также подарки петербургским друзьям. От нее он захотел взять лишь чашку, в которой ему ежедневно подавали у нее молоко.

— Нет, чашка разобьется, и это ранит вашу чувствительность! — сказала ее величество и в день отъезда прислала к нему на сердоликовом камне свой великолепный портрет. Он твердо намеревался сам оплатить обратную дорогу, но от нее был предоставлен экипаж, необыкновенных размеров русская шуба и провожатый — господин Баль...

Нет, он не заснул, покачиваемый на тающих под мартовским солнцем дорожных сугробах. Просто в уме и чувствах продолжался диалог с самим собой и с теми, кто оставался в русском полугодии его жизни. Он с пылом говорил:

— Невозможно не согласиться с тем, господа, что

конкурсы, как и свободный обмен словом, есть необходимые предпосылки развития народа, государства и общества, обязательное и ничем не заменимое условие их совместного и гармонического движения к национальной и общечеловеческой цели. В чем же причина, что не воплощается это в вашей практике?

Кто-то, ему показалось, зевнул даже от его непонятливости:

— А такая причина, что пошел вон, и все!..

Это было сказано даже без злости, а так, будто отмахиваются от назойливой мухи. Голос был удивительно знакомый: то ли господина Нарышкина, то ли князя Орлова.

— Но это не соответствует элементарной логике! — крикнул он.

— Ну и пусть, — ответил все тот же безразличный голос.

И тут же он ясно увидел на себе загадочный взгляд императрицы...

Очнувшись, господин Дидро оглянулся назад: там, слитая с лесами, стояла густо-синяя завеса. Потом он посмотрел вперед. Одинаковые деревца были аккуратно рассажены вдоль ровной линии домов с черепичными крышами. Ему вдруг сделалось скучно...

III

Ростовцев-Марьин ходил по горнице медленным, утвердившимся шагом. Прошлым годом перестеленный пол не скрипел. Правда, годовое офицерское жалованье ушло на поддержку усадьбы, зато все сейчас на месте: крыша, пол, новые, с ростовецкой резьбой ворота.

Едва заключили с турками мир, как на другой день его полк спешно замаршировал в северо-восточную сторону. Поскольку маршрут находился вблизи его отчины, он отъехал сюда на неделю с тем, чтобы догнать их на подходе к Волге...

Тот пожар, что разгорелся с Яика, не вызвал у него удивления. Там, на воле степей, скручивалось в вихре и размахивалось все, стиснутое здесь острогами, лесными завалами, воинскими кордонами. Подспудно он ожидал этого и знал каждого из них, кто увлекается

тем вихрем под знамена самозванца. Здесь могли быть и известный ему кузнец, бравший Хотин солдат, насильно крещенная мордва, перессоренные друг с другом кайсаки с башкирами, русские и татары с соляного городка, беглые неизвестного рода и имени, что селились вокруг степного форпоста. С ними же обязательно находились Кривоглазый и перс с удушкой, или ворующие девок жигари. Кто же из всех возьмет между собой верх и что будет делать с Россией, если бог дозволит совершиться такому случаю? Он невольно потрогал руками шею, где сохранился узкий след от сплетенного волоса, которым душили его когда-то в остроге...

Теперь он стоял у окна и гладил рукою знакомый круглый предмет, теплеющий от прикосновения его пальцев. Во дворе мать с девкою-племянницей ощипывали гуся — ему в дорогу. Пух вырывался из-под их рук и улетал ввысь со свежим, пахнущим близкою осенью ветром...

Куда бы он тут ни смотрел и где бы ни находился, всегда чувствовал спиною, всем существом некое место. Там, от угла с образами, по всей стене и к двери были в ряд протянуты доски одна над другой, прикрытые сверху резными дверцами. Их он сам делал. Даже и в отдалении, у стен Силистрии или в польской Пруссии, это присутствовало с ним. "У вас русское чувство к книгам!" — сказал ему когда-то пан Мураховский, наблюдая, как он бережно укладывает их в рундучок. И пояснил: "У народов свободных отношение к книгам более легкомысленное. Библию обоготворили рабы".

Здесь, вдоль стены, и лежали книги. В сентенции старого шляхтича содержалась некая правда. Собранные вместе, они ощущались, как выстраданная человечеством высшая истина. Даже и легкомысленные из них обогащали опытом от противного. Тут составлялся *диалог*, при котором обязательна победа разума. Лишь в безоглядном монологе прячется глупость. Об этом тоже говорится в тетрадах вяземского дворянина, что лежат здесь в общем ряду.

А еще они соединяют людей — хоть та же книга, обоготворенная рабами. Высокая мудрость Астафия Матвеевича Коробова или пана Мураховского произошла не из пустого места. Никогда не видевшие друг

друга, они думали и чувствовали одинаково благородно. Представленная в образе рыкающей львицы история хоть с тою же Польшей ныне являет свое свирепство, как являла его в обратном порядке — от Польши к России полтора века назад. Только никогда не разделит сей царственный зверь его с паном Мураховским, и книги тому первой причиной. Как видно, тут путь единения человечества, чтобы вместо рыканья посредством чувства и разума говорить друг с другом...

Смерч, что катился сейчас по Волге и Яику, как раз и дул навстречу той львице. Их правда была в невыносимости дальнейшего терпения, когда кипятки льют на голое тело, но с тем эта холодно-рассудочная муза никогда не считается. Ей они мешали идти дальше, так как ни на минуту не должна задерживаться на месте. Где-то впереди у нее была цель. Держава российская еще не исполнила свое назначение, чтобы разрушать этот порядок жизни. Не самому убогому порядку, а той высшей цели честно служили все Ростовцевы-Марьины, служит он сам. А название всему — Россия...

Серебро в руке сделалось горячим. Он долго смотрел на овальный браслет, лежащий на ладони. Чуть намеченные линии загадочно кружились, повторяя вихри кайсацкой степи. Маша умерла прошлым летом, как раз когда обновляли усадьбу. Вот и ее судьба неотделимо вошла в то общее круговращение мира, об которое ударится и разобьется гудящий ныне по Руси смерч. Зато ускорит сей случай соединение в истории тех разных народов, что закружились там вместе в яростном и справедливом размахе...

Он писал свои мысли в тетрадь и были эти тетради как бы продолжением записок вяземского дворянина Коробова, переданных ему в память и поучение. Зачем делал это — он не думал. Может быть, сыну стодитя, что сейчас заканчивает классы в кадетях, или в нуку, но писать было необходимо.

I

Она любила ощущать коленями мощь великолепного животного и сидела в седле как влитая. Та мужская посадка всегда ей ставилась в укор, в европейских газетах даже об этом писали. И любимый аллюр ее был курц-галоп. Пятнадцать верст в день обязательно скакала так после сорока лет, а перед тем ездилась больше. Великою княгинею когда-то по полному дню не слезала с лошади. Ветер гудел в ушах...

Да, то бессмысленное и беспощадное революционерство вдруг обнаружилось перед нею зияющей бездной. Не в одном самозванце, а в каждом окружающем и даже в ней самой. Такова она есть, подлинная русская царица Екатерина Алексеевна, и тем только рознится от остальных, что может смотреть на себя из-за черты. В остальном у нее тот же размах, который отличает этот народ. А в нем и смертельная опасность.

Исходящая из идеала крайность здесь во всем: в каждом из Орловых, в боготворящем старину ярославском князе, в безмерной солдатской отваге. Даже в превосходном от всех прочих народов терпении, каковому дивится Европа. Не поддающееся смыслу обожание к ней орлеанской девицы из того же ряду. Базилка со своей добродушной ленивостью лишь подтверждает с другого конца все ту же природную особенность. Великий ум Европы, не пробыв тут и полугода, поддался этому русскому неотразимому чувству.

Горел храм, корчились и кричали объятые тяжким дубовым огнем дети. И когда выползали из пламени, матери втаскивали их назад. Старцы, поднявши к небу пылающие бороды, пели ровными тягучими голосами. Всякую неделю читала она писанные безразличным слогом донесения о том, хотя с первых дней повелела не трогать староверов...

Всякая проникшая сюда умозрительная идея найдет готового к действию инсургента. Тут достаточно формальной логики, оглушения криком и приманки правдою в будущем. Те же люди и станут революционерами — от Гришки Орлова до ярославского князя,

других нету. И исполнять все будут с той же природной отвагой. Впрочем, и все другие тут революционеры — стоит только приказать. Ну, а каково будет, если такую простейшую программой оснастить следующего, более широкого умом самозванца? Примеров предостаточно, сколь легко здесь схватить власть...

Теперь она ясно видела врага. Не в интригах вокруг, не во французской или австрийской ревности и даже не в самозванцах дело. России, которую выражает, идти общим с человечеством путем, терпеливо настигая пропущенное и не отвлекаясь на лукавые обещания какого бы то ни было чуда. Ее способность смотреть из-за черты здесь к месту. А посему всех, кто в наличии, привлекает она к делу. Хоть того же поврежденного князя, что бредит стариной, или орлеанскую девицу, очаровывающую сейчас в Европах королей и философов. Ну а Гришка Орлов с Чернышевским да упрямствующий Панин давно уже этому служат...

На таком пути неоспоримо ее право твердою рукою устранять какие бы то ни было препятствия. Сама судьба законно помогает ей, ибо, что бы там ни происходило, не давала она приказа ни об эйтинском мальчике, ни об Мировиче. Вот со лже-Таракановой был ее приказ. Своею рукою написала: "Поймать бродяжку!" А еще велела Алексею Орлову бомбардировать италийскую Рагузу, если не захотят выдать сей твари, что представляла себя в Европе за дочку Елизаветы Петровны от Разумовского. Лишь путалась в отцах, не различая графа Алексея Григорьевича, впрямь повязанного с императрицей гражданским браком, о гетмана Кирилы Григорьевича.

Только Алексей Орлов — законченный революционер: влюбил нарочито эту мерзавку в себя, и сама прибежала к нему на корабль. Газеты морщатся по этому случаю, ну да пусть. Самозванка докашливает кровью в крепости. Сам бог вот-вот распорядится ею, так что и здесь ничья в этом вина.

Ровный устойчивый ветер нес ее вместе с конем, облаками, летящими птицами. Даже не ветер это был, какой смутно помнила из детства. Там, разделенный

на части скопищами городов, теряющий силу в их каменных закоулках, он дул порывами, как рвущаяся из сети птица. Здесь не ограниченная струя, а весь воздух сразу двигался от края и до края земли. Когда-то, въехав сюда, она сразу уловила это могучее и неотвратимое континентальное движение...

А с самозванцем она поступила, как и обещала гостю-философу. Только не в три месяца был пойман, а почти год еще гулял на воле, задерживая исполнение предназначенного этой державе. Полк за полком с лучшими генералами отрывала она от главного дела, и, словно в тесте, вязли они в разбегающихся и снова сходящихся за их спиною десятикратно увеличенных толпах. Все там было лишено логики, и невозможно оказывалось предвосхитить такого противника. Уже и Суворова приготовила, сама рвалась ехать в Москву противостоять узурпатору. Тут среди ночи бог подал ей некую мысль...

Без сна лежала она и думала, как поступить дальше. Одна и та же картина вставала перед глазами, которую рассказал ей бывший в плену у бунтовщиков офицер. Самозванец силился вести себя с превеликим достоинством: подавал вид, что понимает французскую речь, со вниманием читал депеши, не разбирая грамоты. Также где-то взятый ее портрет и наследника возил с собою. В один из вечеров, будучи пьяным, плакал искренними слезами и, простирая к портрету руки, с подлинною горестью восклицал: "Катька... изменщица!"

Вот тогда поняла она, что надо делать. Не генерал Кар, не даже Голицын или Бибииков с Петром Паниным постигнут ту невероятную стратегию. Здесь необходим ум, оснащенный опытом, одинаковым с теми, противу которых действует. У римлян она читала, что никого нет лучше раба для разговору с рабами. Среди остзейских офицеров у нее был некий неулыбчивый подполковник с круглым лицом. Его имя и прочитала, когда под Уфою был разбит один из главных сподвижников самозванца. А помнила то имя из бумаги, которую дважды уже откладывала в сторону, не давая ей ходу. Там значилось, что оный заслуженный офицер в самом деле беглый крепостной

мужик от эстляндских имений, и требовали возвращения его назад в то же состояние. Она взяла снова к себе эти бумаги и написала резолюцию: "Произвести в полковники!"

В два месяца было все кончено. Полковник Иван Михельсон не давал бунтовщикам минуты покоя и со своим отрядом из кавалерии, пехоты и артиллерии всякий раз оказывался точно на том месте и в то время, когда туда приходил самозванец. А после окончательного разгрому окружавшая того сволочь выдала своего вождя, как и обязано было случиться.

Сама она от начала до конца руководила и читала следственное дело. Хоть и были в рядах бунтовщиков три или четыре поляка, но ни от какого европейского двора не пахло здесь интригою. Состоялся лишь тот самый без расчета русский размах. Не дай бог, явилось бы откуда-нибудь злое желание вооружить таковой бунт политическим лукавством, то и Европе бы не поздоровилось...

Когда решался способ лишения жизни для самозванца, она с полминуты думала. Вдруг послышалось: "Катька... изменщица!" Она подписала приговор и без всякой улыбки сказала уезжавшему для исполнения в Москву генерал-прокурору: "Никогда не попадайтесь мне на глаза, если станут говорить, что заставила кого бы то ни было претерпеть мучения!" Потом говорили и в европейских газетах писали, что бунтовщику и разбойнику Эмилиану Пугачеву палач по ошибке вначале отсек голову и четвертовал уже безжизненное тело...

На середине восьмой версты, у столетнего дуба, конь сам привычно вздернулся на дыбы, подержался так некоторое время, подобно Фальконетовой фигуре, долженствующей стать на гранитной скале перед Невой. Затем, не опуская копыт, конь заплясал в полукруге и поскакал обратно. Ветер теперь дул в лицо, наполняя грудь и теребя вольно отпущенные в езде волосы. По этой дороге никто не ходил, когда проезжала здесь, а где-то по сторонам были расставлены караулы. Самозванцы один за другим являлись в эти два года, и разного можно было ждать. Еще Гришка Орлов позаботился обо всем...

День ее не менялся. Только писательство оставила в сторону с того дня, как гость-философ в изящно-превосходных степенях возносил ее пьесы. То стоило усилий — тушить в себе муки отверженности от Парнаса. Зато все первое утреннее время отдавала историческому розыску. Целая комната была занята старыми манускриптами, и все секретари ее работали на то.

Здесь тоже было дело Петра Великого. Для самоутверждения народа и державы и чтобы не сбивался на сторону политическими лукавствами, необходимо было составить цельную и логическую картину его истории от самых древних корней. С великой тщательностью вела она точный счет старорусских князей от трех летописных братьев в дальнейшем перемещении их с прибывающими от запада и востока знаменитыми мужами и женами. Загадочные пробелы в множественности княжений, являвших Русь, требовали терпеливости и упорства для точного установления истины.

Те споры между российским Великаном и Миллером-Сибирским не имели смысла, поскольку не так все было здесь одну и две тысячи лет назад. По всему выходило, что некий общий народ с условным именем варягоруссы обживал эти края в содружестве с финскими народами, и тут же находились родственные им славяноруссы. Когда пришли Рюрик с братьями, то не были среди славян вовсе чужими. В те времена ни для чего не имелось границы: ни для какого государства, народа и языка. Все еще только собиралось в единый народ, и самые разнородные части составляли его, добавляясь из века в век. Такое понимание необходимо сейчас для империи, когда на новом, высшем размахе повторяется здесь собирание в единую человеческую общность. От калмыков и до обдоров это делается. Таково обыкновенно и происходит история...

Сойдя с коня, она давала теперь себе час отдыха и еще тридцать минут на переодевание. Мир был непрочный: Польша не успокаивалась, подогреваемые со стороны турки не могли осмыслить необратимость российского прихода на древнее Русское море, с се-

вера злился заносчивый сын рыжей Ульрики. Но следовало использовать даже и эфемерное спокойствие на границах для внутреннего устройства. Еще четыре часа до вечера обговаривала она с советом преобразование и укрепление губерний. Из двадцати теперь их становилось пятьдесят, с относительно равномерным числом жителей. Губернаторам и канцеляриям при них следовало становиться как бы малыми правительствами, поскольку невозможно все усмотреть отсюда через такие дали. Тем самым, однако, укреплялось и делалось действительным истинное самодержавие, без которого никак невозможны спокойствие и порядок в столь обширной державе. К чему ведут республики, уже известно, и если когда-то обретут устойчивость, то поначалу в государствах с незначительной территорией. Чем необъятней страна, тем больше обязано быть сосредоточенности власти. Особенно если она из многочисленных народов составлена. Древние империи тому подтверждение...

Много лет уже сидело это в ней, хоть знала химеричность такой подмены. Вьющаяся по ветру прядь волос вдруг мелькнула ей, когда увозили эйтинского мальчика в последнее недолгое пристанище. Юный сержант из конной гвардии стоял на запятках глухо закрытой кареты. А голос его услышала еще раньше, из орловской светелки во втором этаже дома. Гришка сказал тогда ей, что это Потемкин...

Так было, что, еще будучи с Гришкой, позвала его к себе, и пришел, будто только и ждал этого. Она же смутилась, что никак почему-то не могла устранить его за черту, которой отделяла происходящее в государстве от постели. Поэтому оставила те встречи, чтобы не нарушить правило. То было "Pro memoria" от отца, продолженное ею самой...

Прядь волос, когда-то выпавшая у него из-под кивера, не имела никакого отношения к сказочному, заснеженному лесу. Говорил он и в постели, не горячаясь, с некой хваткой рассудительностью. Когда подарила ему золотую табакерку, принял и незаметно взвесил на руке...

Не было острой скуки по нему. Лишь заметила в себе вдруг некое чувство, над которым смеялась у других. Не хватало чего-то каждодневного, обыденного, в чем необходимо было ей утвердиться. Где-то читала, что прачки имеют внутреннюю потребность штопать белье мужчине, и в том признак простонародья. Только в ней почему такая тоска? Ева была куда как ловчее и жизнеспособнее Адама, но только без него лишалась смысла. Как видно, женщине нужен для чего-то муж...

Тогда она опять позвала его. Не стесняясь, вставала и ложилась, когда было нужно, жаловалась ему на Брюскино нахальство и самомнение, поскольку только с ним звала так четвертьвековую подругу — графиню Прасковью Александровну. А еще рассказывала о трудности исторического поиска. Он слушал и снисходительно говорил советы. Ей нравилось, когда какой-то из них можно было приспособить к делу. Той же графине Брюс с некой гордостью тогда рассказывала, что это не ее, а Потемкина значительная мысль...

Она лежала, приподняв подушку к изголовью. А он вздергивал покалеченным глазом и утверждал необходимость конца запорожской вольницы. Никак не улягутся те в своих спорах с поселенными там сербами, кроме того ссорят без необходимости Россию с турками и поляками, коварствуют с властями. И от самозванца недаром шли к ним письма. В доказательство мысли приводил латинские крылатые слова, чему научился в классах при университете. Она со вниманием слушала, зная все наперед, так как сама вызвала и направила тот разговор. Теперь он проникался этим мнением как бы уже собственным, а она поощрительно внимала его мудрости. Так поступала когда-то еще с эйтинским мальчиком, и лучший это способ управлять в доме и государстве. Обыкновенно с холодным презрением смотрела на тех гусынь, что не в состоянии исполнить такого простого дела.

Про Сечь она все тщательно продумала. Пока угрожал Крым, несомненная была польза от такого военного ордена при границе. Так же и Польше всегда могла пригрозить карательным набегом. Теперь же,

оказавшись внутри державы, запорожское воинство теряло государственный смысл. Выделение их в правах перед другими никак нельзя было терпеть...

Потом он замолчал. Так же привычно, как говорили, они нашли друг друга, и будто век жила с ним, испытала покойное, расчетливое удовлетворение. Лишь для приличия закатывала глаза и произносила: "Ах... мой друг!"

У него своя комната была недалеко от нее, откуда приходил открыто. Награждения и производства принимал он так же, как табакерку, быстро хватая, и ноздри красивого прямого носа чуть вздувались при этом. Говорил ей по-домашнему: "Ты, матушка-сударыня", — и при других держался свободно. Она звала его Григорий Александрович и со спокойствием смотрелась в зеркало. Разделяться надвое, чтобы видеть себя со стороны, тут не было необходимости.

II

С вечера кричал коростель: будто сломанное дерево все никак не падало к земле и скрипело под ветром. Только деревьев тут не было, и ветер утих еще у Черного яра, когда с малым кругом спасшихся верных людей переплыл Волгу и скакал сюда день и ночь, бросая по пути вагнанных коней. Волки неслись следом, поедая их еще живыми. Рычание, костный хруст и покорные вздохи слышались всякий раз из лунной тьмы, потом все кончалось. Стояла мутная горячая тишина...

То была небольшая, рыжеватая птица, которую трудно увидеть среди травы. И она продолжала кричать дурным голосом. Он только раз или два в жизни видел ее во младенчестве, когда с отцом в станице выезжал к Дону на сенокос. Крик тот и запомнился: резкий, наводящий тоску.

Так потом случилось, что вовсе никогда уже не видел больше птиц. Коня у Денисова-полковника он не крал. И немцам его не продавал, а только выгнал в поле и отпустил в тумане, чтобы досадить полковнику. Когда бы это был барин в парике, то, может быть, и не сделал такого. А если полковник из казаков, то пусть не гордится между своими. Денисов уразумел

и велел пороть его, пока голосу не подаст. Да только умер он там...

Ему и вправду казалось, что тогда он умер в Пруссии, а ходил по земле кто-то другой в его облике. Тот, другой, воевал еще потом с турками, по болезни списывался из войска, жил у черниговских староверов в скитах, сидел в Казанском остроге, ходил, не находя себя, по Волге и Дону, по Тереку, пока не сделалось ему тридцать три года. Как раз тогда пребывал он на Яике. И на заимке у казака Пьянова вдруг ему и другим само собой стало известно, что он и есть государь Петр Федорович...

Еще он подумал, что конец пришел лету, в сухую жесткую трубку скрутилась трава, и не может здесь сейчас по-весеннему кричать птица-коростель. Даже вода тут в озерах соленая, и только волки живут, так как пьют кровь вместо воды.

Но птица все кричала. От самой Казани слышал он ее крик, когда впервые увидел против себя мерно скакавшего на коне широколицего человека в плотно надвинутой шляпе и с полковничьей лентой через плечо. Тот не дергался, не торопился, не махал палашом, как другие виденные им в жизни генералы, а лишь как бы присматривался к его, государеву, стану. Но вдруг махнул платочком, и стоявшая невдалеке пехотная колонна, сделав общий артикул, быстрым шагом двинулась вперед, отрезая его с казаками от мужичьего войска. Толпою в двадцать тысяч оно стояло с пиками и дубьем на ровном волжском берегу и, не видя рядом казачьего примеру, побежало, топчя и спихивая в воду друг друга.

А он сидел в кресле под императорским штандартом с привязанным снизу конским хвостом и с пригорка смотрел на идущих бегом солдат, не зная вдруг, что ему делать. Обыкновенно, встретившись с царичьными генералами, он знал, каково они станут себя вести. Так было с Каром и с самим Бибиковым, от которого уходил из-под Татищевой и от Сакмарского городка, всякий раз вдвое набираясь сил. Но этот плотно сидевший на коне непонятный полковник поступал так, как сам бы он и делал на его месте. И упорство у него было такое, с каким землю пашут...

Будто чей-то вредительный глаз положен был с того дня на него. Не успевал отбежать с оставшимися конными к Кокшайску, чтобы набраться сил, как полковник был уже там. Направился через Волгу к Курмышу, однако и костров не успели здесь зажечь. Тогда бросился назад от Московской дороги к Волге, но опять в Алатыре преградил ему путь Михельсон, и пришлось уклониться на Саранск и Пензу.

В Саратове, как с Каром, воспользовался офицерским препирательством — кто из кого главнее, и зашел в город. Но не смог до конца принять обывательской присяги и повесить ослушников, как застучали барабаны идущего Михельсона. Также и Царицын пришлось пройти в спешке. Уже открывался путь на Терек. При Сальниковой ватаге зажгли костры, будто остаются на месте, всю ночь двигались без шума и разговору. А к утру, съехав к Черному яру, увидели строившихся в колонну солдат и изготовленные к огню пушки. Полковник в плотно надвинутой шляпе махал платочком. С кругом близких людей тогда переплыл Волгу и заскакал напрямую через солонцовую степь к Бударинскому форпосту при Яике, откуда впервые выехал в императорском звании...

Раз и два еще дернул коростель возле самого уха. Тяжесть, слепая и мертвая, навалилась на сердце. Тело еще без мысли забилося, заметалось, освобождаясь. Жгучий обруч обвился вокруг шеи...

Мутный горький туман стоял перед глазами. Из этого туману глядели на него желтые немигающие глаза. Он узнал: то был человек персидского вида, которого признал за своего бывший где-то в каторге с Хлопушей атаман с кривым глазом. Они вместе сразу и занялись наказанием тех, кто не хотел узнать в нем государя. У перса был волосяной аркан, которым ловко душил вредительных дворян и прочих, на кого указывал народ. Тем арканом и был он сейчас повязан...

Кривоглазый атаман стоял тут же, рядом со своим помощником. Где-то должны были быть те, кто шел с ним с самого начала, от Яика. Он громко позвал их.

— Ты прости нас, Емельян Иваныч... За ради Христа!

— Сам понимаешь, что выходу нам нет. Пострадай ужо за всех за нас...

— Что не государь ты подлинный, так и тебе то известно. Сдадим твое величество, и простит нас матушка-царица!

Все они были здесь: казаки и другие, с которыми шел вместе: Чумаков, Творогов, Федульев...

Больше он не рвался из пут, поскольку знал, что так оно и должно быть. С той ночи, как закричал коростель, ждал этого во всякий день. Но от войска своего не уходил. И их понимал: в том, что сделали, была у них необходимость.

Ему развязали ноги, и встал в рост. Пятеро или шестеро посеченных лежали на белой от соли, потрескавшейся земле. Это значило, что не все согласились с таковою необходимостью.

Мгла стояла над степью, и не видно было за ней встающего солнца. Пересохшая речка Узень осыпалась высоким правым берегом. Возник и закружился небольшой вихрь, серый от соленого пуха, сломался и рассыпался. Он искал взглядом, где бы тут могла быть птица...

III

Первым увидел он перса. Эти желтые немигающие глаза на мертво-белом лице он помнил всю жизнь. А тот теперь ехал на повозке сзади самозванца в свободном состоянии и даже недовольно что-то приказывал солдатам. Скрученный жгут из конского волосу держал открыто при себе. Этот везде был необходим. Кривоглазый находился тут же и наблюдал, как ставили деревянные столбы с поперечиной для простых бунтовщиков, которых ловили по сторонам Волги...

Он спросил об них у Федьки Шемарыкина, который командовал охраной самозванца, на что тот пожал плечами:

— Да вроде они и скрутили злодея. Видишь, как стараются!..

Иначе и быть не могло. Только бросилась вдруг в голову некая мысль, от которой стало холодно спине. А что, коли бы добрались эти двое до Москвы с Петербургом, а там бы сами уже тайно придушили самозванца? Пожалуй, что потом этот желтоглазый на самый перед бы вышел...

Лишь затем он поднял глаза на клетку с самозванцем и оторопел. Гулкое имя держалось в памяти с туманного утра в Пруссии. Тогда впервые назвал его хорунжий: "Емельян... слышишь, Пугачев?" И еще взгляд казака, от которого расступились они с Шемарыкиным. Тот шел от порки будто бы мертвый, и глаза были без зрачков...

Это был он и словно бы не он. Все оставалось прежним: широкие плечи, черные густые брови, которые круто разбегались от носа по широкому выпуклому лбу. Только глаза были не его: они мягко лучились, и зрачки совсем обыкновенно отражали мир. Некая стеснительность была в них, что сидит тут на виду у всех. И еще тихая печаль, какую рисуют на образах. Словно бы не видел он клетки и цепи...

ПЯТАЯ ГЛАВА

I

Просыпалась сразу и лежала, не двигаясь, с открытыми глазами. Вместе являлась память о потере...

Это повторялось теперь каждую ночь. Двенадцать лет прошло с тех пор, как перестала уходить за черту, чтобы смотреть на себя со стороны. Само собою так произошло, поскольку не являлось необходимости. Как-то вдруг опять захотела это сделать, но ничего не вышло. Сейчас она думала о себе не раздваивая взгляда.

С отдохнувшею утреннею силой острою неприязнью охватило все ее существо.

— Лозы должны быть железные, и все одинакового виду и гибкости. По всей стране, дабы наказуемые ощущали неотвратимость возмездия, но и справедливость в его распределении!

Это он ей говорил с важностью на лице, будучи теперь уже осмнадцати лет от роду. Гордость светилась в глазах, что самостоятельно додумался до столь значительной мысли. И еще виделось в выставленных вперед ноздрах знакомое идиотическое упорство. Тут был пример, каковы практические плоды способно дать панинское вольномыслие, да на этой почве. Не таков же из самого общества и государства монстр

родится, если принудительно сложить столь разнородные части?

В малейшей мелочи узнавался эйтинский мальчик. Глядя на сына, она никак не могла представить, что от ее природы это произошло. Никакого соединяющего чувства между ними не было, кроме презрительной настороженности. Отца он повторял в своей Гатчине, только вместо голштинских капралов призвал к себе, как назначенный генерал-адмирал, шестьдесят матросов. Затем из них сделалась рота, потом две, а теперь уже батальон. С ними и производил свои революционерские опыты.

Однако при куклах он не думал оставаться, но, подобно отцу, всю Россию намечал превратить в куклы. Для того и вылезал наперед. С нею вместе жаждал совершить вояж через историю в Тавриду и Херсонес, которые навсегда теперь уже Новая Россия. Даже с безгласной вюртембергской женою объединился просить взять их с собою, а не одних только внуков, но не позволила. Здесь другие были планы, и короли и министры из всей Европы обязаны увидеть рядом с нею не этого уroda, но истинных наследников великого дела...

Думала еще о себе, каково выглядит в глазах Европы и своих подданных. Что же, держит себя с тою же простотой: играет в карты и на бильярде, даже на лошадь садится, пренебрегая годами. Любит посмеяться и пуще всего не терпит ханжества. С прислугою, как и с первым своим сенатором, одинаково любезна. Нелюбезна бывает с противниками России на политическом театре, но такова уж назначена ей там роль. Все происходит одинаково в эти двенадцать лет, как и в предыдущие двенадцать лет ее императорской службы. Почему же сама поделила так свое царствование?..

Могло сделаться иначе. И сын мог быть другой. Когда-то в глухую ночь унесли от нее отделившийся комок плоти. Эйтинский мальчик тогда уже был император, и ждала или монастыря, или короны. Ровно через двадцать лет, в канун той ночи, написала по некоторому адресу письмо: "Известно мне, что мать ваша, быв угнетаема разными неприятными и неприятельскими, по тогдашним обстоятельствам, спасая себя и старшего своего сына, принуждена нашла скрывать

ваше рождение, воспоследовавшее 11 числа апреля 1762 года". Алексей Григорьевич Бобринский неизвестного происхождения с детских лет живет в заграницах. Иногда она смотрит его портрет в медальоне. Орловская правильность в чертах там несомненна, но улыбка ее...

Удары колоколов к заутрене здесь были другие, чем в Москве. Они раздавались с большими промежутками и слышались как бы из некой дали. В Петербурге колокола тоже били иначе: звонко и четко, словно выполняя приказ...

Она писала к себе в личную тетрадь: "Вот приблизительно мой портрет: я никогда не признавала за собою творческого ума. Мною всегда было очень легко руководить, потому что для достижения этого нужно было только представить мне мысли, несравненно лучше и основательнее моих: тогда я была послушна, как агнец. Причина этого заключается в крайнем моем желании блага государству. Я испытала и большие невзгоды, происшедшие от ошибок, в которых я не имела никакого участия, а может быть, и оттого, что предписанное мною исполнялось не в точности. Несмотря на мою природную гибкость, я умела быть упрямою или твердою (как угодно), когда это было нужно. Я никогда не стесняла ничьего мнения, но, в случае надобности, имела свое собственное. Я не любила споров, убедившись, что каждый всегда остается при своем мнении; притом же я не умею говорить особенно громко. Я никогда не была злопамятна, потому что так поставлена Провидением, что не могла питать этого чувства к частным лицам и находила обоюдные отношения слишком неравными, если смотреть на дело справедливо. Вообще я люблю правосудие в его юридическом смысле, но нахожу, что вполне строгое правосудие не есть правосудие и что одна только справедливость в широком понимании этого слова соразмерна со слабостью человека. Во всех случаях человеколюбие и снисхождение к человеческой природе предпочитала я правилам строгости, которые, как мне казалось, часто превратно понимают. К этому влекло меня собственное мое сердце, которое я считаю кротким и добрым. Когда старики проповедовали мне строгость, я, заливаясь слезами, сознава-

лась им в своей слабости, и случилось, что иные из них, также со слезами на глазах, принимали мое мнение. Нрав у меня веселый и откровенный, но на своем долгом веку я не могла не узнать, что есть желчные умы, которым ненавистна веселость; не все люди могут переносить правду и искренность...”

Она задержала письмо и подумала, что самый верный способ убедить в чем-то мужчину, тем паче если он в сенаторских годах, это слезы. К тому успеху и прибегала. Значит ли то, что актерствовала? Нет, тут и подлинное чувство обязательно присутствовало. А когда актриса играет, так разве нет в ее плаче искреннего горя, от чего и успокоиться долго не в состоянии. Как разделить в женщине искренность от игры, а если разделить, то уже это будет не женщина. Если играла она свою роль, то для народа и государства, себе законно оставляя сценическую славу.

Впрочем, самые высокие женские слезы ни к чему бы не привели перед мужчиною или народом, не будь у нее на голове короны и твердо зажатого в руке скипетра. Уж то ей досконально известно. Она кончила писать и закрыла тетрадь. Отсюда она и брала к случаю заготовки, когда садилась писать письма в Европу. Тетрадь имела прямую причастность к делам литературным, которыми занималась здесь, как и дома, с раннего часу. Чтобы не растерялись с утра мысли, неслышно вставала, умывалась, сама убирала себя и садилась к столу.

А писательство возобновила, посчитав несправедливым ограничивать себя в сильнейшем своем пристрастии. К тому же невозможно было удержаться при виде людских несовершенств да гнусностей. Лишь инкогнито строго соблюдала.

В четыре года написала многие пьесы. Все больше про людскую вздорность, что происходит от пустоты ума и бездельного тунеядства. В каждой пьесе действительный был адресат, так что и актеров можно было заранее наметить. Сейчас по примеру некоего известного в Петербурге семейства легко определились Прелеста Собрина и любящий ее Добрин, которым по пленительности молодого чувства соответствовали актеры господина Баранова и Шушерин. Великовозрастного балбеса, что прочат Прелесте в женихи, мог бы представить господин Чертков или кто

другой. Ну а ядовитого сплетника Двороброда, который слухи про всех, не исключая высшую власть, по гостиным разносит, точно играть господину Дмитриевскому. Даже и корпусом похож на того враля. Когда же знатно сыграют, то, как и в прошлый раз, сделать среди актеров подарки и раздать две тысячи рублей...

Да, тут себе все позволялось. В пьесах да операх смеялась над собственными сенаторами и европейскими королями. Хоть над тем же сыном рыжей Ульрики, что никак не успокоится миром в своих скандинавских скалах. Ему приготовила арию горе-богатыря Косометовича, что по наущению матери-вдовы отправляется в поход в доспехах картузной бумаги и сопровождаемый советчиками Кривомозгом да Торопом. А придраться невозможно, поскольку дело поется в городе Арзамасе...

Напрямую против Калиостры, оболванившего всю Европу и к ней прибывшего завершить триумф, целые три комедии выставила. И опять все в рамках приличной терпимости, поскольку шарлатан в пьесах был шаман сибирский и подпевали калмыцкие хоры. Также и франкмасонов с их глубокомысленной глупостью не оставляла в покое. Здесь даже первую свою любовь — пустого чувствами человека с профилем античного героя — не удержалась выставить в жалком виде...

Не только сама: всем способным к тому людям, своим и иностранным, едущим с нею в Крым, поручила написать по пьесе для Эрмитажного театру. Они и трудились также по утрам: обер-камергер Шувалов, посланник австрийского дома граф Кобенцель, французский полномочный министр Сегюр, свой русский француз Дестат, графы Мамонов и Строганов, принц и генерал австрийский де Линь. Тот самостоятельный конкурс оживлял дорогу, и меньше ей мешали заниматься делами.

В журналах теперь уже не сражалась, лишь внимательно читала все, что возможно было, поскольку стало их большое множество. Новиков, давний ее приветствователь и противник, уехал в Москву, где издавал "Московские ведомости", открыл народную библиотеку-читальню и книжные лавки в шестнадцати городах России. Крайний чувствами русский от

немецких дедов Денис Фонвизин с русским же напирательством шел на приступ, имея в мыслях немедленное, с одного маху решение о крестьянской вольности. Сама когда-то была за то, да и в один день очнулась от сна. Прекраснодушные и размах пером по бумаге никак не совпадают с течением жизни; зато поводы противникам представляют. К тому и Пугачев явился чему-то наукой. Так что пока только на сцене способна побеждать фонвизинская правда. Сейчас, наездившись по Европе, где в укор ей напечатал апокриф чистоте чувств и мыслей учителя своего Панина, ею же рожденный и призванный к делу российский Аристофан просит разрешить издавать ему журнал "Друг честных людей, или Стародум". Где-то в середине предложенного проспекта значилась "Всеобщая придворная грамматика", что давно уже ходила со списками из дома в дом в обеих столицах. Все там было верно, и сама сардонически улыбалась, читая, да только не станет ли противоречить главному делу? Когда из шестнадцати теперь уже лавок начнут читать про то, каковы главные начальственные лица современной русской истории, то не убавится ли сил у Геркулеса для совершения подвига?

Вспомнив про то, что сардоническая маска на лице у древних происходила от горькой травы, что растет на острове того же имени, в задумчивости открыла одну из первых своих тетрадей. Она начиналась с давнего и непререкаемого ее убеждения: "О печатать! Конечно, сам бог просветил того человека, кто тебя выдумал! Тобою сохраняются описания великих дел человеческих; Тобою летают мысли человеческие от востока до запада, от полудни до полуночи; Ты истребляешь вредные роду человеческому предрассуждения; Тобою открывается истина; Тобою из примеров научаются цари царствовать, министры охранять отечество, полководцы искусству воинскому, судьи разысканию правды. Жаль только того, что нет такой печати, которою печаталися бы совести человеческие!.."

Явственно чувствовалось мощное и неукротимое движение огромной массы воды, стекающей из приподнятой на тысячи верст лесной равнины. Никакого

шуму не производила она, укрытая льдом, но где-то внизу вся накопленная в той равнине сила неукротимо двигалась к морю. Во второй раз была она здесь, на берегу древнего Борисфена. Тут было место, что в летописях зовется Праматерью русских городов.

Занятия исторические и литературные слились в одно. В который раз перекраивала в подражание Шекспиру объявленные исторические представления без сохранения театральных обыкновенных правил. Все до сих пор собранное и угаданное легло у ней в основу. "Из жизни Рюрика" было только общее определение. От единого и древнего рода Гостомысла из глубины этой равнины шли вместе варягоруссы и славяноруссы. В доисторическое время еще роднились они с финскими народами через короля их Людбрата и с урманскими — через княжну Едвинду — супругу Рюрика, имевшую от первого мужа сына Аскольда. Та великая общность, наподобие большой планеты, притягивала и принимала в свою плоть все малые вокруг, через века и тысячелетия двигаясь к установленному ей месту. Щит князя Олега, прибывший к цареградским воротам, стал возвестителем намеченной цели.

Война тут была лишь необходимостью, а все решалось этим мощным движением подо льдом, которое неудержимо, ибо сообразуется с высшими законами. Вся ее мечта — мир. Великий ум европейский не случайно разглядел это основополагающее ее качество в образе матери посредине пчелиного улья. Разве не соответствует там все людскому устройству, и каков тогда случается избыток меда, когда мир вокруг. Подумав, она приставила к "Начальному управлению Олега" два хора, лицетворящих Мир и Войну.

Царей и царств земных отрада,
Возлюбленная тишина.
Блаженство сел, градусов ограда,
Коль ты полезна и красна!
Во круг тебя цветы пестреют...

Великана она писала по памяти, уверенно не делая тут в русском языке обычных своих ошибок. Тоже и неотвратимость войны написала до конца:

Необходимая судьба
Во всех народах положила,
Дабы военная труба
Унылых к бодрости будила,
Чтоб в недрах мягкой тишины
Не зацвели водам равны,
Что вокруг защищены горами,
Дубравой, неподвижны спят,
И под ленивыми листьями
Презренной производят гад.

Еще поразмыслила, каким образом представить в такой драматической повести прохождение венгерского народа мимо Киева. Так и оставила: идут угры со своим королем по дальним холмам, а со стен города смотрят на них люди, говоря между собой, что это добрый и благородный народ...

Затем она придвинула свой постоянный труд, первые томы которого, опубликованные в журнале, приготовлены были к книжной печати. И здесь посчитала наилучшим не называть при издании автора, а обратиться отвлеченно к читателям: "Сии записки касательно Российской истории сочинены для юношества в такое время, когда выходят на чужестранных языках книги под именем Истории Российской, кои скорее именовать можно сотворениями пристрастными, ибо каждый лист свидетельством служит, с какою ненавистью писан..." Закончила же вступление своим портретом: "Собиратель сих Записок касательно Российской истории не в числе змей, вскормленных за пазухой; он век свой чтился выполнить долг благородного сердца".

Сколько же человек, хоть и в шестнадцати городах, ведают что-то про собственную историю, кроме песен про Еруслана Лазаревича? Само и слово история тут обозначает сказку. Однако же нельзя без этого строить здание государства, ибо, подобно цементу, связывает в нем камни. От того приступала с самого начала:

"История есть слово греческое: оно означает *деи* или *деяния*...

История есть описание дей или деяний; она учит добро творить и от дурного остерегаться...

Всякому народу знание своей собственной Истории и Географии нужнее, нежели посторонних; однако же без знания иностранных народов истории,

наипаче же соседственных дей и деяний, своя не будет ясна и достаточна...

История вообще разделяется на Священное писание и на Светское описание деяний тех, кои в Священном писании не вмещены...

Российскую историю разделить можно на пять эпох или времен..."

То отношение к истории, как к сказке, наличествует и в летописи. "Един Князь славян с братом своим Скифом" — сведения баснословные. Правда лишь, что многие земли покорили около Черного моря и Дуная. А народы — скифы и славяне — разные. Сказка и про князя Вандаля, будто бы владевшего потом славянами. Как и об Рюрике с братьями, что якобы происходили от Пруса, брата кесаря Августа, и предки приплыли из Италии купно с Полемоном или Публием Ливоном, а с ними двести пятьдесят благородных римлян.

А предполагать в истории лишь можно, что здравым смыслом допустимо и обстоятельствам современным созвучно. Отсюда вполне можно утверждать, что славяне задолго до Рождества Христова имели собственную письменность, только не сыскано. Сюда следует прибавить и точные сведения, что славяне воевали пеши, имея в одной руке малый щит, в другой невеликое копье, и то короткое. Лицом были не весьма белы, волосы имели темно-русые.

Русь и Руссия — малая часть народа, но многое повоевала и дала стране название. Были ли государи русские — неизвестно, но как могло быть без власти? У греков имя Русь задолго до Рюрика знаемо было, а латины Русь именовали Рутении. Славяне, придя, руссами овладели. Руссы со славянами смешались, за един народ почитаются. Славяноруссы чрез признание варяжских князей, по кончине Гостомысла, со варягоруссами соединились, каковые жили по берегам Варяжского моря и над оным господствовали...

Есть еще вовсе баснословные сюжеты. Сказывают, будто руссы Филиппу Македонскому в его деяниях помогали, а также Александру, когда Восток воевал. Об этом есть писанная золотыми буквами грамота и якобы лежит в архиве у султана турецкого. А у турков архивными бумагами бани топят...

Здесь же и легенда о князе Кие, что с братьями Щеком и Хоревом и со сестрою Лыбедь пришли на берега Днепра. Некоторые писатели производят Кия с братьями от персиан и скифов, другие, что были они славяне. Только имя "скиф" древнее, и ни один народ так себя сам не называл. Греки всех вокруг называли скифами: в Африке, Азии и Европе. Сюда же включали славян, сармат и татар. Государей их именовали: кахан или каган.

Отсюда и спор будто бы возник между скифами и египтянами: кто древнее. И скифы говорили: мол, если вначале был огонь, то раньше остывало на севере; если же вода, то тоже у них выше, чем в Египте. Только все напрасно, поскольку все народы земли — Ноево отродье, а посему гордиться следует не древностью, но добронравием...

Важнее для назначенного ей дела крещение Руси, так как здесь находится ему правовое и нравственное основание. А потому с подробностями из летописи списано, как все происходило. Сперва болгары, что у Волги, прислали послов с искусом магометова закона. Князь святой Владимир ответил: "Ваше учение в странах сих весьма неудобно". Потом римские послы говорили ему по-латински о своей вере, на что сказал: "Идите вспять, отцы наши не приняли сего". За этими пришли ко Владимиру жида-козары, живущие постоянно в Киеве, и начали сказывать про свой закон. "Где есть земля ваша?" — спросил князь, а они ответствовали: "Во Иерусалиме". И рек Владимир: "Тамо обитаете?" Они же отвечали: "Разгневался Бог на отцы наши и расточи нас по странам грех ради наших". Владимир же выслал их, с гневом молвивши: "Как вы иных закону вашему хотите учить, его же не сохраняя сами!" А тогда приехал от царя греческого философ Кир, который и убедил князя в православной вере, связав на будущее Русь с греками...

Посему не прихоть — ее исторические занятия. И когда первого внука назвала Александром, а второго Константином, во всем следовала предназначению этого народа и державы. Через неудачного отца суждено им перескочить к великой цели, а для того полностью отторгла их от него, и все лучшее, что есть в

Европе, призвала к их совершенствованию. По тому же проекту, что исполняла двадцать пять лет, с австрийским императором опять приготовилась встретиться в этом путешествии...

Движение великих планет, которое видела с непреоборимой ясностью, составляло закономерность. Рим был только один и разделился по некоторому древнему роковому меридиану. "Второй райх", что лицетворит ныне собой в виде австрийской короны Священная Римская империя, лишь половина единого целого. Другая половина, знаменуя собою тот же второй Рим, была у греков, но состоялось вмешательство чужеродного тела, нарушившего с турками необходимое равновесие. Посему, согласно с историческими законами, явился здесь третий Рим. В лице старшего ее внука будет он доминировать в мировом небосклоне, и Александрово соединение с Востоком станет ему путеводной нитью. Константиново наследство в этом случае составит лишь часть великого целого, и для того второго внука с первых слов учила греческому языку, пице и навыкам. В то наследство, помимо самой Греции со Святою землей, должны номинально вступить еще Валахия с Молдавией в виде древней Дакии и близкие славяне.

А императору австрийскому, наследующему другую половину Рима, предоставлено будет все к западу от того меридиана, а именно подлежащий ему Рим, Белград и взятые от Венеции славяне. Венеции же в компенсацию отданы будут побережье и острова, оставшиеся от турков. Соответственно императоры станут курировать и свои церкви, стабилизуя общий мир. Тут, конечно, закипит все в Европе, противодействуя этому, да только что смогут сделать противу двух мировых империй. Впрочем, французам возможно из того предложить Египет...

Все идет, каково следует. В санях приехала в Киев, где в святорусских древних местах дожидается весны и тронется в Тавриду. Досадно лишь, что великий князь Константин приболел сыпью, и обеих внуков оставила дома с тем, чтобы к лету встретили ее уже в Москве. Отца их, злобствующего противника "греческого проекта", поэтому и не брала с собою. Тот уже вовсе на Пруссию молится, подобно всякому прирожденному голштинцу. А вместо великого короля

Фридриха на престоле там с прошлого году вполне соответствующий тому голштинскому идеалу Фридрих-Вильгельм, чей глазомер дальше кончика сапога не распространяется. Еще и франкмасонство будто бы их роднит...

Вспомнила вдруг, как приехала в сенат в первый раз после объявления ее императрицей. О том самом и пошла сначала речь. Петра Великого карты были куда-то заброшены, так дала пять рублей и послала курьера в академию, чтобы купил карту Российской империи и с соседями...

Провести вечер для себя, как сегодня, разрешала себе не часто. Ужинали без чужих, втроем: напротив князь Григорий Александрович Потемкин и по левую руку при ней юный "l'habit rouge" — "Красный Кафтан". Таково с первого дня прозвала своего пылкого и любезного адъютанта Мамонова.

Но глубокая скорбь не уходила. Она пряталась в тайниках сердца и вдруг обозначалась неожиданными слезами. Лишь двадцать шесть лет было ему, кого потеряла два года назад. Лежал в гробе совсем такой, как писала о нем последнему оставшемуся в живых другу-энциклопедисту Гримму: "Если бы вы видели, как генерал Ланской вскакивает и хвастает при получении ваших писем, как он смеется и радуется при чтении! Он всегда огонь и пламя, а тут весь становится душа, и она искрится у него из глаз. О, этот генерал существо превосходнейшее. У него много сходного с Александром. Этим людям всегда хочется до всего коснуться..."

Да, все то сразу видела она в нем: внука, неизвестного сына и возлюбленного — как видит это женщина в каждом мужчине. Никакого значения не имели ее годы. То была поэма о любви, почти равноценная Петрарковой. Днем под ее материнским руководством он усердно трудился над своим образованием, усваивал ее вкусы, разделял семейные огорчения и радости. Ночью же это был подлинный Феб, властительный и прекрасный...

Она впала в горестную немочь, не ходила к обедне и не могла видеть человеческого лица. Ночами напролет лежала с уставленными в пустой потолок гла-

зами, а при том всем твердо делала распоряжения по внутренним и иностранным делам. Тем не менее тогда и явились в первый раз предположения в Европе о скорой ее кончине...

Лишь князь Григорий Александрович, прискакавший с юга, да Федор Орлов спасли ее в то время от помешательства. Они пришли вместе и взялись плакать да сочувствовать, вспоминая добрые качества потерянного друга. Она разрыдалась с ними вместе, и будто спущенная завеса раздвинулась перед нею вновь. Только щемительная память навсегда осталась в сердце...

И еще одна безвозвратная потеря значилась в душе. Князь Григорий Орлов, отошедший от двора, жил некоторое количество лет в Ревеле. Как видно, судьба ему была, что женился все же на Екатерине, и, коль правду молвить, первейшей из красавиц России. С нею поехал в Европу, а когда княгиня Екатерина Николаевна, урожденная Зиновьева, умерла, вернулся вовсе не в себе. Приходил к ней во дворец и шел мимо людей, будто в лунатическом сне. Увидавши ее, становился истуканом, бормотал что-то, как бы с кем разговаривая внутри себя. Потом умер в Москве почти в один день с Паниным, что помешал ему когда-то сделаться ей мужем. К Гримму же писала о том событии: "В нем я теряю друга и общественного человека, которому я бесконечно обязана и который мне оказал существенные услуги. Гений князя Орлова был очень обширен; в отваге, по-моему, он не имел себе равного..."

И об Гришке она плакала; все казался ей в белой рубахе на льду; оборачивается и смеется ослепительно...

Князь Григорий Александрович, как видно, приметил своим сощуренным глазом ее минорность и весело взялся рассказывать про графа Петра Александровича Румянцева-Задунайского, про которого составляются многие армейские анекдоты. Не в пример прочим офицерам, годами живущим вдали от дома и чьи жены прославлены в столице громкостью поведения, супружница генерал-фельдмаршала являет прямо-таки образец добродетели. Самые злоречивые Двораброды не имеют возможности назвать ее

амуров. И таковы ее христианские правила, что на Рождество прислала знатные подарки не только к мужу, но соболью муфту и модное платье к его пассии, живущей с ним при лагере. Старик даже заплакал от умиления и с чувством молвил: "Когда бы знал имя ее любовника, то непременно бы одарил ответно!"

Ей было покойно следить за потемкинским лицом. Не скрывая никогда намерений своих угодить ей, в то же время так же открыто не отпускал из виду свой интерес, в чем был необыкновенно умен. Семь лет назад безо всякой трудности разошлись они с ним постелями, а остался верный и близкий, лучше иного мужа. Даже и по Красному Кафтану советовалась с ним: брать ли к себе. Такова была тут идеальность в отношениях, что об тайных мужских качествах своего избранника писала ему. Князь на это отвечал метаморфозами Апулея...

— Каково ты, Григорий Александрович, разумеешь про дорогу на Крым: развезет ли в половодье? — спросила она.

Князь по привычке приподнял голову, будто разглядывал что-то вдали другим своим поврежденным глазом, ответил с основательностью:

— Там от порогов до Крыма степь, яко стол, ровная и реки не текут. В одночасье просохнет.

— Так и поохотиться можно будет! — взвился с юной горячностью Мамонов. — Ведь есть там олени?.. Я слышал, что есть!

Князь с благодушною отцовою снисходительностью поглядел на генерал-адъютанта, переглянулся по-родственному с нею, сказал успокоительно:

— Теперь полювать неспособное время. Зайцы да лисицы линяют, а лани вовсе хулые за зиму становятся и в случку вступают. Мясо от них с собачьим духом.

Строящий Новороссию друг ее употреблял в разговоре черкасские слова. Она примечала в служивших при границах офицерах: говорили турецкие, калмыцкие, кайсацкие слова, носили вдруг мягкие татарские сапоги или бурки, башлыки и газыри, как казаки на Тереке.

Мамонов все подправлял большим пальцем сурьменные брови и расхохотался весело, когда светлейший князь Потемкин рассказал, как фельдфебели из

малороссов учат барабанщиков правильному счету.

— Как вы сказали, князь? Дайте, я заучу! — и радостно повторил в такт барабанному бою:

С... баба перцем,
С... баба перцем,
Перцем, луком, часныком!

За окнами губернаторского дома давно сделалось темно. Весенний уже снег липнул снаружи к высокому италийскому стеклу, где-то на крыше скрипел флюгер от менявшегося ветра. Долго играли втроем в карты. Ей было хорошо в Киеве, и ясность мысли не покидала ее...

Спать шла уже поздно. Князь крепкою рукою поддерживал генерал-адъютанта, который в ходе вечера вдруг перестал смеяться, смотрел в одну точку и начинал крупными глотками пить белое вино. Кадык обозначался тогда и ходил красиво и мощно по нежно-белой мужественной шее. Когда остались вдвоем без князя, Мамонов ухватил ее за руку, заговорил путано и поспешно, что в ее окружении странно смотрят на него, а прежние товарищи из офицеров смеются в рукав.

— Сами вот как бы хотели на мое место, а злословят! — горько жаловался он, пьяно всхлипывая. Потом стал говорить, что она его плохо любит. Довел до того, что сама разволновалась и расплакалась.

Он уходил раздеваться и долго не приходил. Она лежала и думала, что имеет на то право. Для великого дела отодвинула от себя другую жизнь, какую могла прожить в спокойствии и утехах. На миг даже показалось, что добрую гроссмуттер в Цербсте прогуливается по стриженной аллее и аккуратно причесанные мальчики в тужурочках и девочки с букольками и в панталончиках — ее внуки и внучки — степенно идут с нею, взявшись за руки. Но ведь была еще сказка в зимнем лесу...

Он вернулся и принялся жарко ласкать ее, пока не загорелся во тьме и забыл про все.

Древние костры пылали на берегах Борисфена. С правого, высокого берега они отражались в воде и продолжались на другом, низком берегу, уходя за дымный горизонт. Казалось, что неисчислимые в ве-

ках народы тронулись с места, сдвигая страны, мешая царства, рождая империи. Но буйные огни вдруг меркли, разноцветные гирлянды симметрично вставали в небе, повторяя прямые контуры дворцов на берегу. Плывущие в огне галеры плавно приставали к ним, гремели барабаны, и невидимые оркестры играли французские менуэты.

С галерами вместе плыли все те же народы, которые взяла с собою в провиденциальное движение к югу. Завязывался новый узел истории. Здесь плыли с нею и с послами всей Европы грузинские царевичи и лифляндские бароны, калмыцкие князи и башкирские мурзы, камчадалские волхвы и обдорские принцы. И навстречу выходили к ней другие народы, которые принимала под свою руку. День и ночь в монистах и лентах крутились и пели по обе стороны пути малороссийские поселянки, усатые молодцы в барашковых шапках и необъятных синих и бордовых шароварах гулко убивали сапогами землю. Ногайская орда с пиками и бунчуками строилась полумесяцем через всю степь, приветствуя ее визгами и завесою стрел в солнечном небе. Выходили разодетые в вышитое платье сербы, болгары, греки, арнауты, прибежавшие на русскую сторону. В дубовом молчании стояли возвращенные из Польши староверы. Вестфальские и фрисляндские колонисты кланялись издали и чинно кричали русское "ура". Благонравные евреи в черных одеждах и другие, во французском платье, говорили к ней речь на каком-то вычурном языке из времени Барбароссы со вкраплением польских, русских, малороссийских и бог его знает каких еще слов. Цыгане стучали в бубны и плясали по-испански...

Будто об некий камень споткнулась на ровной дороге, ударились в этот город. Он стоял перед нею вечный и великий, каково и надлежало ему быть посредине планетного круга. За много времени до того светлейший князь представил ей соображение, чтобы город этот родился "в знак, что страна сия из степей бесплодных преобразена попечениями Вашими в обильный вертоград, и обиталище зверей в благоприятное пристанище людям, из всех стран текущим". Говорилось, что прежде всего тут обязан быть

университет, поскольку с соседством Польши, Греции, земель Волошской, Молдавской и народов иллирийских множество притечет в Новороссию юношества обучаться. Все здесь стояло по великому образцу: храм в подражание святому Петру в Риме, судилище наподобие древних базилик, термы и лавки полукружием наподобие пропилей или преддверия афинского. Двенадцать фабрик, в числе их суконная, шелковая, шерстяная и прочие, приготавливали товары для заселявших даселе пустую степь россов, а также на вывоз внутрь империи и наружу. Посредине находились биржа и театр, а на холме — музыкальная академия или консерватория. Вместе с другом своим — князем — выбирала она из Петербурга то место: до порогов, на изгибе Днепра, откуда равно близко из Киева, в Крым, к Дону и к Дунаю. С потемкинского голоса давно уже и выстроила в уме *Екатеринослав...*

Когда же открыла глаза, то с послами и народами увидела пустое место. С некоторыми начатыми строениями и шалашами стоял там единственный двухэтажный дом светлейшего князя. Она и бровью не дрогнула, словно впрямь видела перед собою город. По настеленному ковру прошла на середину, положила первый камень в основание храма, который целым аршином обязан был быть длиннее, чем великий римский храм. За нею положили камни съехавшиеся здесь с нею австрийский император и прочие персоны вплоть до обдорского принца. Вышла стенка: два шага в длину и до колена высотой. В раскинутом на берегу Днепра шатре, являвшем собою походную церковь, отслужили молебен...

В княжеском доме вечером, услав даже и Мамонова, негромко спросила:

— Каково успел за два года такое множество построить, мой друг?

— Так писал к тебе, матушка, что весь кирпич уже и сделан в селе Половице. Только ехать туда не захочешь: распутица!

Друг отвечал с записною, как всегда, наглостию, когда ловили на очевидном. Она сидела со счетами и говорила:

— Триста сорок тысяч на чулочную фабрику, так где они?

— В слободе избы для мастеровых — двести штук, — отвечал он, не задумываясь.

— Остаток ли есть?

— Сто тысяч, так сама знаешь, куда деньги идут. Всех тех послов в Киеве и по дороге на свой счет держим. Тако ж одежды бархатные для народа, иллюминация.

— Десять миллионов на то отпущено...

Таково, она когда-то слышала, спорили между собою супруги Чоглоковы, только суммы были мизернее. Здесь же досадно было не одно лишь казнокрадство. Оно и в Европах неистребимо, да прямоты и размаху такого там нету. Но хуже, когда даже и не воруют, а само без пользы и смысла пропадает. Вон университета в помине еще нет, а жалованье идет наставникам студенчества. Уже и канцелярия при нем, яко действующая, расходует 1284 рубля на год. И профессора числятся: де Гюсин по истории, Левонов по экономии, Прокопович на земледелии, Неретин да Бухарев на искусствах. Одинаково и великий маэстро Сарти определен директором консерватории с жалованьем 3500 рублей, а пока у князя дома на правительственный счет играет. 300 000 рублей, что отпущены на Новороссийский университет, тоже к концу идут, а камня еще не положено.

Ничего больше не сказав, пошла к себе.

Все великолепно она видела: беленные в сторону тракта станции, сады с только что воткнутыми деревьями без корней, один и тот же вид богатого селения посредине степи с журавлем и пятью тополями, что повторялся по обе стороны от дороги. Однажды, когда остановился каретный поезд, сама отошла к селению со свежесвязанными плетеными заборами. Внутри стояли одни передние стены с окнами. Танцующие поселянки с краскою на щеках, которых узнавала всякий раз, начинали с первой балетной позиции, а хоры крестьянские в полях пели с греческими паузами. Заметила, как умно переглянулись австрийский император с принцем де Линем, но то не имело значения. Она во всем знала больше их.

В Херсонесе зато дома уже стояли грубые, из известкового камня, и тысячи людей возились на верфях. Всю дорогу виделись двигавшиеся через степь телеги, едущие с ними мужчины, женщины и дети.

Они останавливались и с высоты сложенного домашнего скарба смотрели на пляски и иллюминации.

Здесь содержалось то, ради чего ехала и тратила десять миллионов. Светлейший князь в панике обращался к ней, что турки вот-вот нападут и надобно уходить из Крыма. Она, как могла, бодрила его. "Вперед, Потемкин!" — писала еще из Петербурга.

Кругом это повторялось. Посреди Тавриды голые до пояса солдаты, возводящие для себя поселение, оставляли работу и смотрели с высоты недостроенных домов. При въезде в бухту, где обязан был встать город, что звала уже Севастополем, мужики бросали резать камень и смотрели с горы на ее проезд. Им назначались эта торжественность, иллюминация, пальба из пушек, поезд из сотен карет с тысячами челяди, подтверждающие ее державное присутствие здесь, у Понта Эвксинского и забранного у варваров Херсонеса. Остальное они сделают сами, несмотря на все немислимые воровства и безалаберности. В том она была уверена, и та неколебимая уверенность в ней была от всех русских царей...

В Севастополе австрийский император продолжал улыбаться, но глаза сделались серьезные. От одного края бухты до другого с приподнятыми парусами стояли корабли. Ровные линии пушек торчали из бортов. Французский посланник, которого за любезность к туркам прозвала Сегюр-эфенди, смотрел в трубу и дергал плечом.

В Херсонесе еще, когда вызвала из Константинополя своего посла Булгакова, вместе с императором Иосифом Вторым и послом австрийским при Порте бароном Гербертом подробно обсуждала всемирное римское наследство, что никак не определится полторы тысячи лет. Западная империя требовала к себе Валахию с Молдавией, ссылаясь на романские их корни, но только ведь славяне тоже оставались по ту сторону меридиана, и не говорила пока про них.

Ночью слышала бурную и стремительную музыку из порта. Ей сказали, что то лезгинский танец, какой танцуют здесь все. Русский голос в такт пел:

Чем турка будем резать?
Чем турка будем бить?
Ножиком будем резать,
Ножиком будем бить!

Подумала, что при многих обывательских и дворянских домах с той войны остались пленные турки, которые не захотели домой возвращаться. У сына ее турчонок-брадобрей Ванька Кутайсов любимым другом и наперсником сделался. Это, кажется, в нем единственное чисто русское качество — не питать анимальной злобы к инородным людям. Всегда кто-то со стороны ту злобу в русских подстрекает.

Наутро, когда с императором и послами должна была плыть из Херсона в Кинбурн, бесчисленные белые и синие паруса замаячили в тумане. То были турецкие бриги и фрегаты. Они тяжело врывались в лиман, располагались полумесяцем, как раз там, где светлая днепровская вода, принимая в себя полуденный Буг, сливалась с темно-зеленою массой моря. Кинбурн просматривался отсюда на низкой, слившейся с морем косе. А напротив, на высоком скальном берегу, отчетливо возвышались квадратные бастионы последнего оплота Порты на этом берегу.

— Отложим до другого разу, чтобы посмотреть сразу и Очаков! — пошутил Иосиф Второй.

Было ясно, что грядет новая война. Она распрощалась с австрийским императором, что спешил к себе назад из-за неприятностей в Нидерландах, с послами и свитой, расцеловалась по-родственному со светлейшим князем Таврическим и, сопровождаемая одним эскортом, в карете без вензелей поскакала в Москву...

Качаясь от дорожных неровностей, думала, что все движется попутно с тем ветром, который придумала для себя при въезде в Россию. Как видно, и случай с юным гвардейцем, что нес ее на руках в снежном лесу, тоже был выдумкой. Все делала сама, назначенное историей: всех, и бывших с нею мужчин, заставляла служить делу. Даже поврежденного стариною ярославского князя, что не перестает охать по поводу порчи нравов от времени Петра Великого, приспособила к службе. Идеальности орлеанской девицы нашла место во главе российских академий. Каторжников, которые бежали с Камчатки, вернула по неистовости их чувства к России, назад, к общей судьбе...

Мимолетно вспомнилось, как на первой остановке

от Киева, в звонком от птиц весеннем Каневе, приехал к ней на галеру польский король. У него были печальные глаза, и теплая слеза скатилась ей на руку, когда прижался долгим поцелуем. "Кохана моя... панна!" — донеслось из тридцатилетней давности и угасло, как опущенная в воду звезда. Она без улыбки смотрела на синюю от седины голову не носившего парика Станислава Понятовского. Благородный сарматский профиль взят был словно из музея. Люди, как и страны, или притягиваются большими, чем они, массаами, или улетают в холод космического небытия...

Глядя ровно в переднее стекло кареты, она тем не менее все видела по сторонам. Едущие в телегах и идущие к югу люди были бледные и худые, их одежды составляли ветхие домотканые рубахи и древние постолы. Тут и там стояли в поле кресты из свежего срубленного, с неободранной корою дерева; взлетали, кружились невысоко и садились на новое место вороны. То начинался очередной русский голод, про который знала из донесений правительства и сената и который уже трижды видела тут в своей жизни...

II

Было томливое состояние, каковое испытывал и в картах: надобно с риском открыть их, да холодно в животе — а вдруг да проиграешь. Но там минуту это только длится и о золоте идет разговор: всегда можно где-то еще добыть. Здесь же целый год такое у него чувство, и не золото на кону, а все разом может рухнуть куда-то в темную бездну. Что он светлейший и Таврический и матушка-государыня с ним целуется, ничего еще не говорит. Уж ее-то он хорошо знает. Вон Гришку Орлова тоже князем сделала и медаль выбила как раз перед тем, как в Ревель ему отправиться уток на досуге стрелять. Для него тоже уже отчеканена медаль, так что всякого ожидать приходится. Тут, под Очаковым, ему выйдет решение...

Поэтому ничего здесь не делал без крайней осторожности. Это оглашенный старик, за которым, разинув рты, бегут солдаты, ничего не потеряет при проигрыше. Что, два раза раненный, отстоял Кинбурн, так то счастье привалило. А после этого вовсе фыркать стал в его сторону. И подруга-государыня в каж-

дом письме ему это имя называет: Суворов да Суворов!

Только ему лучше известно, что у него тут на руках и что у султана. Теперь вся Европа в Стамбуле железные подпорки для Порты сооружает. Флота русского с морейской стороны нет и не будет. Здешний же флот раскидан бурей, так что все линейные корабли пошли на дно, а головной фрегат без парусов утащило к самому Босфору, где и спустил флаги. "Бог бьет, а не турки!" — писал к императрице.

Только она стояла на своем и на новое его предложение отодвинуться пока что от Крыма прислала вовсе уже недовольное письмо. Те ласковые да одобрителные слова если употребляет, то он умеет читать в истинном их значении...

Светлейший князь и генерал-фельдмаршал Григорий Александрович Потемкин-Таврический придвинул к себе итальянскую шкатулку, отпер ее, настороженно посмотрел на горку голубых конвертов с вензелем "Г.Р." — "графиня Рейнбек". От них шел знакомый запах дубовых почек. И сразу явился некий образ: не обворожительный и всем известный, с постоянно улыбкою, а другой, будто из гладкого белого камня. Зная ее досконально и со всеми женскими пустяками и капризностями, тот образ видел постоянно и каждый час опасался его. Не в том боялся, что давала ему знать, когда девался куда-то миллион, а в чем-то так и непонятном ему...

"А вот как я о сем сужу: что ты нетерпелив, как пятилетний ребенок, между тем как дела, порученные тебе в сие время, требуют непоколебимого терпения. Пишешь ты о выводе войск из полуострова. Чрез то туркам и татарам открылася бы паки дорога, так сказать, в сердце империи, ибо на степи едва ли удобно концентрировать оборону, а теперь Крым в наших руках..."

Что же будет и куда девать флот Севастопольский? Прошу ободриться и подумать, что бодрый дух и неудачу покрыть может. Все сие пишу к тебе, как лучшему другу, воспитаннику моему и ученику, который иногда и более еще имеет расположений, нежели я сама..."

Все тут ему не новое, что пишет. С первого дня уразумел ее подходы, когда сама наталкивает чело-

века на то, что хочется ей, а потом говорит, что слушается его. Таково это бабье иезуитство, которое в политику впустила. А он стал угадывать, что думает, и впереди ее говорить, будто собственные мысли. Когда в первый раз это произошло, проницательно посмотрела и улыбнулась ему. После того, как добрая жена, все свои планы и пристрастия раскрывала перед ним. И с голштинским мужем каково у ней было, и с уродом-сыном, и с Польшею как намеревается поступить. Когда ударялся в амбицию и делал по-своему, допускала с улыбкою, а после все опять возвращалось на указанное ею место.

И вдруг получилось, что отъехал сюда. Даже сам не заметил, каково это произошло. Сказала, что лишь он один способен построить Новороссию. Они остались близкие друзья, и продолжает быть ей как бы вместо мужа, но не дальше и не ближе.

Что это ему в силах строить Новороссию, он без сомнительности знал. Те чесменские да кинбурнские герои лихие в приступах, а управлять да рассчитывать — не их дело. Здесь надобен правительственный ум: с высоты смотреть и одновременно все ухабы под ногами различать. А тех героев надлежит гнуть и ломать, чтобы не рассуждали и исполняли, что приказано. Знать неукоснительно должны, что все геройство их и слава только от одной милости зависят. Кому объявят, тот и славен, хоть и на будущие времена.

Из римских авторов видать, что вечная полемика между правительством и героями. Суворов прискакал к нему и даже поклон не пожелал сделать. Сразу потребовал приступа, побежал смотреть стены. Только он преспокойно все это невежество принял: через неделю созвал совет. Суворова посадил сзади других генералов и слушал, подстригая ногти. Тот и нагрубил самому себе в убыток.

Так и продолжалось. Суворов уже не кричал, а только смотрел с открытою дерзостью. Донесли, что прямо и среди солдат называет его "таврическим вормом" и что задницы скоро ему не хватит, чтобы ордены вешать. Как раз сделалось известно, что турки целою армиею готовятся напасть на Кинбурн, вот и послал туда героя с одним корпусом. Только что-то случилось у турков, и не смогли получить Кинбурна.

Тем временем, однако, ревизия обнаружила, что

сей прославленный генерал незаконную прибыль помимо государственного жалованья имеет: в чины за моду таких-то и таких-то офицеров произвел и на пятьдесят возов купленного сена для кавалерии нету оправдательных документов. Офицеры того не признали, но разговор уже шел...

Вдруг из лазарета явился к нему с палкою. Бросил ее в сторону и встал на колени:

— Прости, светлейший князь, меня, старика глупого. Милости прошу: дай взять Очаков. То правда, что не одну тысячу душ под стенами здесь положим. Брать все одно будем, но завтра уже положим втрое и послезавтра — впятеро!..

Не отвечал тогда ему и только чистил ногти. Еще неизвестно ему было: станем брать или нет. Тогда герой встал с колен и лишь долго посмотрел на него. Потом повернулся и побежал, будто слепой, через комнаты, мимо адъютантов, куда-то в степь...

Сейчас, сидя на укрытой коврами тахте в богатом караимском доме, что взял себе под ставку, князь Григорий Александрович не знал, что ему делать. В прорубленные шире окна с новыми стеклами видны были стылое море и небо с низкими тучами. Как бы отдельно от всего висели в воздухе желтые бастионы и башни Очакова. От веранды, где летом рос виноград, начинались ползущие откуда-то из-под земли дымы. Будто весь берег над кручею и дальше в степь налитан был затаенным жаром. Русская армия, зарывшись в древний песок, полгода уже ждала приказа к отступлению или штурму.

Он продолжал сонно смотреть в письма... "На оставление Крыма, воля твоя, согласиться не могу; об нем идет война, и если сие гнездо оставить, тогда и Севастополь и все труды и заведения пропадут и паки восстановятся набеги татарские на внутренние провинции. Кавказский корпус от тебя отрезан будет, и мы в завоевании Тавриды паки упражнены будем и не будем знать, куда девать военные суда, как ни во Днепре, ни в Азовском море не будем иметь убежища. Ради бога, не пушайся на сии мысли, кои мне понять трудно, и мне кажутся не удобными, понеже лишают нас многих приобретенных миром и войною выгод и пользы. Когда кто сидит на коне, тогда сойдет ли с онога, чтобы держаться за хвост?.."

Слышал, как заглядывал адъютант. Только знал, когда видят его в таком полусне, то не лезут с докладом...

Громыкнуло, раскатилось что-то за окнами. Слышалась отдаленная ружейная пальба. Он как поднял голову, так и сидел, наливаясь кровью. Чувствовал даже, как тяжелеют складки под подбородком. Что-то мешало ноге. Он посмотрел, увидел раскрытую французскую книгу. Она здесь была при нем, чтобы рассказывали императрице и другим, что при поле брани просвещением и полезными человечеству переводами занимается. Все, что надо для того, делал тут ученый грек, которого держал при себе...

Швырнув ногой книгу, так что листы разлетелись, он вскочил, крикнул одеваться. Прямо на архалук натянули шинель и, незастегнутый, бросился к возку, ударил в спину ездового, полетел к передовым редутам. Там дым еще рассеивался, а на турецком окопе стелилось под морским ветром русское знамя. В дороге адъютант сообщил, что произошло. Нарушив приказ, солдаты сами подлезли к туркам, подложили фугас и захватили ложемент как раз напротив главных очаковских ворот...

Двое полковников стояли на командирском пункте и смотрели в его сторону. Подъехав, он соскочил с возка, давясь криком, бил в зубы, справа и слева, — круглое бессмысленное лицо. Потом бросился к другому...

Что там произошло с ним, он не сообразил. Прямой и высокий полковник спокойно смотрел на него. В глазах не было угрозы, но не было и страха. Только он вдруг понял, что никак не может ударить. Лишь потом он разглядел, что тот из стариков, по возрасту долженствовавших уйти на покой и задержанных в связи с войною. Полковник с холодным неприятием в глазах продолжал смотреть на него. Что-то заняло в печени, и непроизвольно сделал от него шаг назад. Повернулся к Очакову:

— Завтра приступ!

Возвратившись в штаб, узнал фамилию полковника, оказавшуюся почему-то двойной. Продиктовал в приказе ему и с полком первым идти завтра на стену...

III

Вдруг перестало болеть в груди. Сделалось совсем тихо в мире. Он лежал и смотрел в морозное звездное небо. Слышно было, как солдат-ездовой спрашивал дорогу на Ростовец. Он и сам мог бы сказать солдату, но лежал, не разрушая этой ниспосланной божьей тишины.

Их, побитых под Очаковом офицеров, везли обозом, на устланных сеном телегах. По одной, по две всякий день, сворачивали в сторону, пока не осталось их четверо. Теперь надо было сворачивать ему. Где его Ростовец, он видел по небу, но объяснить бы свое чувство не мог. Наверное, так птицы определяют путь домой...

Все, до каждого мгновения, помнил он из того времени, даже пустой колосок, трепетавший под жгучим морским ветром. Когда аскеры отбросили четвертую лестницу от стены и солдаты поставили пятую, он сам полез наверх со шпагою в руке. Тогда и увидел этот сухой колосок, который рос на самом верху между двумя плитами известняка. Его удивило, как мог там вырасти...

А накануне стоял с Шемарыкиным и смотрел, как солдаты подрывали турецкий окоп. Ничего не могли они сделать против этого, поскольку солдаты их и не спрашивали. Вся армия гудела на таврического князя, что неспособен к войне и только людей морит, пугаясь решительных действий. Одинаково и флот его не принимал. Адмиралы прямо говорили, что фрегаты не от шторма потонули, а сырое дерево для них покупал, на парусине да канатах миллионы нажил.

Целый год спокойно смотрели, пока инженеры из Европы очаковские бастионы укрепляли, аскеров правильной обороне учили и припасы везли. В лимане и на Тендре флотские тоже без разрешения князя с малыми судами турков громили. Суворов требовал с ходу Очаков брать, так светлейший возражал, что о солдатах беспокоится. А за год от одного тифу да гнилых сухарей, что потемкинские интенданты снабжали, половина армии стояла. Так все тут

и называлось: "потемкинские сухари", "потемкинские дома", а если был без мяса, то "потемкинский суп". И повторяли суворовскую фразу про "светлейшие потемки", куда закатилась русская слава.

Знали, что государыня тоже требует скорее приступ делать, да когда в человеке по многим грехам его дурная опасливость все прочие чувства превозмогает, то сам себе уже не верит. И на выстрелы турецкие из крепости велел не отвечать, чтобы большого сражения не получилось. Ждал, что война сама собою успокоится. Пока, что ни день, балеты устраивал, и в виду армии содомские мерзости и бесчинства с навезенными фаворитами да графинями совершал. Говорили: в вине с ними на афинский манер купается и римскую тогу носит. Все дозволяется ему, как никому другому раньше...

С Шемарыкиным опять тут встретились, и полки их стояли в одной диспозиции. С утра в этот день все с ним не разговаривал. Тот по своей манере солдату за что-то кровь с лица пустил, а он этого не любил. Тут и случилось, что солдаты самовольно в турецкий ложемент залезли, а затем светлейший князь прискакал. Шемарыкина же по зубам и съездил, а тот лишь пучился от страха. То обычное дело: кто как с меньшими себя держит, так же и с собою позволяет...

На него светлейший князь смотрел с удивлением. Голову откинул и заморгал вдруг единственным глазом, прежде чем сверкнуть опять на целый свет. Потом закричал про приступ...

В грудь ударило уже наверху, когда приколол шпагою янычара, вставшего на пути. В последний момент увидел, как снап огня вырвался из пушки, что поставлена была по европейскому правилу от противоположного края бастиона. Падая уже, смотрел, как прибежавшие суворовские солдаты из Кременчугской дивизии штыками кололи канониров...

Телега дернулась, заскользила железным ободом по снегу. Но ничего не болело, и дышать было просто. Другие раны у него дольше болели: те, что получил в Пруссии, со шведами, в Польше и когда-то еще с турками. Он думал о доме, куда его везли, о том, что происходило с ним в эти дни и во всю его жизнь...

ЭПИЛОГ

Она прошла совсем светлыми, несмотря на ночь, комнатами. Фавны и генералы смотрели со стен, будто зная ее замысел. В странной белизне ночи картины излучали тайную жизнь. Потолки сделались выше, и бронза получала суровый смысл. Только статуи омертвлялись этим равномерным и призрачным светом, при котором мрамор умирал и делался обычным камнем.

На заднем дворе ее ждала карета, каких сотни ездят по трактам и дорогам. Без чьей-то помощи она села туда, и карета сразу тронулась в приготовленные ворота. Когда выехала, шесть конных гвардейцев без знаков полка на одежде пристроились в полуста шагах за нею.

Проскакав улицею, выехали к Неве. Ни единого человека не было видно в городе. Звон копыт по мостовой скрадывался близкою водою. Она велела сделать полный круг возле всадника на скале, остановилась в правом углу площади. В белой ночи голова Петра смотрела отвлеченно от земли, как бы напрягши все чувства, чтобы увидеть непостижимое. Она вспомнила, как спорила с Фальконетом, идти ли за сюжетом святого Георгия и ставить змею под копыта. Как видно, гений всегда входит в противоречие с расчетом, чем и прав. Царственный всадник не видел этой змеи. Лицо его никак не содержало красоты и бравости. Оно оторвано было даже от коня и туловища.

Поглядев еще несколько времени из кареты, она поехала дальше. Летняя ночь безо всякой границы переходила в утро. Закончились каменные стеснения улиц, пробежали заборы слободок, и роса заблестала

в лугах и деревьях. Широко и бесконечно открылись виды.

Давно забытое волнение ощутила она. В нарушение собственного правила даже выставила руку из окна. Нет, то не почудилось когда-то ей: ветер продолжал дуть все с тою же ровной силой. Она задумалась, вспоминая, когда же перестала замечать это. Карета летела с ветром куда-то в неизвестную глубину равнины...

Удар был столь неожиданный, что не могла уже опомниться. Потемкин прямо намекал ей на то, что ничего не хотела понимать. Неужто, подаривая радость любви, бог взамен отнимает все другие чувства? Когда что-то уразумела, то, не веря в себя, позвала его и сказала:

— Дорогой и любезный мой друг! Я, как то, очевидно, стало заметно, уже в зрелых годах, и все может случиться. Вы же в цветении молодости и одарены всеми достоинствами, необходимыми к счастью. Надобно уже подумать об устройстве вашей судьбы. Размышляя про это, я отыскала достойную вас девицу, каковая отвечает всем требованиям положения вашего и воспитания...

Он смотрел на нее с испугом, и тогда, неправильно истолковав такое выражение, она назвала ему юную графиню Брюс. Ожидала, что упадет на колени, станет отказываться и говорить о счастье быть только с нею одной.

Мамонов вправду упал на колени и прошептал:

— Так я уже помолвлен, матушка!

— Как... помолвлен?

Она говорила совершенно спокойно, хотя все уже поняла.

— С княжной Щербатовой, матушка. Мы год уже, как любим друг друга!

Она отправила его и все стояла на одном месте час или два. Когда пришел секретарь ее Храповицкий, то даже отшатнулся, такое у ней было лицо. Потом тихо спросила:

— Зачем же он не сказал откровенно? Год ведь, как влюблен... — и твердо заключила: — Пусть будут счастливы!

Перед вечерним выходом она сама обвенчала их. Стоя на коленях, они просили у ней прощения. Она же смотрела далеко через их головы, видела некий лес в снегу...

С удивлением говорила секретарю:

— Я простила их и дозволила жениться. Они должны бы быть в восхищении, но, напротив, они плачут. Тут еще замешивается и ревность. Он больше недели беспрестанно за мной примечает, на кого гляжу, с кем говорю. Это странно...

В приданое к нему дала деревни в 2250 душ, купленные у князя Репнина и Челышева. Потом не думала ни о чем и не смотрела в мужскую сторону. Являлись по вызову на ночь и исполняли свое дело некоторые пареньки. Так, услышала она, звали их между собой секретари. А где-то посередине груди стала казаться дыра, такая же, как в детские годы была в боку...

— Графиня Рейнбек!

Так объявили ее на почтовой станции, но лошади были уже готовы, впряжены в две минуты, и карета полетела дальше в поля и леса...

Почти вместе оно и произошло. Четыре года того несообразного с планетным ходом, что происходило во Франции, соединились в один дымный, с кровавыми потеками, европейский день. Умершие философы свободно разбрасывали угли, и теперь вспыхнули все сразу, раздуваемые слепым вихрем человеческих порочностей и страстей. Галльский Пугачев перешел в Вандее на сторону короля, но того это не спасло.

Она ходила потяжелевшим, но твердым шагом. Залетевшие сюда из Европы угли прожгли бы только дыры в наружном платье. Этого она не страшилась. Когда вдруг увидела удвоенную возле себя охрану и сказали, что из Парижа могут прислать убийцу с кинжалом, то страшно рассердилась и велела ту охрану от себя прогнать.

Но воду надо было лить заранее, чтобы до тела не дошло. Адвокатов и прокуроров тут немного найдет-

ся, чтобы якобинство сделать правилом, но вот перевернутое наизнанку, да с русской идеальностью, можно все от Петра Великого и ею сделанное в одночасье погубить.

В тот уже день, когда поступило из Франции страшное известие, увидела она, как чудовищный ее сын пнул ногою подставку с вольтеровым бюстом. В другой раз, читая газету об якобинских ужасах, он прямо резонерствовал к сыновьям:

— Вы видите, мои дети, что с людьми следует обращаться, как с собаками!

Кажется, и под кроватью у себя он искал якобинцев и всякий раз утверждал, что только королевская слабость духа и отсутствие железной палки привели Францию к таковому положению. Услышав, что собирается конгресс европейских государей говорить о том, каково дальше действовать, великий князь вскипел:

— Что они все там толкуют? Я тотчас все бы прекратил пушками!

Голос его вдруг сделался на два тона выше, и на нее при этом смотрел со значением. Тут же находились внуки, и она с серьезностью ответила:

— Разве не понимаешь, мой друг, что пушки не годны воевать с идеями!

Не посмея ей возразить, он убежал во двор, и слышалась яростная его команда над солдатами, что несли при нем постоянный караул. Так он всегда успокаивался. Но когда с пеной возле рта кричал о пушках, то как раз ясно увидела в нем кристального российского якобинца. То ведь не в идее коренится смысл, а в способе действий. Постулат великого немца пришел на ум:

Ссылаться может даже черт
На доводы Священного писанья...

Покажи ему на другую сторону, так и туда замарширует с палками и пушками.

Над теми качествами ее сына иронизирует орлеанская девица, и первые они с великим князем враги. Но та же прямолинейная идеальность у наставницы российских академий. Когда безвестный директор таможни написал и распечатал у себя дома ниспровергательную на общество и государственный поря-

док книгу, то граф Воронцов выразил сомнение: "Если таковая *etourderie*¹ оказывается достойной смертной казни, то каким образом должно наказывать настоящих преступников?" А княгиня Дашкова, ни минуты не колеблясь, заклеила радищевскую листовку набатом революции и требовала крайних мер. Любопытно, каково вела бы себя, окажись волею судьбы в одном стане с будущим российским Робеспьером? Там тоже безо всяких колебаний нашла бы себе место. "Коль любить, так не на шутку!"

Нет, она и без них знала, каково ей действовать. Вольтера приказала унести в запасник, сама обратилась к европейским государям с призывом на якобинцев, дала широкий приют французским беглецам. Но когда те взъярились на учителя ее внуков Лагарпа, продолжающего прямую дружбу с разрушившим Бастилию Лафайетом, даже готовились его убить, она пресекла их слепую мстительность. Дагарп продолжал свои занятия с внуками. В будущей великой задаче их нельзя было оставлять в однозначном понимании мира...

Одновременно поступала внутри со всей решительностью, выметая даже соломинки залетевшего сюда не к месту и времени робеспьерства. Сама объявила о Радищеве, что хуже Пугачева, о чем лично писала на книжке: "Сочинитель оной наполнен и заражен французским заблуждением, ищет всячески и выискивает все возможное к умалению почтения к власти и властям, к приведению народа в негодование противу начальника и начальства". Автора велела приговорить к смертной казни, после чего услала в Сибирь. Степану Ивановичу Шешковскому, что по тайным делам находился при ней, приказала усилить наблюдательность, и тот вместе с московским генерал-губернатором князем Прозоровским такую идеальную сеть раскинул, что даже франкмасоны в нее попались. Одного из них, ее старого приветствователя Новикова, она особым указом повелела взять в крепость. И не мартинистов испугалась, а твердо дала понять некой партии при собственном дворе, что все ей известно и не позволит поступить вопреки своей воле. Те масонствующие заговорщики из московских

¹ Шалость (фр.).

стародумов обратились к ее сыну, великому князю Павлу Петровичу, чтобы сделался у них магистром. На том и замкнулось их революционерство. Только не сыну, а воспитанному ею внуку наследовать назначенную этой державе задачу...

Пока же продолжала громко провозглашать в Европе союзы против якобинской революции. Поскольку Австрия с Пруссией невольно повернулись в ту сторону, обвинила поляков в якобинстве и окончательно поделила их в свою пользу. Также справилась с шведами и сильнее поприжала турков, развязав себе руки в Тамерланову сторону, для защиты единоверных христиан Кавказа от персов. Но ни один русский солдат не появился в Европе воевать с якобинской Францией...

— Графиня Рейнбек!

Опять в две минуты, ничего не спрашивая, перепрягли лошадей, но от тракта теперь поехали по меньшей дороге, к видневшейся за лесами колокольне...

Само время смешалось. Такое стала замечать за собой в этот несообразный с правилами год. Другие люди наполняли залы, а прежние, что были в ее молодости, казались куда-то уехавшими. Она с недоверием смотрела порой на человека из того времени, вспоминая, на самом деле видит его или тот тоже уехал, а этот вовсе другой. Гость-философ некогда напороочил жить ей восемьдесят лет, и отстраняла от себя всякие об этом мысли. Некто похожий на лежавшего в гробу молодого генерала, по которому плакала, и одновременно на другого, неверного, кто звался "Красный Кафтан", явился возле, подавал с ловкостью руку, безо всякой черты заходил и уходил от нее...

Из прежних лет вдруг прискакал светлейший князь и друг ее, но расхаживал большими шагами по комнате, разбил любимого амура и называл русским словом, означающим *vielle putain*¹. А потом размахнулся на нее...

¹ Старая б...ь (фр.).

Она позвала другого, с льдистыми глазами и вырванным на лице куском мяса. Тот никак не изменился и смотрел вроде бы глуповато. Так же смотрел он тридцать лет назад, когда просила не допускать грубостей к ее арестованному мужу. Теперь он слушал, как пространно жаловалась ему на светлейшего князя, что переходит в дружбе все границы, и вдруг спокойно сказал:

— Что же матушка, я... могу.

Она умолкла на полуслове, заплакала, замахала руками. Взяла клятву с него, что не сделает поступка. Тот пожал плечами и уехал к себе назад за Москву разводить лошадей...

И светлейший князь уехал. Больше его не видела и тоже плакала, узнав об его кончине. Опять, как и во всю ее жизнь, выдумывали что-то несуразное, но ее уже то не трогало...

Даже днем теперь закрывала глаза, и являлся к ней некий образ. Все до мелких подробностей видела она: даже иголки от хвои на обшлаге его рукава. Тогда позвала секретаря и велела то, чего боялась сделать всю жизнь. Через месяц ей принесли имя с отчеством и фамилию, что вдруг оказалась двойной. А также назвали место, которое с трудом нашла на карте. Там текла река и была такая же равнина, как и вокруг. Она велела приготовить приватную карету и никому о том не говорить...

Тут все границы были пренебрежены, и ни один даже ее любовник, в том числе великий в мелкой хищности своей таврический избранник, не смели таково говорить с нею. Этот, между прочим, и в мыслях не зарился на те фаворитные лавры. Лишь с грубой прямолинейностью первородца требовал той самой идеальности. Раз и навсегда определив ее Ф е л и ц е ю, он и ждал от нее точного и неукоснительного исполнения образа.

В том была самая что ни на есть русскость его, даже что и дальнее родство от татарина. Теперь она хорошо это понимала и сверху, и изнутри, поскольку сама сделалась православная безо всяких отклонений. Тут доминировало чувство молодого, несмотря на тысячу лет, народа: поставить на пьедестал и требовать, требовать, требовать.

Подай, Фелица, наставленья:
Как пышно и красиво жить,
Как укрощать страстей волненье
И счастливым на свете быть?¹

Не больше и не меньше. То им мимо ушей, что многократно и со всей честностью говорит о себе, что лишь обыкновенных способностей женщина, больше слушающая здравомысленные суждения, нежели сама их рождающая. И все человеческие слабости в ней присутствуют, разве что обладает умением при необходимости управлять ими. Чувствительность здесь не в счет, и что рассуждать о возможности преодоления той естественной евиной слабости есть лицемерие, уже писала...

Только не стрекозиными крылышками обладает этот язвительнейший слагатель од. И не изящно разукрашенной бабочкой французского обворожительства порхает вокруг ее имени, как и нет здесь стародумного рабского пышнословия. Тут истинно парнасский размах крыл в их обнаженной природности. Изо всех компонентов: легендарных и предметно осязаемых происходит новорождение великого языка, так что идущая от высшей сложности простота здесь впрямую сродни Гомерам и Вергилиям. Впрочем, не туда, а в кипящую русскую реальность направлены молнии. Так же и младенческая жажда идеала обязательно присутствует здесь: не от себя и в себе исправлять пороки, а чтобы был пример, равнозначный приказу.

Когда десять лет назад прочла это впервые, то даже всплакнула по-русски, все уже прозрачно видя. То была так или иначе составленная сказка, где в противность злым ей назначено быть доброй. На сказку же тут смотрят со всей политической серьезностью. Она сама когда-то выбрала это место.

Мурзам твоим не подражая,
Почасту ходишь ты пешком,
И пища самая простая
Бывает за твоим столом;
Не дорожа твоим покоем,
Читаешь, пишешь пред налоем
И всем из твоего пёра
Блаженство смертным проливаешь...

¹ Г. Р. Д е р ж а в и н. "Фелица".

Не слишком любишь маскарады,
А в клуб не ступишь и ногой;
Храня обычаи, обряды,
Не донкишотствуешь собой;
Коня Парнаска не седлаешь...

Да, этот церемониями не жалуется, как некогда французский гость-философ, а прямо говорит: не пиши, коли нет очевидного таланту. Ни единой слабости не желает в ней видеть и другим не позволяет. В первую голову ей самой.

Зная превосходно тот крайний характер, почему же сделала его своим кабинет-секретарем? Может быть, безоглядная русскость и привлекла ее в нем? Сей бард — и начало, и производное назначенного ей подвига. Солдатом-преображенцем возводил ее на престол, с убежденной радивостью укрощал несущий гибельность державе и всей Европе бунт самозванца; добивался идеальности в управлении Олонецким и Тамбовским краем, воевал за то же в сенате. Даже фамилия его лицетворит необходимость. И не верхний глянec, но самую душу ее правительственного портрета ввел в русскую историю:

Стыдишься слыть ты тем великой,
Чтоб страшной, нелюбимой быть;
Медведице прилично дикой
Животных рвать и кровь их пить.
Без крайнего в горячке бедства
Тому ланцетов нужны ль средства,
Без них кто обойтися мог?
И славно ль быть тому тираном,
Великим в зверстве Тамерланом,
Кто благостью велик, как бог?..

Положим, тут тоже требование от нее идеальности при собственном самозабвении. Известно, что пиит в тогдашнем своем офицерском чине пугачевцев безо всякой даже нужды на суках развешивал. Так и на себя готова она взять свою часть вины. Однако не позволяет!

До страшного иной раз у нее с них доходит. Гремит голосом, размахивает руками и наступает, требуя, чтобы не меньше, чем весталкой, была в поведении. Приходится звать другого секретаря или дежурного офицера, чтобы заградиться от той верноподданной ревности...

В том величии и одновременно ахиллесова пята этого народа. Сотворение сказки, начатое от первозданных костров, влечет все к той же ирреальной справедливости. Тут и делаться все обязано по волшебству: золотая рыбка к месту удачно явится и ведра с водой к дому побегут по щучьему велению. Также и царь, добрый, придуманный, обязан появиться и дать приказ, чтобы все было хорошо. Ей как раз и была та роль уготована.

Такое хитроумное ожидание чуда лишает инициативности, зато внутри чуда великую талантливость проявят. У чернозема будут сидеть голодные и умом раскидывать, каково так жизнь обустроить, чтобы все произрастало "по слову". Пшеница чтобы кустилась сам-сто, а волк бы с ягненком вместе пасся. И считать тут не требуется, как приходится голландцам или японцам, поскольку ширь тоже вполне сказочная. К этому еще удаль да неоглядная отвага оборотной своей стороной и вовсе все по ветру пускают. А как законный результат всему случается, то все вокруг становятся виноваты: немцы, татары, доктора, но только не сами. Мы-то, известно, что молодцы. Если же дома что, то жена виновата. Так и ей ведь за многое не от себя, а прямо за них назначено в истории отвечать. И вдвойне еще, как женщине. Из летописей видно, что своими же руками сотворенных идолов потом и секли, если вовремя дождя не было.

Тому некоторое оправдание есть, что история научила: все добуденное от того чернозема тут же и отберут до зернышка князья с дружиною, орда или Тарас Скотинин с сестрою своею Простаковою. Поневоле считать здраво разучишься и руки опустишь, али прямо побежишь от той богатой земли. Отсюда уже и в сказках не добрые сюжеты рождаются, а все больше про людоедствующего Кощея да Змея-Горыныча.

Ко многим будущим бедствиям может служить такой выковавшийся в сказках характер. Любой политичесствующий калиостра сможет какую захочет сказку рассказать да клич кликнуть. Побегут, не оглядываясь, и с той же отвагою. Оно и не сложно, раз покаяние за чужой счет.

Только сколько же она сама прибавила к этому характеру? Тут, однако, все делала, что они хотели. С тем ветром летела вровень и лишь приглядывала,

чтобы паруса ровно стояли. То тоже обманчивая мысль, что можно хоть и герою их поперек ветра ставить или рулевое колесо крутить как хочешь. Ни один правитель, будь хоть Нерон, хоть Александр Великий, ничего не совершит в одну только силу своего желания. Римляне были готовы к нероновой гнусности, как и греки с македонцами к вселенскому подвигу.

В том и было ее назначение, что поставила державный корабль твердо по ветру царя-преобразователя, когда начал уже этот корабль опасно крутиться на месте среди камней и водоворотов. Куда б ни увлекло его, если бы сразу не потонул, на прусские ли камни или на вековые отмели Смутного времени, повсюду ждали одни лишь голые чудеса землю основательной реальности.

Так что хоть держалась исторического ветра, но есть и фелицины заслуги в том планетном плавании. Розу без шипов не обязывалась доставать, поскольку не бывает идеалу в природе. Руководствовалась здравым смыслом и в полную меру своих сил и способностей честно делала все в пользу этой державе. А посему и к пользе человечества, ибо таково место в нем этого народа и державы. Бард все правильно угадал насчет направления ее тридцатилетней работы. Первая она тут от Петра Великого, кто ту лукавую сказочность терпеливо обуздывал и делом заставлял заниматься. Само явление этого барда тому свидетельством, что не втуне остались труды просветительства. Будет ли кто следующий работник на этом месте?..

Каковы же станут движения этого народа и характера в веки грядущие? Где-то Европу в обратную сторону повторяет, что бросилась в Новый Свет. Там через голый океан идет дорога, а здесь к той же Америке навстречу — континентальное движение. Только не вобрали бы в себя на той исторической дороге рассеянные там в избытке драконовы зубы, чтобы сделаться вдруг новой тамерлановой угрозой человечеству. Свободно выплеснувшаяся за океан Европа восстала теперь на сюзерена и новую практику жизни устанавливает. Так ли будет и здесь когда-нибудь поступлено с сюзереном и какую практику придумают? От сказки пойдут или от реальности? С

той же тамерлановой опасностью все это и связано. Терпеливое просвещение и здравый смысл лишь способны укротить буйство исторических стихий. Не на один век такое состояние, и точные должны соблюдаться сроки, ибо выкидыш или урод с зубами от дракона может родиться...

Так каково же ее тут место? Неужто и впрямь все предопределено некой звездой, вставшей вдруг посередине дня в небе? Это не имело значения. Даже если бы не было той звезды, все происходило бы так же. Та же синяя мгла впереди, куда въехала пятьдесят лет назад, и невозможно прозреть грядущее.

Она работала. Копия древнего списка лежала перед ней...

Да, то было несомненно. В летописи прямо говорилось, что сын князя Ярослава Галицкого, Владимир, претерпев многие жизненные бури и мытарства, нашел приют у *зятя* — князя Северского Игоря. И происходило как раз за год до злосчастливого похода того на половцев. Таким образом получалось, что песенная Ярославна, плакавшая на городской стене по мужу, именно была дочь галицкого князя Ефросинья. А приходилась князю Игорю второй женой и мачехой его сыновьям. Она аккуратно записала свое открытие в тетрадь...

Продолжалася белая ночь на равнине. И в этой дороге она не могла быть без дела. В походный ящик под сиденьем положили необходимые выписки из летописи и список поэмы, снятый ее секретарями с оригинала, отысканного графом Алексеем Ивановичем Мусиным-Пушкиным в дальнем монастыре. Все те годы она твердила графу, что обязательно где-то должна быть такая поэма, как у всякого великого народа. Таково и найдена была "Ироническая песнь о походе на половцев удельного князя Новгород-Северского Игоря Святославича".

Этого она ждала, а другого быть не могло. Как и в Роландовой песне для Западной Римской империи, поражение и плен героя легли тут в сюжет. Это если нетвердый духом и без будущего народа, то обязатель-

до о победе поет, подобно бабуину, что стучит себя в грудь. Такая же тема для главной своей песни — знак могучего народа...

Так и не зажигая свечи, сидела она перед окном в приготовленном для нее доме. Белое, без звезд, небо стало постепенно светлеть, розовый цвет явился на деревьях. Неслышно подъехала карета. Она сама сложила записи, вышла и села на кожаные подушки. Никого больше с ней не было. Шесть конногвардейцев оставались тут ждать ее.

Кучер в суконном дорожном архалуке тронул лошадей. Карета покатила по дороге, у развилки свернула на сторону. Сияюще-золотой луч солнца вспыхнул из-за туч, расширялись дали, гряда за грядой открывались синие, голубые, лиловые леса, матово-жемчужная равнина находилась между ними, и там текла речка...

Высокая старая женщина будто ждала ее. Проворная девка отворила ворота, и карета въехала в небольшой двор. Женщина молча поклонилась, приглашая в дом, а она все смотрела на нее, сразу узнав. Лицо, глаза, держание головы были знакомы ей всю жизнь...

— В тот день и умер, когда привезли из Очакова. Посмотрел на нас с невесткою, на дом, на деревья и закрыл глаза. Так и снесли с телеги, в которой приехал, прямо на стол...

Теперь она видела, что женщина обыкновенного роста. Сколько же ей должно быть лет, если сын тогда был вовсе мальчик, когда оказался как-то в снежном лесу? И она была там девочкой...

— Зовут-то как тебя? — спросила женщина.

— Екатерина, — сказала она тихо.

— Значит, Катенька... А откуда знала его, Сашеньку моего?

— Видела его... давно.

Непонятную робость чувствовала она и одновременно внимательно смотрела на стол, лавки, буфет, на книги в самодельных шкафах у стены. Они были на разных языках, и лежали там знакомые ей журналы. Значит, ходил он тут, брал эти книги из шкафа, делал что-то свое. Окна были закрыты ситцевыми занавесками, и стояли герани...

Все время оглядывалась она на мальчика, что сидел с часословом в углу и старательно выписывал оттуда буквы. У него были серые глаза и прядь волос падала со лба, когда склонялся к тетради.

— Петр Александрович, отец вот его, теперь уже капитан. Персы бунтуют, так пошел вызволять от них Кавказ, — рассказывала женщина.

Вошла невестка, принесла молоко и хлеб. Она ела с удивительным аппетитом, слушала про то, что как раз и родился этот мальчик в год смерти деда, а потому назвали в память его Александром. Теперь тоже в царицынские кадеты готовится, и туда без знания счета и букваря не берут. А учит его батюшка-отец Прокофий. Внукова капитанского жалованья на поддержание усадьбы не хватает, а так хорошо живут: сад, корова, овечки есть. Не хуже других Ростовцевых или Шемарыкиных, чьи дома за рекою...

Потом она ходила к погосту у каменной побеленной свеху церкви. По подписям там тоже лежали все Ростовцевы да Шемарыкины, а от края начинались Ростовцевы-Марьины. Вровень с другими вокруг стоял на равнине деревянный крест, рядом другой — поменьше.

— Машенька, святая душа, царство ей небесное! — перекрестилась женщина. — Александр Семенович, сын мой, поручиком еще откуда-то из кайсаков привез. Раньше его умерла...

Она плакала горько, навзрыд, и Анастасия Меркурьевна, как звали мать полковника Александра Семеновича Ростовцева-Марьины, утешала, гладила ей плечи:

— Поплачь, Катенька. Оно всегда, душа моя: наплачешься, и полегчает. Такая доля сиротская!

Вовсе, как девочка, жалась она лицом в теплый пуховый платок, и никогда еще в жизни не испытывала такого счастья. Она чувствовала запах молока, печного дыма, хлеба, травы и леса. Никого в целом мире не было у нее, кроме этой старой женщины с теплыми руками, которая ни о чем не спрашивала и все как будто знала...

Вдруг пришла мысль, что может в одночасье дать им другой дом с мраморными колоннами, а капитана

сделать генералом. Но устыдилась сразу того, даже посмотрела на них с извинением, настолько здесь это было не к месту...

Младший Александр Ростовцев-Марьин все смотрел от своего места, где сидел с книгою. Когда уезжала, то подошел, не отводя с нее глаз. Она положила руку мальчику на голову, почувствовала мягкую густоту и буйность волос. И вдруг произошло необъяснимое...

Раздвинулось время. Она увидела знакомое здание сената и площадь перед ним. Войска что-то кричали, строились в каре, и среди них впереди находился некий поручик. Был это тот самый мальчик, кому гладила сейчас голову. Навстречу им из проездов дворца выкатывали пушки. Ветер трепал у поручика выбившуюся прядь волос...

Когда ехала назад, то все не уходила из ума эта площадь с войсками, которую на мгновение увидела, коснувшись детской головы. Она вспомнила, что когда-то хотела угадывать будущее. Это умели люди с побережья, где море выбрасывает на берег легкий, наполненный древними солнцами камень. Мать ее была родом оттуда и думала наследовать такую способность...

Какая же связь присутствует между временем, людьми и событиями в мире? Каково обойтись без лукавства и насильственности? Одно только она знала точно. Эта мятежная площадь перед сенатом, которая показалась вдруг ей, прямо будет проистекать из ее жизни и действий. И кто будет судить ее за все, пусть сам будет судим тем же судом.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРОЛОГ	7
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	
Первая глава.....	17
Вторая глава	47
Третья глава	69
Четвертая глава.....	88
Пятая глава.....	101
Шестая глава	117
Седьмая глава	132
Восьмая глава	143
Девятая глава	151
Десятая глава.....	162
Одиннадцатая глава	177
Двенадцатая глава	187
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	
Первая глава.....	199
Вторая глава	286
Третья глава	311
Четвертая глава.....	346
Пятая глава.....	357
ЭПИЛОГ	384

Морис Давидович Симашко

Семирамида

Исторический роман

Редактор Л. Хренникова

Художественный редактор А. НИКУЛИН

Технические редакторы Е. КРЫЛОВА, Т. ФАТЮХИНА

Корректор З. ТИХОНОВА

Издательская лицензия ЛР № 010178 от 31.01.92 г.

Сдано в набор 09.04.91. Подписано в печать 24.11.94. Формат 84×108/32. Бумага газетная. Печать офсетная. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 21,0. Усл. кр.-отт. 21,42. Уч.-изд. л. 21,72. Тираж 15 000 экз. Заказ 322.

Издательство «Дружба народов» Комитета Российской Федерации
по печати.

101424, Москва, К-6, ГСП, Петровка, 26.

Набор и диапозитивы изготовлены на фотонаборной
системе «Сигматрон»

Отпечатано в Тульской типографии.
300600, г. Тула, пр. Ленина, 109.

